This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

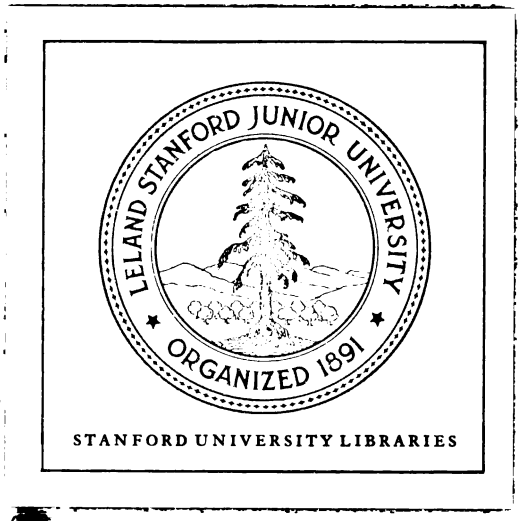
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

№ 125

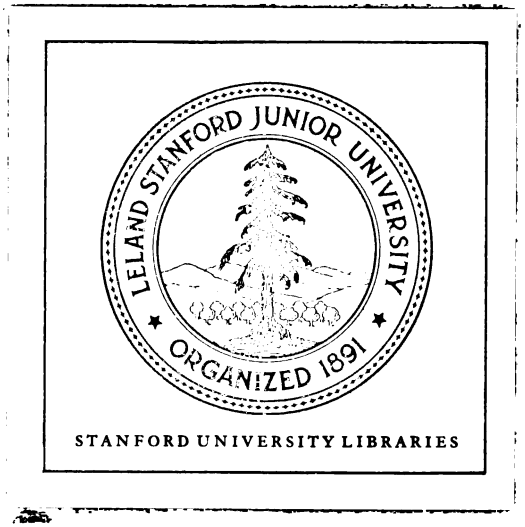
Ж.II.5
Yp 3292


LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

XXII 9/4.

125

W.II.5
Vp 3292


LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

XXII a/4.

125

Vagner, N. P.

Повѣсти Сказки и разсказы

КОТА—МУРЛЫКИ.

„[illegible] человѣкъ
[illegible] лучшей жизни
[illegible] онъ идетъ!..“

ТОМЪ ВТОРОЙ.

I. Почему міръ не устроенъ.—II. Валька.—III. Къ свѣту.

Изданіе второе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

—

1891.

ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ ВЪ Г. СОФИЯ

PG 3470
V2
v.2

B47528
№ 11,436.
ПРОВ. 19 7 г.

1805

ПОЧЕМУ МІРЪ НЕ УСТРОЕНЪ?

Въ самыя древнія времена жилъ одинъ несчастный человѣчекъ, котораго всѣ называли «безпокойнымъ».

И дѣйствительно, онъ всю жизнь свою не зналъ покоя и трудился, желая устроить покой и счастье всѣхъ другихъ.

Наконецъ, онъ понялъ, что для этого мало благого желанія и упорнаго труда. Надо ко всему этому имѣть силу.

А такъ какъ въ тѣ глупыя времена источникомъ всякой силы считался баснословно всемогущій Юпитеръ, то безпокойный человѣчекъ обратился и притомъ не прямо къ нему, а къ юркому пройдохѣ Меркурію. Онъ просилъ и молилъ его, чтобы онъ выхлопоталъ у Юпитера дозволеніе устроить міръ къ всеобщему довольству всѣхъ людей. Разумѣется, онъ не забылъ приложить при своей просьбѣ приличное подкрѣпленіе.

Представленіе Меркурія Юпитеру было такъ ловко составлено, что онъ уважилъ просьбу и подписалъ: «Одобряю!».

Безпокойный человѣчекъ тотчасъ же принялся устраивать. Онъ измышлялъ, соображалъ и, наконецъ, все предусмотрѣлъ, за исключеніемъ, разумѣется, того, чего нельзя было предусмотрѣть.

— Всѣ, — сказалъ онъ, — будутъ трудиться, сообразно ихъ способностямъ и наклонностямъ.

— Очень хорошо! — воскликнуло все человѣчество.

И человѣчекъ сдѣлалъ полное росписаніе всѣхъ должностей и всѣхъ занятій, какія только могли существовать на свѣтѣ для блага человѣчества. Всѣ должны были найти для себя приличную дѣятельность.

Но надъ одной должностью онъ крѣпко задумался.

Эта должность была вполнѣ необходима и, вмѣстѣ съ тѣмъ, крайне непріятна.

Дѣло въ томъ, что человѣчество живетъ и постоянно портитъ землю. Безъ этого оно не можетъ жить, а чтобы земля и воздухъ не портились, необходимо ихъ также постоянно чистить.

И вотъ надъ этой должностью «очистителя» маленькій человѣчекъ крѣпко задумался.

«Пожалуй, никто не пойдетъ въ эту должность», подумалъ онъ и цѣлыхъ три дня онъ думалъ надъ этимъ. Наконецъ, закричалъ «эврика!» и начерталъ такой законъ:

«Каждый, кто пойдетъ въ должность «очистителя» всего вреднаго для всего человѣчества, будетъ пользоваться отъ всѣхъ полнымъ почетомъ и уваженіемъ и будетъ называться «генераломъ отъ человѣчества», и «другомъ всѣхъ людей».

— Какъ! — закричали многіе, увидавъ такой законъ: — если въ эту должность пойдутъ дураки, съ ихъ дурацкимъ самолюбіемъ, такъ мы должны жертвовать для нихъ нашимъ собственнымъ умнымъ самолюбіемъ. Развѣ ты не знаешь, что въ этомъ самолюбіи громадная сила, которая двигаетъ всѣмъ прогрессомъ?

— Я это знаю очень хорошо,—отвѣчалъ безпокойный человѣчекъ:—но я полагалъ, что ваше умное самолюбіе будетъ снисходительно къ самолюбію дурака.

На это никто не отвѣтилъ. Всѣ прикусили языки и всѣ разошлись.

Безпокойный человѣчекъ торжествовалъ.

На другой же день онъ приступилъ къ устройству всего міра. Всѣ были повѣщены обо всемъ, о чемъ слѣдовало повѣстить, и всѣ, со всѣхъ концовъ свѣта собрались устраивать міръ. Всѣмъ были предложены для подписи листы съ графами, въ которыхъ обозначались всевозможныя должности. Должность «*Очистителя всего человѣчества*» стояла въ первой графѣ.

И въ эту графу всѣ вписались,—какъ есть всѣ.

Одни потому, что эта графа была первая: не надо было трудиться отыскивать другія графы. Другіе вписались потому, что желали быть истинно полезными. Третьи — потому, что горячо желали быть «генералами отъ человѣчества». Четвертые—потому, что не желали отстать отъ третьихъ. Пятые—по закону подражанія и инерціи, шестые—потому что такъ желали ихъ жены, дочери, тетки, тещи и т. д. до конца... Когда всѣ записались, то разинули рты и уставились другъ на друга. Потомъ принялись всѣ бранить, на чемъ свѣтъ стоитъ, маленькаго человѣчка. «Зачѣмъ, дескать, онъ такую глупую должность выдумалъ?!» Затѣмъ всѣ перебранились, подрались и разошлись.

Юпитеръ, смотря на это, хохоталъ до слезъ.

Маленькій человѣчекъ сошелъ съ ума.

А міръ такъ и остался, до сихъ поръ неустроеннымъ.

ВАЛЬКА.

I.

«Dahin! Dahin!...»

Что можетъ быть лучше теплаго, влажнаго морского воздуха, который самъ ласково вливается къ вамъ въ легкія, и все тѣло пронизываетъ сладкимъ il dolce far niente?

А море—тихое, голубое! Оно лѣниво, чуть слышно плещетъ въ скалистый берегъ и уходитъ въ даль, въ розоватый туманъ, уходитъ въ теплое небо, по которому, словно золотыя нити, тянутся легкія золотистыя облачка. А тамъ, вдали, направо, выступаетъ красивый гористый берегъ, задернутый прозрачной лиловатой мглой.

И кругомъ васъ ароматная, вѣчно юная, вѣчно блестящая темная зелень. Тихо стоятъ сѣрозеленыя оливы съ красиво изогнутыми сучьями, стоятъ вѣчно зеленые дубы, мирты и лавры, цвѣтутъ нарядные олеандры и розы. Кверху, прямо въ темносинее небо, уходятъ острыми вершинами темные, траурные кипарисы. Вездѣ красота. Всюду роскошь и неба, и моря, и зелени, и всей природы, богатой, сильной,

горячей. Она какъ будто говоритъ вамъ: не знай ни заботъ, ни горя; живи, какъ живу я, не думая ни о чемъ, счастливая и довольная и теплымъ воздухомъ, и темносинимъ небомъ, и аквамариновымъ моремъ.

И я жилъ этой дремлющей, самодовольной жизнью, безъ заботъ и горя. Я жилъ на самомъ берегу южнаго моря, въ благодатной и красивой Сициліи, среди роскошнаго сада, полнаго всякихъ дивъ южной природы.

По живописнымъ скаламъ вились космы растрепанной зелени, между которой прямо въ небо выбѣгали гордыя стрѣлки агавъ и вѣерныя вершины пальмъ, а тамъ внизу, на скалахъ, какъ огромные сѣро-зеленые пауки, торчали гигантскіе, толстые листья этихъ агавъ. Исполинскіе кактусы цѣлымъ лѣсомъ перепутанныхъ, колючихъ, мясистыхъ листьевъ-стеблей окаймляли берегъ моря, а выше ихъ тянулась веранда изъ плюща и винограда, сквозь листы котораго такъ лѣниво, сонно смотрѣли золотые лучи южнаго солнца.

И эта веранда подходила къ мраморному палаццо, небольшому, но изящному, комфортному, въ которомъ можно было найти всѣ удобства самой изысканной цивилизованной жизни. Широкая мраморная лѣстница спускалась отъ него прямо къ синему морю. Оно плескалось и омывало ея чистыя, какъ первый снѣгъ, бѣлыя ступени. Съ боковъ лѣстницы шли стѣны изъ зелени, изъ плющей, а тамъ, надъ ними, наверху гордо стояли статуи — копіи съ лучшихъ шедевровъ римской и греческой скульптуры.

Все, что художественная прихоть можетъ желать,—все это наполняло палаццо. Въ немъ было небольшое мраморное зало въ два свѣта, съ балкономъ на море. Въ немъ были комнаты, переполненныя образцами искусства древняго и современнаго. Въ немъ были салоны, до того уютные, дремотные въ ихъ полусвѣтѣ, что всю жизнь, казалось,

можно бы было провести въ такомъ тихомъ уголкѣ, не замѣчая ея теченія. Въ нихъ было все мягко, во всемъ была нѣга, вездѣ шелкъ, бархатные ковры, цвѣты, и весь теплый воздухъ былъ проникнутъ нѣжнымъ, чарующимъ ароматомъ этихъ красивыхъ цвѣтовъ.

И все это было роскошной, художественной рамой, оправой, въ которой она была и душой, и жизнью,—она, которой красота освѣщала все изящество окружающей природы, затемняла весь блескъ золота, всю античную красоту статуй. Все соединялось въ ней, но все было выше, желаннѣе, потому что все это было полно лучшей красотой, которую мы привыкли называть жизнью...

Но прежде я долженъ сказать о себѣ хоть нѣсколько словъ.

II.

Рано остался я на своихъ ногахъ, безъ отца, безъ матери. Но я остался на рукахъ моей «незабвенной» тетки, а эти руки были одѣты въ ежевыя рукавицы. Отецъ, проведшій всю жизнь въ большомъ свѣтѣ, не обращалъ на меня вниманія. Мать моя... но мать я помню какъ милый сонъ моего ранняго дѣтства, помню, какъ дорогую ласку, колыбельную пѣсню, полную нѣжной, безграничной любви.

Она умерла, когда мнѣ не было и пяти лѣтъ, и съ этихъ пяти лѣтъ началось вліяніе моей тетушки, этого темнаго духа, который пряталъ свою злобу и ненависть къ людямъ подъ мнимой набожностью и уродовалъ во мнѣ всякое человѣчное движеніе. Къ этому надо прибавить вліяніе великосвѣтской среды—пустой, мелкой и развращенной. Въ этой средѣ тетку мою считали чуть не святой женщиной и ѣздили

къ ней на поклоненіе такъ же, какъ она ѣздила на поклоненіе по скитамъ и обителямъ.

Закваска дѣтскихъ лѣтъ оставила во мнѣ глубокіе слѣды. Такъ остается слѣдъ отъ давнишней задѣланной двери въ стѣнѣ. Она давнымъ-давно уже заложена кирпичомъ, замазана штукатуркой, заклеена красивыми, дорогими обоями, но сквозь эти обои просвѣчиваютъ темнымъ контуромъ границы стараго углубленія.

Съ самаго дѣтства, мнѣ, ребенку, постоянно твердили:

— Ты долженъ уважать и почитать твою тетушку, и она оставитъ тебѣ состояніе.—И при этомъ прибавляли:—Съ такимъ громаднымъ состояніемъ отказаться отъ свѣта и жить святой отшельницей! Это удивительно!

Когда я подросъ, то постоянно слышалъ:

— Вы единственный наслѣдникъ громаднаго состоянія вашей тетки, если только она не оставитъ его монастырямъ или не откажетъ его на разныя богоугодныя дѣла.

Такимъ образомъ, монастыри и богоугодныя дѣла являлись моими конкуррентами и угрожали моему благополучію.

Впрочемъ, оно не зависѣло единственно только отъ моей тетки. По крайней мѣрѣ, тотъ громадный капиталъ, который былъ положенъ моимъ дѣдомъ въ голландскій банкъ, былъ, вѣроятно, не менѣе состоянія, оставленнаго мнѣ моей тетушкой. Въ точности я никогда не могъ разъяснить этого вопроса. Я знаю только, что дѣдъ мой участвовалъ тайно въ операціяхъ одного изъ франкфуртскихъ банковъ, и черезъ его руки проходили громадные государственные займы.

Что помѣшало деньгамъ тетки уйти на монастыри и богоугодныя дѣла, я не знаю. Можетъ быть, смерть застала ее врасплохъ, можетъ быть, забота со стороны монастырей объ этотъ наслѣдствѣ не была такъ сосредоточенна и упорна, какъ забота какихъ-нибудь ксендзовъ и патеровъ. Только я почти всецѣло унаслѣдовалъ капиталы тетки и дѣда, и

въ 23 года, съ громаднымъ, милліоннымъ состояніемъ, былъ полный его господинъ и распорядитель.

Помню, когда я стоялъ перелъ гробомъ моей тетушки въ залѣ, обитой чернымъ сукномъ и украшенной нашими гербами, когда я смотрѣлъ на ея желтое восковое лицо, на ея угрюмо сдвинутыя брови, мнѣ казалось, что все горе, все тяжелое человѣческой жизни спитъ здѣсь въ этомъ черномъ бархатномъ гробу, подъ этой «настоящей» золотой парчей, а мнѣ остались въ жизни однѣ радости: свѣтъ, воздухъ, счастье.

Я былъ красивъ собою, молодъ и страшно богатъ.

Чего же не доставало мнѣ?

III.

Помню, тогда подлѣ меня стоялъ другъ моей молодости, мой дальній родственникъ, Вольдемаръ, или Валька Р. Я обернулся и посмотрѣлъ на него, причемъ онъ сдѣлалъ такую плутовскую мину и такъ лукаво подмигнулъ, что даже мнѣ стало противно.

Его лицо какъ будто говорило:

— Вотъ и кончикъ той комедіи, которую мы съ тобой до сихъ поръ такъ усердно разыгрывали.

И сколько разъ этого человѣка ставила мнѣ въ примѣръ моя тетушка, сколько разъ, во время ея длинныхъ божественныхъ увѣщаній, мнѣ хотѣлось вскричать:

— Да посмотрите вы на вашего Вольдемара! Онъ только передъ вами разыгрываетъ роль набожнаго смиренника, а на самомъ дѣлѣ такой жуиръ и лакомка!

Впрочемъ, она никакъ бы не повѣрила этой рекомендаціи. Да и кто могъ бы повѣрить!

Представьте себѣ лицо, которое можетъ мѣняться, какъ

море. То вы видите на немъ такое спокойствіе, тишину, смиреніе, что невольно подумаете: «Вотъ человѣкъ, которому чуждо все земное, это стоикъ!..» И вдругъ на этомъ лицѣ стоика появляется такая лукавая, скоромная улыбочка. что каждый скажетъ:

— Ахъ, какая продувная бестія долженъ быть этотъ господинъ!

Въ нашемъ золотомъ кружкѣ (у насъ былъ также кружокъ) мы звали этого господина: Валька Шпунтъ, или просто Валька. И не было такой гадости и хитрости, которую бы не разгадалъ и не ощупалъ этотъ Валька Шпунтъ.

Большая, гладко обстриженная голова, приплюснутый носъ и толстыя мясистыя губы, которыя при каждой улыбкѣ открывали рядъ блестящихъ широкихъ, какъ лопаты, зубовъ, небольшая, но плотная фигура, которая могла какъ бы вытягиваться и сокращаться по произволу—вотъ портретъ нашего Вальки.

Въ немъ было что-то восточное и обезьянье вмѣстѣ. Правда, и фамилія его указывала на татарское происхожденіе.

Передразнить, скопировать какого-нибудь господина или госпожу могъ нашъ Валька съ такой поразительной точностью, что мы всѣ приходили въ изумленіе и неистовый восторгъ.

— Ступай, Валька, въ актеры,—кричали мы ему,—ты будешь великій комикъ, выше Щепкина и Мартынова.

Но въ актеры Валька не пошелъ и остался съ тѣмъ общественнымъ положеніемъ, которое онъ считалъ за наилучшее.

Чѣмъ и какъ онъ жилъ — не знаю. Хотя у отца его, богатаго помѣщика Саратовской губерніи, было порядочное состояніе, но все оно было, какъ говорится, заложено-перезаложено, а между тѣмъ, нашъ Валька ни въ чемъ ни-

когда не нуждался и былъ среди нашего золотого кружка на равной съ нами денежной высотѣ.

Тайну эту, по правдѣ говоря, мы всѣ знали, но каждый держалъ ее про себя и не выдавалъ собрату. Валька очень тонко и хитро эксплуатировалъ каждаго изъ насъ. Онъ зналъ превосходно всѣ мышиныя норки и жидовскія конуры, и каждый разъ, когда кого-нибудь изъ насъ прижимала нужда и приводилось занять нѣсколько тысченокъ, то мы смѣло прибѣгали къ Валькѣ.

Сколько бралъ Валька за коммиссію и какъ онъ доставалъ деньги—это неизвѣстно. Мы знали только одно: онъ былъ истиннымъ нашимъ благодѣтелемъ и помощникомъ. Онъ съ такой товарищеской, добродушной угодливостью принимался за дѣло и добывалъ, что было нужно, быстро и чисто.

И вотъ, этотъ Валька Шпунтъ, когда пришлось намъ опредѣлять наше общественное положеніе, изумилъ насъ всѣхъ: онъ сдѣлался докторомъ.

— Къ чему? Зачѣмъ?—приставали мы къ нему.

Онъ пожималъ плечами.

— Такова воля моего отца, а воля папашечки для меня всегда была и будетъ священна,—говорилъ онъ и при этомъ дѣлалъ такую уморительную, постную гримасу, что мы всѣ помирали со смѣху.

Впрочемъ, онъ мнѣ открылъ причину. Со мной онъ былъ ближе, чѣмъ съ кѣмъ-нибудь изъ кружка. Онъ даже довольно часто ночевалъ у меня. И вотъ, когда я обратился къ нему съ занимавшимъ насъ вопросомъ, то онъ посмотрѣлъ на меня насмѣшливо и сказалъ:

— Вы всѣ глупы и не можете понять самой простой вещи. Кто у насъ единственный свободный человѣкъ? Это докторъ, если только онъ не надѣнетъ ливреи съ свѣтлыми пуговицами. Ему открытъ доступъ всюду: во всѣ palazzo и

мышиныя норки, во всѣ тайники и дортуары. Каждую барыню онъ можетъ досмотрѣть и ощупать такъ, какъ это ему понравится. Въ каждой семьѣ онъ можетъ быть другомъ дома. Даже у барышенъ онъ можетъ при случаѣ коечѣмъ поживиться... А что касается до состоянія, то это вполнѣ зависитъ отъ меня. Кому легче нажиться, какъ не доктору? Умѣй только шарлатанить, какъ слѣдуетъ.

И онъ захохоталъ своимъ циничнымъ, громкимъ, порывистымъ смѣхомъ.

IV.

У каждаго человѣка бываетъ въ жизни переломъ, послѣ котораго онъ или остается жуиромъ на всю жизнь, или принимается за какую-нибудь работу. У однихъ наступаетъ эта пора раньше, у другихъ—позже. У меня она наступила, когда ко мнѣ подходилъ двадцать-пятый годъ.

Насытившись и пресытившись всѣми благами жизни, вкусивъ всѣхъ пряничныхъ раздраженій, отвѣдавъ даже изъ чаши возвеличенія собственной особы (я былъ уже почетнымъ членомъ разныхъ археографическихъ обществъ), мнѣ ничего не оставалось, какъ байронствовать и добросовѣстно играть роль blasé. Но на этомъ перепутьѣ накрыла меня первая и послѣдняя любовь.

Я былъ на югѣ, проѣздомъ въ Крымъ, на южный берегъ. Тамъ необходимо было осмотрѣть небольшое имѣнье, гдѣ я устраивался на лѣто.

Была осенняя пора, которая на югѣ лучше лѣта,—это пора созрѣванія винограда, пора теплыхъ ясныхъ дней, но на этотъ разъ шли непрерывные дожди и грязь была невылазная. Помню, на меня нашла хандра, недовольство или вообще то скверное состояніе висѣнія между небомъ и зем-

лей, когда не знаешь за что взяться и на что рѣшиться. Устроиться ли въ Крыму осѣдлымъ образомъ, или отправиться въ Италію, въ Сицилію, гдѣ около Джардини у меня была прелестная небольшая вилла. Съ одной стороны, замѣшивался патріотизмъ, съ другой—тянуло южное небо, мирты, лавры, олеандры, стройныя пальмы и еще болѣе стройныя страстныя сициліанки.

Не знаю, на что̀ бы я рѣшился, если бы не выручилъ случай. Это было въ Одессѣ, гдѣ я думалъ пробыть нѣсколько часовъ и прожилъ нѣсколько дней. Первый день пріѣзда я пошелъ пройтись, подышать морскимъ воздухомъ. Кстати погода разгулялась. Тучи неслись по небу, какъ бы торопясь куда нибудь убраться на ночевую, и блѣдное солнце тихо выглянуло и незамѣтно спускалось къ морю.

Идя по Дерибасовской улицѣ, я, задумавшись объ устройствѣ новаго жилья, незамѣтно дошелъ до какого-то переулка и повернулъ въ него.

Въ переулкѣ (котораго названіе осталось мнѣ неизвѣстнымъ) на перекресткѣ стояла женская фигурка. Она сразу привлекла и поглотила мое вниманіе. Это была молоденькая дѣвушка, съ такимъ милымъ, симпатичнымъ лицомъ, какого я затѣмъ уже никогда не встрѣчалъ въ моей жизни.

Она была нѣсколько блѣдна, глаза были заплаканы; но все личико ея было до того прелестно, изящно, что я невольно остановился и затѣмъ, пройдя нѣсколько шаговъ, обернулся. Дѣвушка шла за мной.

Весь черный костюмъ ея (она была въ траурѣ) такъ удивительно шелъ къ ея стройной фигуркѣ. Черная скромная шляпка, длинный черный вуаль, который былъ отброшенъ назадъ, и маленькія узенькія плерезы, вокругъ чернаго воротничка и рукавовъ,—все было такъ мило, художественно-изящно, что я невольно засмотрѣлся.

Дѣвушка подошла ко мнѣ, остановилась и, сложивъ съ

мольбою руки, заговорила тихо, мелодичнымъ голосомъ, въ которомъ звучали рыданья.

— Кто бы вы ни были... Вы, вѣрно, христіанинъ?... Не еврей?... Спасите меня!...

И она закрыла глаза платкомъ. Слезы не дали ей договорить.

— Отъ кого?...

Она не отвѣтила и молча показала кругомъ. Я обернулся, мы стояли на перекресткѣ. Изъ каждаго переулка торчала жидовская фигурка. Изъ оконъ смотрѣли жидовскіе пейсы и бороды.

— Позвольте предложить вамъ руку и просить васъ разсказать ваше горе.

Она съ радостью, какъ-то по-дѣтски, подала мнѣ маленькую руку, одѣтую въ черную перчатку, и мы пошли къ Дерибасовской улицѣ.

Вотъ что она мнѣ разсказала.

Восемь дней, какъ она пріѣхала въ Одессу, съ матерью, небогатой помѣщицей Полтавской губерніи. Онѣ пріѣхали сюда изъ своей маленькой деревушки, по дѣлу. Въ эти восемь дней мать заболѣла и умерла на шестой день. Все, что было у нихъ, дочь продала, истратила на лѣченіе, на похороны и теперь осталась въ чужомъ городѣ совершенно одна, безъ денегъ и безъ знакомыхъ.

Ее осадили жиды со всѣхъ сторонъ. Они сбѣжались, какъ собаки на падаль. Сперва ей предлагали деньги подъ залогъ деревушки, но деревушка была уже заложена. Затѣмъ, разсудивъ, что она сама гораздо выгоднѣе ея деревушки, они начали спекулировать на ея красоту и молодость.

— Мнѣ не даютъ проходу,—разсказывала она со слезами.—Они все уговариваютъ меня ѣхать въ Турцію. Они...

Въ это время она вдругъ замолчала, вздрогнула и крѣпко обѣими руками ухватилась за мою руку.

Передъ нами, словно изъ земли, выросъ сѣдой, осанистый жидъ въ цилиндрѣ. Онъ искоса оглянулся на нее, на меня и чуть замѣтно ухмыльнулся.

— Не бойтесь!—сказалъ я.—Я съумѣю васъ охранить отъ жидовскихъ лапъ.

И въ тотъ же вечеръ я переселилъ ее изъ маленькой гостинницы, въ которой она остановилась съ своей матерью, въ Grand Hotel d'Europe, гдѣ я занималъ большой номеръ въ бель-этажѣ.

V.

Ее звали Фелицата Григорьевна. Фамилія ея была малороссійская. Въ первый же вечеръ я влюбился въ нее страстно и безумно.

Я видалъ красавицъ. Я владѣлъ ими, но здѣсь было что-то выше красоты. Это было одно изъ тѣхъ лицъ, одна изъ тѣхъ натуръ, подлѣ которыхъ становится свѣжо и свѣтло, какъ подлѣ добраго, наивнаго, откровеннаго ребенка.

Въ тотъ же вечеръ, я помню, проболталъ съ нею долго, и она нѣсколько разъ со слезами на глазахъ принималась благодарить меня.

Въ моихъ похожденіяхъ съ существами демимонда и съ разными легкими дамами я удивлялъ товарищей своей безстыдной дерзостью, но здѣсь вся моя смѣлость вдругъ исчезла. Я сталъ передъ нею не только невиннымъ новичкомъ, но каждая дерзновенная мысль мнѣ представлялась уже преступленіемъ, чѣмъ-то въ родѣ посягательства на ея красоту тѣхъ пархатыхъ жидовъ, отъ которыхъ я освободилъ ее.

Мы прожили въ Одессѣ чуть не цѣлую недѣлю, откла-

дывая, подъ разными предлогами, ея отъѣздъ въ деревню. Мы бродили по городу, гуляли въ городскомъ саду, и каждый вечеръ непремѣнно катались по морю.

Погода перемѣнилась, теплые вечера были восхитительны, тихіе закаты, когда солнце ясно, спокойно опускалось въ море. Она смотрѣла на игру волнъ, я смотрѣлъ и любовался на нее.

Я выросъ внѣ семьи. Нельзя же считать семьей богомольную, ворчливую, придирчивую тетушку, или товарищей, съ которыми меня связывало самое пустое тщеславіе и безумная jeunesse dorée. Съ Фелей (я буду звать ее такъ, какъ звала ее мать) я впервые узналъ или почувствовалъ что-то родное, прочное, постоянно согрѣвающее сердце, если только оно призвано къ семейнымъ радостямъ.

Нѣсколько разъ я спрашивалъ себя: «не связать ли свою судьбу съ судьбою этой семнадцати-лѣтней дѣвушки-ребенка?» Но мысль о женитьбѣ какъ-то невольно пугала меня. Въ ней чувствовалось что-то связывающее, законченное, что то до того банальное и пошлое, что я гналъ скорѣе отъ себя соблазнительную мечту!

Увлечь ее, выпить жадно полный кубокъ свободной любви... Но именно эта мысль мнѣ казалась тогда какимъ-то жидовскимъ свинствомъ.

На шестой день нашей общей жизни я, наконецъ, простился съ нею. Она уѣхала въ деревню, занявъ у меня какую-то незначительную сумму. Я далъ ей въ провожатые человѣка, на вѣрность и честность котораго я полагался.

Когда я вернулся къ себѣ въ Hotel d'Europe съ первой станціи, куда я проводилъ ее, мнѣ стало крѣпко не по себѣ. Два дня я еще прожилъ въ Одессѣ и не зналъ куда дѣваться съ тоски. Нѣсколько разъ я порывался броситься за ней, нагнать ее гдѣ нибудь на дорогѣ и признаться, что я не могу жить безъ нея. Я пробовалъ писать къ ней, но

только изорвалъ нѣсколько почтовыхъ листовъ. Я не могъ спать по ночамъ. Мнѣ какъ будто слышался ея дѣтскій лепетъ и милый открытый смѣхъ.

Не знаю, на чтобы рѣшился я, но судьба нежданно-негаданно посылала мнѣ Вальку Шпунта. Это было вечеромъ, довольно поздно. Я услыхалъ въ корридорѣ его громкій смѣхъ и говоръ.

Мы не видались съ нимъ болѣе шести лѣтъ. Онъ, дѣйствительно, сдѣлался докторомъ и мало-по-малу оставилъ нашъ кружокъ. Затѣмъ онъ исчезъ изъ Петербурга, и мы не знали, куда онъ пропалъ. И вотъ теперь онъ громко постучался въ дверь и, не дожидаясь отвѣта, оттолкнулъ камердинера, который не давалъ ему войти. Онъ предсталъ во всемъ величіи своей коренастой фигурки и съ своимъ обычнымъ громкимъ раздражающимъ смѣхомъ.

— Ха! ха! ха! Вотъ мы гдѣ! Voilà!... Отбиваемъ у жидовъ хорошенькихъ панянокъ и снаряжаемъ ихъ въ деревню.

— Ахъ, Валька!—вскричалъ я, обнимая его.—Какимъ образомъ ты здѣсь? Ты все знаешь?...

— Я долженъ все знать, въ качествѣ доктора... Ну, что же? Проводилъ и носъ повѣсилъ, киснешь?... Ха! ха! ха!

— Ахъ, Валька! Еслибы ты зналъ..—И я описалъ ему по-французски мое положеніе.

— Ну, такъ что же?—спросилъ онъ, выслушавъ меня со смѣхомъ.—De quoi s'agit-il? Привезти мнѣ ее? Хочешь?

— Ахъ, Валька!... Ты вѣчно былъ шутомъ, а я говорю серьезно.

— А если серьезно, то говори, сколько даешь?... И я привезу, и отдамъ тебѣ ее въ руки... Ну, дашь сто тысячъ?..

— Ты все мѣряешь деньгами.

— Да другой мѣры нѣтъ и не будетъ... Ну, хочешь? я спрашиваю серьезно.

И, дѣйствительно, онъ устроилъ серьезную сдѣлку. Мы призвали нотаріуса изъ жидковъ и заключили формальный контрактъ, по которому я обязался уплатить Валькѣ сто тысячъ, если онъ исполнитъ порученіе, которое было написано и запечатано въ конвертѣ, переданномъ нотаріусу на храненіе.

VI.

Онъ на другой день заставилъ меня написать къ ней страстное письмо и отобралъ отъ меня мой акварельный портретъ.

— Это на всякій случай,—говоритъ онъ.—Теперь я твой ambassadeur en forme.

И онъ быстро обдѣлалъ свои дѣла и отправился, а я долженъ былъ ѣхать заграницу и тамъ ждать мою суженую. Напрасно я доказывалъ, что я могу ждать и въ Россіи, въ Крыму. Валька упорно настаивалъ, чтобы дѣло было заграницей.

— Хоть она и бобыль, какъ ты говоришь, но мало-ль можетъ что случиться. Тамъ дядя, тетка... и не думаешь, не гадаешь, какъ запрутъ тебя въ кутузку или пошлютъ въ мѣста, не столь отдаленныя... Нѣтъ! ужъ лучше въ Сициліи... А иначе я не берусь. Разойдемся!—И онъ подалъ мнѣ наше условіе.

Разумѣется, я согласился и уѣхалъ въ Венецію ожидать его пріѣзда.

Не буду описывать всѣхъ перипетій моего двухнедѣльнаго ожиданія. Нѣсколько разъ я стоялъ на Ponte Rialto въ раздумьѣ: броситься головой внизъ и успокоить на вѣкъ мучительную тоску, которая, казалось, проникала до самаго дна моего сердца. Мнѣ стала противна Венеція до тошноты,

—эта тихая, мертвая пустыня, среди лагунъ. Каждый день, два раза, аккуратно я являлся на почту съ запросомъ писемъ. Каждый день я приходилъ на пристань и цѣлый часъ ожидалъ обычнаго парохода. Гондольеры прозвали меня Signoro d'attante.

Былъ какой-то праздникъ. Вся Венеція разубралась флагами и коврами. Я проходилъ почти весь день на площади Марка. Мнѣ были противны даже голуби, стаями вившіеся на площади.

На закатѣ дня, необыкновенно яснаго и теплаго, я отправился на пристань. Тамъ, по обыкновенію, толпился народъ. Это былъ не очередной день для прибытія почтовыхъ пароходовъ. Я смотрѣлъ съ отчаяніемъ на красный огненный закатъ, на тихія воды. Онѣ напоминали мнѣ наши морскія прогулки въ Одессѣ.

Къ пристани подходилъ какой-то частный пароходъ. На самомъ носу стоялъ Валька, а подлѣ него—она.

Я невольно вскрикнулъ отъ радости и бросился къ первому, ближайшему гондольеру. Вѣроятно, онъ принялъ меня за сумасшедшаго. Мы поѣхали навстрѣчу пароходу, что вовсе было не нужно, такъ какъ и безъ того онъ подходилъ къ пристани и при томъ плылъ, разумѣется, скорѣе, чѣмъ моя гондола. Я махалъ платкомъ, и она мнѣ отвѣчала тѣмъ же. Я бранилъ гондольера, что онъ тихо ѣдетъ, но гондольеръ работалъ весломъ изъ всѣхъ своихъ силъ. Я хотѣлъ пристать къ пароходу, но капитанъ сердито кричалъ, чтобы мы отъѣзжали прочь.

Когда я подъѣхалъ къ пристани, они уже вышли и стояли съ Валькой въ сторонѣ отъ толпы. Я пробился сквозь нее и бросился къ нимъ. Она кинулась ко мнѣ. На глазахъ ея стояли слезы. Я схватилъ ея протянутыя руки и, какъ безумный, цѣловалъ ихъ.

— Ну, цѣлуйтесь, цѣлуйтесь, дѣти мои, и я благословлю

васъ! — продекламировалъ Валька, торжественно простирая надъ нами руки.

У меня также на глазахъ выступили слезы. Я взглянулъ на нее. Ея лицо было такъ близко. Оно все сіяло любовью. Я поцѣловалъ ее, и въ этомъ поцѣлуѣ мы высказали все, что слѣдовало сказать. Мы понимали другъ друга.

Этой безумной минуты, этой дѣтской радости я никогда не забуду въ жизни, и только одну эту минуту я готовъ благословить въ ней. Не потому ли и дѣти всегда радостны, счастливы, шаловливы, что они не знаютъ и не понимаютъ жизни.

Мы шли въ гостинницу, держа другъ друга за руки. Валька, по обыкновенію, паясничалъ, шелъ впереди насъ и кричалъ:

— Дорогу, дорогу счастливымъ сердцамъ!

Такъ что я долженъ былъ, наконецъ, серьезно остановить его.

Цѣлый вечеръ, до поздней ночи, мы вдвоемъ бродили по Венеціи, катались по ея каналамъ. Полный мѣсяцъ высоко стоялъ надъ ея дворцами и башнями. Фосфорическій свѣтъ луны серебрилъ воду Canallo grande. Мы сидѣли съ ней вдвоемъ въ бесѣдкѣ гондолы. Вода тихо плескала подъ кормой, гондольеръ заунывно пѣлъ или бормоталъ какую-то баркароллу.

Чего не доставало мнѣ для полноты счастія, блаженства?..

VII.

На другой день Валька разсказалъ мнѣ исторію его удачнаго посольства.

— Если бы я зналъ, что мнѣ это такъ легко доста-

[illegible] г.

нется,—сказалъ онъ,—то я не взялъ бы съ тебя ста тысячъ. А, впрочемъ, дуракъ тотъ, кто беретъ меньше, когда можетъ взять больше. Дѣло уже было сдѣлано до меня. Я только явился, какъ Deus ex machina, чтобъ увѣнчать его. Она страдала, тосковала, томилась и притомъ одна-одинешенька, въ глухой дрянной деревушкѣ. Когда же она уразумѣла, съ чѣмъ я пріѣхалъ, то чуть не умерла съ радости. Сейчасъ же снарядилась и фьютъ...

— Что ты ей сказалъ? Обѣщалъ?..

— Цѣлыя горы благополучія.

— Я долженъ жениться на ней?..

— Ну, это ужъ отъ тебя зависитъ. Я препятствовать не буду и помогать тоже.

И онъ захохоталъ.

Признаюсь, этотъ вопросъ теперь только представился мнѣ во всей его серьезности.

«Что же? Отчего же не испробовать бракъ до брака и не увѣнчать его бракомъ? Если черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, черезъ полгода, мои и ея чувства не измѣнятся, то можно завестись семьей оффиціально. Если же мы охладѣемъ другъ къ другу, то она свободна... съ милліоннымъ состояніемъ (это мой долгъ). И тогда выходи за кого хочешь... Какъ будто не все равно: жениться на вдовѣ или чужой любовницѣ. Предразсудокъ!..»

Впрочемъ, я предоставилъ этотъ вопросъ на ея разрѣшеніе. Она прежде всего покраснѣла, а потомъ спрятала лицо на моей груди и прошептала:

— Дѣлай какъ хочешь! Я твоя. Вѣдь все равно: я удавилась бы съ тоски у насъ въ деревнѣ, а теперь умру, когда ты меня бросишь!—и она со вздохомъ крѣпко обняла меня, какъ бы боясь, чтобы я ее не бросилъ.

Черезъ два дня мы уѣхали въ Римъ. Валька взялся провожать насъ.

— Все равно,—сказалъ онъ,—я съ тебя за это ничего не возьму. Немного пожуирую, довезу васъ до дому и брошу.

— Куда же ты?

— А мнѣ нужно... въ Турцію, въ Грецію, а вѣрнѣе въ Египетъ.

И мы отправились.

Тогда еще не было желѣзной дороги даже въ мечтахъ у кого-нибудь, и я долженъ былъ нанять цѣлый эскортъ карабинеровъ, чтобы провожать нашъ мальпостъ по папскимъ владѣніямъ. Впрочемъ, я обязанъ былъ, кромѣ этого расхода, заплатить еще порядочный выкупъ за свободный проѣздъ абруцкимъ горнымъ джентльменамъ.

Въ Римѣ у меня были знакомые между нашими и римскими художниками, и мы отправились шляться по мастерскимъ разныхъ pittore и sculptore. Одинъ изъ нихъ, синьоръ Бруццини, пришелъ въ восторгъ отъ моей Фели.

— О! Если бы синьора могла служить моделью, какую дивную вещь можно бы было создать!—вскричалъ онъ.

И мнѣ пришло сильное желаніе, чтобы эта вещь была произведена. Я уговорилъ Фелю, да и чего бы она ни сдѣлала, на что ни рѣшилась бы, только бы угодить мнѣ.

Синьоръ Бруццини перенесъ свою мастерскую ко мнѣ въ кабинетъ и началъ лѣпить съ Фели лѣсную нимфу у ручья.

Онъ далъ всей фигурѣ прелестный, волнистый поворотъ. Онъ толковалъ и показывалъ мнѣ всю неподражаемую рослошь, все богатство красивыхъ линій, мускуловъ, чуть-чуть, едва замѣтно выдѣлявшихся подъ нѣжными, атласистыми покровами и точно выточенныхъ изъ мрамора.

— Женщина,—говорилъ онъ, усердно работая надъ глиняной фигурой,—это высшая красота, которую Богъ далъ человѣку, для понятія о томъ, какая дивная красота скрыта въ небѣ.

Я не возражалъ. Я любовался, и мнѣ казалось, что высшее наслажденіе заключается именно въ созерцаніи этой непонятной гармоніи линій и эстетическихъ пропорцій.

Черезъ мѣсяцъ статуя изъ глины была готова. Я заказалъ ее изъ мрамора, въ натуральный ростъ. Бруццини сформовалъ ручки и ножки Фели: крохотныя, пухленькія ручки съ длинными полупрозрачными пальчиками и маленькія, стройныя, крѣпкія ножки, съ высокими подъемами.

Мѣсяцъ этотъ пролетѣлъ для насъ незамѣтно въ осмотрѣ Ватикана, ложъ Рафаэля, разныхъ галлерей и древностей. Валька, отъ нечего дѣлать, по цѣлымъ днямъ кутилъ съ русскими художниками. Съ каждаго онъ взялъ какую-нибудь художественную дань. Съ одного эскизъ картины, съ другого этюдъ голой модели, съ третьяго даже цѣлую небольшую картину, съ четвертаго статуэтку, съ пятаго группу изъ терракотты, такъ что къ нашему выѣзду у него собралась довольно большая коллекція, цѣлый музей.

— Зачѣмъ тебѣ эту меледу?—спрашивалъ я.

— А на дурака, въ родѣ тебя: спущу и выручу маломало тысченокъ съ десятокъ. Пригодится дѣткамъ на молочишко... Я вѣдь непремѣнно женюсь, когда мнѣ будетъ девяносто лѣтъ, безъ году...

Я не могъ его осудить за это желаніе наживы. Каждый желаетъ большаго, кромѣ меня, у котораго слишкомъ довольно, но зачѣмъ же этотъ цинизмъ, это хвастовство своей аферой и зачѣмъ афера съ произведеніями художества, съ этими высшими дарами, которые небо послало на землю.

Я думалъ такъ въ то неопредѣленное, глупое время, когда я ни во что не вдумывался и ничего не обдумывалъ до послѣдняго крайняго вывода.

На Фелю спекуляція Вальки произвела также непріятное впечатлѣніе.

— Онъ точно жидъ!—признавалась мнѣ она, съ гримаской гадливости.

— Но этотъ жидъ пріобрѣлъ для меня друга,—возразилъ я,—который для меня выше всѣхъ художественныхъ произведеній цѣлаго міра.

И мы крѣпко поцѣловались.

VIII.

До Сициліи мы добрались еще не скоро. Цѣлую недѣлю прожили мы въ Неаполѣ. Были на Везувіи, осматривали Помпею.

Феля сшила себѣ, вмѣсто блузы, древній римскій костюмъ, и, помню, какъ она была дивно хороша въ этомъ костюмѣ. Когда мы пріѣхали къ себѣ, въ Джардини, этотъ костюмъ, розовый пеплумъ, сдѣлался ея любимымъ, и она почти не разставалась съ нимъ.

Мы пріѣхали вечеромъ, на маленькомъ, моемъ собственномъ катерѣ, который свезъ насъ съ парохода.

Помню, это было въ теплый зимній вечеръ, который можетъ быть только въ Сициліи. Солнце спряталось за скалистымъ берегомъ, и надъ всѣмъ островомъ стояло тихое розовое зарево заката. Оно отражалось въ спокойной водѣ, которая, чуть замѣтно, цѣлой блестящей массой колыхалась подъ лодкой, точно укачивала ее.

Уже далеко, съ берега, въ тихомъ вечернемъ воздухѣ разливался ароматъ миртъ и апельсинныхъ цвѣтовъ—нѣжный, кроткій ароматъ, который какъ-то всецѣло сливался съ моей нѣжной, кроткой Фелей. Она ничего не говорила и тихо любовалась скалистыми обрывами и островками, которые затягивались едва замѣтной голубоватой дымкой.

Изъ всѣхъ окрестныхъ деревень жители сбѣжались встрѣ-

чать насъ. Все это было дико, фанатично, но живописно, въ своихъ яркихъ, узорчатыхъ костюмахъ... Все это кричало, голосило.

— O! Come bella! Donna Maria!—говорили женщины, любуясь на мою Фелю.

— Come angiolino di Dio! Овечка божья!

Я всходилъ по мраморнымъ ступенямъ, гордо ведя ее подъ руку. Шире и шире открывался кругозоръ, когда мы останавливались на широкихъ мраморныхъ площадкахъ. Море уходило въ глубь, раскрывалось величавѣе въ его царственномъ покоѣ,—тихое, голубое, блестящее.

Нѣсколько слугъ несли за нами наши вещи, разговаривая въ полголоса. Валька остался далеко внизу, и ничто не смущало покоя чуднаго вечера. Только маленькія птички чуть слышно перекликались въ темныхъ кустахъ ароматной зелени. Ночь спѣшила накрыть эту зелень своимъ мрачнымъ покровомъ, и среди ея сумрака какъ-то странно выдѣлялись уродливые кактусы и стройныя пальмы.

Сверху, къ намъ на встрѣчу, шли слуги и несли канделябры, а впереди ихъ бѣжалъ, торопился бойкій, юркій синьоръ Пиккачини, управляющій моей виллой.

На другой же день я принялся, съ его помощью и отчасти Вальки, устраивать помѣщеніе для моей милой хозяйки. Palazzo былъ не великъ, но въ немъ нашлись двѣ, три комнаты и одна небольшая зала, въ которыхъ можно было устроиться комфортно.

Я тотчасъ же выписалъ изъ Неаполя архитектора и художника-декоратора съ замѣчательнымъ вкусомъ. Онъ отдѣлалъ салоны прелестно, и въ особенности одинъ, который былъ дѣйствительно чудо изящества. Онъ обилъ его стѣны буфами изъ свѣтло-сиреневой матеріи, убралъ ихъ серебряными тонкими, ажурными украшеніями, а въ серединѣ каждаго большого кадрана одинъ замѣчательный неаполитанскій

гвашистъ, Цезарь Ува, нарисовалъ букеты изъ бѣлыхъ розъ, гортензій и фіалокъ. Все было нѣжно, мягко въ этомъ салонѣ, и одно небольшое окно его, съ матовыми узорчатыми стеклами, выходило въ душистый садъ.

Но Фелѣ нравился больше залъ, съ тремя большими окнами, балконами, свѣтло-сѣрый, мраморный, съ бѣлыми барельефами и бронзой. Въ немъ былъ огромный каминъ—чудо скульптуры, украшенный группой Кановы. Въ немъ посединѣ стоялъ большой мозаичный столъ, а по стѣнамъ —диваны въ помпейскомъ вкусѣ—его широкіе балконы открывались прямо въ садъ, на террасу, съ перистилемъ изъ двѣнадцати колоннъ.

Въ этомъ залѣ было просторно. Много воздуху и свѣта—того, что нравилось Фелѣ, что она такъ сильно любила.

Черезъ два мѣсяца, когда была отдѣлана эта часть дома и Феля была водворена въ ней, ея радость не знала границъ. Она не проявлялась дѣтскими восторгами, но свѣтилась въ ея глазахъ, на которыхъ навертывались слезы. Она почти не отходила отъ меня и благодарила безмолвно глубокимъ, нѣжнымъ взглядомъ.

— Знаешь ли,— говорила она,—я благодарна тебѣ не за эту роскошь, комфортъ, изящество, которыми ты окружилъ меня такъ заботливо. Нѣтъ! Я благодарна тебѣ за то довольство жизнью, въ которомъ лежитъ счастье каждаго человѣка. А въ чемъ это довольство?...

— Въ любви и свободѣ,—отвѣтилъ я за нее.—Любовь дается судьбой, случаемъ, а деньги... но деньги и есть сама свобода.

Она задумалась и проговорила тихо, съ убѣжденіемъ. пристально смотря на меня:

— Нѣтъ, Сержъ, есть много вещей, которыя ни за какія деньги не купишь, и первая изъ нихъ—любовь.

— Да! Но безъ денегъ нѣтъ счастья. Я въ этомъ глубоко убѣжденъ.

— Безъ любви, Сержъ, повѣрь, милый мой, что все счастье человѣка въ любви.

— И ты серьезно вѣришь, что:

Хижина убога и съ милымъ будетъ рай!

И я невольно засмѣялся.

— Вѣрю! Что мнѣ вся эта роскошь!—и она обвела кругомъ рукой:—всѣ эти бездѣлушки! Вотъ этотъ розовый пеплумъ, который на мнѣ. Онъ вѣдь изъ простой, недорогой матеріи, а я имъ довольна. А почему? Потому, что онъ нравится тебѣ, и все мнѣ нравится потому только, что все это принадлежитъ тебѣ... Ты мой мѣсяцъ, мое солнце, мой свѣтъ! Угаснетъ свѣтъ—и развѣ я могу любоваться на все это въ потьмахъ!

И въ ея голосѣ задрожали слезы. Она схватила мою руку и начала крѣпко цѣловать ее. И дорогая ея слезинка скатилась ко мнѣ на руку.

IX.

Послѣ этой вспышки глубокаго чувства, мнѣ кажется, я еще крѣпче полюбилъ ее. То подозрѣніе, которое невольно шевелилось внутри меня и которое я каждый разъ гадливо гналъ прочь, улетѣло. Подозрѣніе, что могущество моего богатства привлекло ее и что ея чувство было дѣланное, напускное.

Въ качествѣ счастливыхъ пижоновъ, мы прожили два, три мѣсяца. Можетъ быть, больше, можетъ быть, меньше, я теперь не помню. Знаю только, что эти мѣсяцы были единственные мѣсяцы въ моей жизни полнаго, бездумнаго счастія.

Я думаю, что человѣкъ можетъ быть только тогда блаженъ и счастливъ, когда онъ не проникаетъ внутрь вещей, въ ихъ глубину. Какъ скоро онъ вскроетъ эту ядовитую чашу премудрости и отвѣдаетъ изъ нея хоть одну каплю, счастье улетитъ отъ него, превратится въ туманъ и исчезнетъ.

Ахъ! Неужели довольство жизнью принадлежитъ только посредственностямъ, грубымъ, ограниченнымъ, которыя могутъ вполнѣ удовлетворять только однѣ ихъ чувственныя потребности.

Наша жизнь во все это время текла по неизмѣнному шаблону, который не надоѣдалъ ни ей, ни мнѣ. Мы много читали, много думали и спорили. Но въ этомъ спорѣ не звучала раздраженная нотка. Если она чувствовала, что ея мнѣніе было справедливо, а я съ имъ не соглашался, то на всемъ ея миломъ, подвижномъ лицѣ проступало грустное чувство. Видно было ясно, какъ ей тяжело было мириться съ неправдой изъ боязни обидѣть дорогого ей человѣка.

Вообще она была весела, шаловлива какъ наивный ребенокъ, и очень рѣдко находили на нее припадки раздумья, анализа, которые такъ часто мучили меня. Но при всей своей дѣтской шаловливости въ ней было глубоко любящее сердце, и она жила только этимъ сердцемъ.

Вскорѣ послѣ нашего пріѣзда она сдѣлалась центромъ помощи для этихъ отребій общества, которыхъ такъ много въ Италіи. Грязные, лѣнивые, въ вонючихъ лохмотьяхъ, они составляютъ слишкомъ грубый диссонансъ среди гармоничной красоты окружающей природы.

— Посмотри! какъ она хороша,—говорила мнѣ она о своей любимицѣ, двѣнадцатилѣтней Маріеллѣ.

И дѣйствительно, она была хороша, эта смуглая дѣвочка, съ черными, большими, блестящими глазами и съ волнистыми космами черныхъ волосъ.

— А вы издали на нее любуйтесь,—вмѣшивался Валька.— Близко не подходите, а не то заразитесь всякими паразитами и одерами. Вѣдь это сицилійская фіалка au naturel. Ха, ха, ха!...

У дѣвочки былъ отецъ Джовани, была семья, которую давила бѣдность въ своихъ когтяхъ. Въ нашихъ прогулкахъ по окрестностямъ мы иногда встрѣчали отца. Угрюмый, черножелтый, оборванный и до времени сгорбленный, онъ производилъ тяжелое впечатлѣніе. Одинъ разъ я спросилъ его:

— Чего не достаетъ ему для его благополучія?

— О! Eccellenza! Мнѣ нужно кусокъ земли, немного побольше; домъ, вмѣсто груды прокопченныхъ камней, маленькаго ослика... Вотъ что мнѣ нужно. О! Eccellenza.

Я далъ ему то, что онъ желалъ. Я поручилъ моему управляющему устроить эту семью, и надо было видѣть, какъ рада была моя Феля. Это былъ ей самый дорогой подарокъ отъ меня.

Черезъ недѣлю, въ воскресенье, вся семья пришла къ намъ на виллу. Все это было разряжено въ новыя яркія платья, изъ-подъ которыхъ выглядывали прежнія грязныя отребья. И сколько оборванцевъ она привела съ собой!..

— О! Eccellenza,—говорилъ Джовани, который какъ будто распрямился и помолодѣлъ.—Мнѣ надо бы еще немножко денегъ, и я завелъ бы горшечный заводъ, такой же какъ у Беппо Пукко. Вы вѣдь знаете, eccellenza, Беппо Пукко? О! тогда я былъ бы вполнѣ доволенъ.

И я велѣлъ управляющему устроить ему горшечный заводъ.

X.

Мы проводили Вальку на востокъ, въ Турцію или Египетъ. Онъ, кажется, самъ хорошенько не зналъ, куда онъ ѣхалъ. Всю свою коллекцію, цѣлый большой сундукъ, онъ увезъ съ собой.

— Къ египетскому хедиву, во дворецъ!—говорилъ онъ.

Безъ него наша жизнь потекла еще сосредоточеннѣе и влюбленнѣе, если можно такъ выразиться.

Зима уже проходила. Прошли холодные, дождливые, туманные дни. Настала весна, которую на югѣ не замѣчаешь среди постоянной зелени и цвѣтовъ, и солнце начинало жечь по лѣтнему.

Въ одинъ изъ такихъ жаркихъ, тяжелыхъ дней совершился тотъ страшный переломъ, который сразу обрушился на мой внутренній миръ, какъ африканскій ураганъ.

Феля была попрежнему довольна, весела. Ея любовь сдѣлалась еще нѣжнѣе, но ея ласки какъ-то скользили по мнѣ и не вызывали той радости въ сердцѣ, того полнаго, безмятежнаго довольства собой и міромъ.

Я, помню, разъ проснулся поздно съ тяжелой головой и вышелъ на террасу, по которой пробѣгалъ легкій сквозной вѣтерокъ. Феля спала или куда-то исчезла. Солнце пекло немилосердно. Вся зелень была покрыта слоемъ пыли. Все задыхалось отъ зноя. Даже ящерицы всѣ попрятались. Я угрюмо смотрѣлъ на посохшіе листья. Все было какъ-то однообразно, сѣро, сухо, точно сѣрая, дикая пустыня, и мнѣ представилось, что вездѣ, во всѣхъ произведеніяхъ земной красоты та же пыль, та же мертвенная сухость, и только мы, мы сами придаемъ имъ то обаяніе, ту гармонію, которая намъ такъ нравится.

Мы—дѣти, которыя тѣшутся нарядными, разноцвѣтными

игрушками или разными красками и благовоніями. Что такое гармонія, красота, художественность? Все это наше, напускное; а въ самомъ дѣлѣ есть разные кислороды и углероды, есть солнце—эта далекая печь, которую постоянно топятъ аэролиты. И что такое женщина? Эта, какъ мнѣ казалось, высшая красота, среди этого обманчиваго, грубаго «землянаго міра».

Тяжелое, невыносимое чувство пустоты охватило, сжало мою грудь. Я всталъ, не замѣчая, вышелъ подъ тѣнь веранды, въ садъ. Какой-то отвратительный, большой червякъ ползъ по алейкѣ, перебирая множествомъ своихъ маленькихъ ножекъ. Я съ омерзеніемъ раздавилъ его.

Онъ былъ ближе къ землѣ, чѣмъ я. Но если человѣкъ поднимется высоко въ воздухъ, на аэростатѣ и совершенно отдѣлится отъ земли, то онъ самъ въ себѣ и на себѣ всегда будетъ носить эту землю.

Онъ улетитъ въ тотъ же воздухъ, что и на землѣ. И если бы была возможность улетѣть ему въ эфирное пространство, то что же тамъ?.. Холодная пустыня!..

Меня обдало запахомъ сырой земли и тяжелымъ, удушливымъ, прѣлымъ запахомъ перегноя. Я, задумавшись, зашелъ за оранжерею, гдѣ былъ навозникъ, и остановился.

Вотъ что скрыто подъ обманчивой красотой, подумалъ я. Человѣкъ будетъ всегда на вышинѣ своего роста—отъ этой пыли, грязи. Онъ вырастаетъ изъ земли, и все, что его окружаетъ, также создано изъ земной грязи. А тамъ, надъ нимъ, въ вышинѣ, мертвая, холодная пустыня!..

Я вернулся домой угрюмый и въ первый разъ былъ неласковъ съ моей Фелей. Я никогда не забуду того впечатлѣнія, которое произвели на нее моя холодность и сдержанность. Ея лицо совершенно измѣнилось. Такого сильнаго ужаса, безнадежности, я никогда не видалъ потомъ ни на одномъ человѣческомъ лицѣ.

— Serge!—приставала она ко мнѣ:—Ты мнѣ только скажи: я надоѣла тебѣ? Я уѣду. Спрячусь отъ тебя!..

Но слезы не давали ей говорить.

— Полно, перестань,—сказалъ я.—На меня просто нашла хандра. Дай мнѣ успокоиться.

И я поцѣловалъ ее. Но и отъ нея, мнѣ показалось, выходилъ тотъ же пыльный, удушливый запахъ, которымъ была проникнута вся окружающая атмосфера.

Поздно вечеромъ, мы отправились кататься на катерѣ по морю. Но духота стояла въ воздухѣ или въ моей крови,—я не знаю.

Море разстилалось передо мною, какъ холодная, сырая пустыня. Отъ него вѣяло свѣжестью, но эта свѣжесть имѣла противный запахъ сырого бѣлья, морскихъ травъ.

Я долженъ сказать въ свое оправданіе, что въ то время только что начиналась реакція противъ долгаго романтическаго періода. Бюхнеръ, Фогтъ, Моллешотъ открывали двери реализму, и вѣра въ неземные обманчивые признаки счастія блекла и исчезала.

XI.

На другой день вѣтеръ перемѣнился. Жаръ исчезъ. Въ воздухѣ явилась влажная прохлада. Тучи, пролившіяся ночью, освѣжили зелень, смыли пыль. Все блестѣло росинками на солнцѣ. Птички такъ радостно чирикали и распѣвали, и ко мнѣ вернулся миръ и покой.

— Что-то есть,—сказалъ я,—во всемъ этомъ. Во всей этой торжествующей радости природы, въ ея цвѣтахъ, звукахъ, запахахъ, а что именно—я не брался рѣшать, не задумывался надъ этимъ. Мнѣ было хорошо... Что же еще?..

И Феля была черезъ-чуръ нѣжна и внимательна. Она

цѣлый день не отходила отъ меня. Не отводила отъ меня глазъ,.. а какіе прелестные были у нея глаза! Ясные, добрые, темноголубые, и взглядъ такой ласковый, нѣжный, открытый—чисто дѣтскій взглядъ.

Мы отправились съ ней ѣздить по Сициліи. Были въ Катаніи, въ Сиракузахъ; были въ Палермо; съѣздили на Этну и, нѣсколько утомленные этимъ путешествіемъ, вернулись домой и съ радостью встрѣтили свой домашній очагъ.

Дни становились длиннѣе и жарче. Мы жили въ сѣверной половинѣ дома и мечтали куда нибудь уѣхать, въ Парижъ или Лондонъ, но вдругъ, нежданно-негаданно, явился Валька въ восточномъ бурнусѣ и фескѣ. Мы ему обрадовались, какъ родному, хотя собственно радоваться было нечему.

— Откуда?! Какъ?!—разспрашивали мы его.

— Заѣхалъ на перепутьи, отдохнуть.

Въ одинъ изъ первыхъ же вечеровъ, бурныхъ и дождливыхъ, когда штурмъ разразился на морѣ и мы любовались на зигзаги молніи съ верхняго балкона, мы, незамѣтно, втянулись съ нимъ въ тотъ философскій вопросъ, который произвелъ такой ураганъ въ моемъ міросозерцаніи въ одинъ изъ жаркихъ весеннихъ дней. Онъ всталъ теперь снова въ моей головѣ во весь свой ростъ.

— Мы все воображаемъ, что есть что-то, какая-то подкладка,—говорилъ Валька,—а все это чистѣйшая ахинея, метафизика, наше измышленіе, и притомъ весьма нехитрое—такой же пробы, какъ взглядъ какого нибудь алеута.

— Есть одно, что останется неизмѣннымъ,—вмѣшалась Феля:—это—истина и любовь...

— Истина! Ха! ха! ха! Да позвольте васъ спросить: что такое истина?

— Это—непостижимое для человѣка. Это вопросъ, на который,—сказала она съ горячностью,—самъ Христосъ не могъ ничего отвѣтить...

— А я не Христосъ, и потому могу отвѣтить. Истина— это все то, что дѣйствительно существуетъ въ самомъ себѣ, а не по отношенію къ намъ. Вотъ и все! Какъ это дико! Чего не знаешь, такъ и нужно благоговѣть передъ этимъ... ха! ха! ха! Чепуха!.. А любовь?.. Вотъ вамъ любовь!—и онъ вытянулъ изъ букета, который стоялъ подлѣ него, розанъ и подалъ Фелѣ.—Ха! ха! ха!... Вотъ это эмблема чистѣйшей любви. Тутъ есть все: и тычинки, и пестики, и будущія сѣмена. И все это благоухаетъ, какъ истинная любовь. Ха! ха! ха!... Да что же ты не поддержишь меня, братецъ мой! Вѣдь ты силенъ въ этомъ фахѣ... Ха! ха! ха!

Но я его никакъ не могъ поддержать. Передо мной опять явился этотъ, отъ вѣка проклятый, «земляной» вопросъ и всего поглотилъ меня.

— Послушай!—сказалъ я.—Да развѣ въ каждомъ изъ насъ нѣтъ ничего, что бы говорило намъ о чемъ-то высшемъ, къ чему мы стремимся и чего мы не знаемъ?...

— Ха! ха! ха! Ахъ ты институтская наивность! Къ чему же это такому мы стремимся?

— Какъ къ чему?! Къ благу, къ гармоніи, красотѣ, къ идеалу...

— О! Эпикуръ! Мы всѣ, душенька, стремимся къ наслажденію и... только!... Благо! Красота!... Это все то, что мнѣ нравится, чѣмъ я могу наслаждаться. У киргиза одна красота, у тебя другая... Киргизъ стремится къ своей, ты къ своей красотѣ... И все мѣняется какъ мода, вмѣстѣ съ человѣчествомъ, которое растетъ и остается постоянно ребенкомъ, только не вѣчнымъ. Ха! ха! ха! Вѣчнаго и неизмѣннаго ничего нѣтъ. Ха! ха! ха!

Въ это время Феля, которая сидѣла подлѣ меня на табуретѣ и слушала его съ напряженнымъ вниманіемъ, вдругъ вскочила съ ужасомъ и обняла меня, какъ будто хотѣла защитить меня отъ него.

— Не вѣрь, Сержъ, не вѣрь ему!—вскричала она.—Есть истина, любовь!.. Есть Богъ, вѣчный, и всѣ мы стремимся къ нему...

Но Валька вскочилъ и захохоталъ.

— О, мой Фаустъ! Тебя спасаетъ Маргарита отъ Мефистофеля! Но, все-таки, я, я тебѣ доставилъ эту Маргариту... Ха! ха! ха! ха!

Я тихо, съ досадой, отстранился отъ нея. Мнѣ показалось профанаціей ея вмѣшательство въ такой вопросъ, который можетъ рѣшить только одинъ, казалось мнѣ, философскій умъ мужчины.

О, какъ я ошибался въ этомъ!

XII.

Всю эту ночь я почти не спалъ. Проклятый вопросъ глубоко впился въ мой мозгъ. Голова горѣла, дышать было тяжело.

Солнце было уже высоко, когда я проснулся. Феля спала, разметавшись, какъ ребенокъ, и тихо всхлипывала во снѣ.

Опять какой-то душный, пыльный запахъ наполнялъ атмосферу.

Я всталъ, одѣлся, распахнулъ окно и вышелъ въ садъ. На меня пахнуло знойнымъ, влажнымъ воздухомъ. По небу плыли какія-то безобразныя облака—пестрыя, бурыя, все было до того банально, противно. Отъ всей зелени шелъ надоѣдливый, раздражающій запахъ какихъ-то лекарственныхъ спецій, и этотъ запахъ смѣшивался съ прѣлымъ запахомъ земли.

Мнѣ казалась отвратительна эта грубая, темная зелень съ ея кожистыми, пахучими листьями, и эти мясистыя, ко-

лючія лепешки кактусовъ и грубые, также колючіе, листья агавъ.

Машинально я вышелъ вонъ изъ сада. Мнѣ были ненавистны эти прибранные и эстетически разсаженные кусты и деревья.

Мнѣ встрѣтился Джовани. Онъ, кажется, былъ немного пьянъ, несмотря на утро. По крайней мѣрѣ, отъ него несло виномъ, и его лицо было такъ-же красно, какъ его красный суконный жилетъ, съ большими бронзовыми пуговицами. Яркій, голубой, шелковый поясъ перепоясывалъ этотъ жилетъ.

— Eccellenza!—бормоталъ онъ, низко раскланиваясь:—я могу сказать, что я теперь доволенъ и счастливъ, по милости Eccellenza. Но мнѣ надо бы было еще...

— Пошелъ вонъ, дуракъ, пошелъ прочь! Via! via!—закричалъ я на него.

И онъ остался съ раскрытымъ ртомъ и непокрытой головой.

«И. онъ стремится къ наслажденію!»—подумалъ я со злобой. И все, что вырастаетъ изъ земли, все стремится къ яркимъ, эстетическимъ цвѣтамъ, къ пьяному воздуху и обманчивому свѣту.

Я остановился на перекресткѣ, гдѣ была простая, каменная цистерна, и присѣлъ подлѣ нея на камень.

Къ цистернѣ подошла меленькая дѣвочка, съ большимъ кувшиномъ на плечѣ. Она налила воды, я смотрѣлъ на нее съ омерзѣніемъ... «И эта тоже, и эта туда же!.. Къ наслажденію!» думалось невольно мнѣ.

Дѣвочка пошла прочь, оглядываясь на меня. Потомъ она вдругъ остановилась, вернулась и протянула мнѣ маленькій бѣлый цвѣтокъ.

— Синьоръ!—пролепетала она.—Тебѣ скучно? Возьми этотъ цвѣтокъ. Это цвѣтокъ св. Камиллы, и онъ даетъ счастье тому, кто его носитъ.

Я машинально взялъ цвѣтокъ и пристально посмотрѣлъ на дѣвочку. И она не спускала съ меня своихъ добрыхъ, веселыхъ, дѣтскихъ глазъ.

Я вынулъ и далъ ей какую-то монету. Она посмотрѣла на меня, на монету и сказала:

— Gracia!—улыбнулась и тихо ушла.

Мнѣ какъ будто стало легче. Ея глаза напоминали мнѣ добрые, кроткіе глаза моей Фели.

И вдругъ не то мысль, но то чувство зашевелилось во мнѣ. Что-то радостное заговорило внутри.

— Ба! —вскричалъ я,—вѣдь это любовь! Любовь, которая всему даетъ смыслъ и жизнь.

Сколько я зналъ женщинъ красивыхъ, но ни къ одной я не чувствовалъ того, что я чувствую при взглядѣ на мою Фелю.

Люби и будешь вѣрить въ то, что выше этого грубаго, «земляного» міра! И что мы зовемъ, не зная его, идеаломъ и... стремимся къ нему.

Сердце мое встрепенулось, отдохнуло. Оно забилось опять по прежнему легко, покойно, радостно. Я быстро пошелъ назадъ. И вдругъ почувствовалъ, что мнѣ нестерпимо жарко. Потъ выступилъ на головѣ, на всемъ тѣлѣ. Я снялъ пальто.

Я не замѣтилъ, какъ отошелъ довольно далеко отъ дома.

По дорогѣ попадались мнѣ крестьяне, попы, женщины и дѣти. Всѣ почтительно кланялись мнѣ, и я радостно и привѣтливо отдавалъ поклоны.

О, съ какою радостью, лаской, слезами, я обниму мою Фелю! Я теперь сталъ совсѣмъ, совсѣмъ другимъ человѣкомъ, и никакой Валька мнѣ не страшенъ.

Въ спальнѣ не было Фели. Въ будуарѣ тоже.

Передъ сиреневымъ салономъ стояли двѣ горничныя и мой камердинеръ. Двери въ него были заперты.

— Гдѣ барыня?—спросилъ я торопливо.—Что такое?..

Мнѣ сказали, что уже цѣлыхъ два часа, какъ она заперлась въ сиреневомъ салонѣ, что она много плакала и «теперь мы всѣ, — говорили горничныя, — не можемъ ее дозваться».

Я подошелъ къ двери, толкнулся.

—Феля!—закричалъ я.—Феля!

Нѣтъ отвѣта.

Я велѣлъ сломать замокъ. Чувство безпокойства, ужаса сжало мое сердце.

Мнѣ казалось, что цѣлые часы протекли, прежде чѣмъ дверь была сломана.

XIII.

Я вошелъ.

За мной вошли горничныя и остановились въ дверяхъ.

Она лежала на кушеткѣ и какъ будто спала. Розовый пеаплумъ свѣсился на коверъ.

Меня поразила необыкновенная блѣдность ея лица и какое-то страдальческое выраженіе.

Правую руку она плотно прижала къ груди, въ этой рукѣ былъ зажатъ маленькій образокъ, благословенье ея матери, который она постоянно носила на груди.

— Феля!—вскричалъ я, бросаясь къ ней.—Феля!

И голосъ у меня задрожалъ. Я оглянулся кругомъ, какъ бы ища помощи, и тутъ только мнѣ бросился въ глаза небольшой пузырекъ изъ дорожной аптечки Вальки.

Пузырекъ лежалъ на креслѣ. Въ немъ былъ морфій, который она давала третьяго дня одной женщинѣ, страдавшей мигренью. Пузырекъ былъ пустъ.

— Феля!—хотѣлъ я снова закричать, машинально, безсознательно. Но туманъ покрылъ мнѣ голову.

. . . . . .

Я очнулся внизу, на диванѣ, въ маленькомъ темномъ залѣ, въ которомъ я рѣдко бывалъ. Голова моя была обвязана полотенцемъ. Подлѣ меня сидѣлъ Валька и приготовлялъ компрессъ со льдомъ.

— Что? Прояснило?—спросилъ онъ полушопотомъ.

— Феля!—проговорилъ я также полушопотомъ.

— Ну, братъ, о ней послѣ поговоримъ. Послѣ...

Я вскочилъ съ дивана, но страшная головная боль и головокруженье опять затуманили сознаніе.

Мнѣ чудилось, какъ бы въ полуснѣ, что мы плывемъ съ ней по морю, что лодка или гондола (кажется, гондола) тихо укачиваетъ насъ. Мнѣ чудилось, что кругомъ меня хохочутъ какія-то страшныя чудовища, съ уродливыми нечеловѣческими лицами, и впереди ихъ Валька...

Но среди всей этой чепухи я помню ясно одно. Я помню тусклый туманный разсвѣтъ. Мнѣ казалось, что она зоветъ меня сверху, и я пошелъ наверхъ.

Голова нестерпимо болѣла и кружилась. Я поднимался по лѣстницѣ. На ступенькахъ сидѣла и плакала какая-то дѣвочка. Я скорѣе догадался, чемъ узналъ, въ ней Маріеллу.

Я вышелъ на террасу передъ перистилемъ.

У двери балкона стоялъ полицейскій и загородилъ мнѣ дорогу. Но я съ бѣшенствомъ схватилъ его за лацканъ мундира и отбросилъ.

Я отворилъ двери.

Въ залѣ (ея любимой залѣ!), казалось мнѣ, было много народа. Слышался громкій говоръ и хохотъ Вальки.

Прямо, напротивъ двери, трещалъ большой огонь въ каминѣ.

Посреди, на мраморномъ, мозаичномъ столѣ лежала она

или ея трупъ, около котораго хлопотало нѣсколько человѣкъ.

Я помню—первое, что́ меня поразило,—это мраморная бѣлизна ея тѣла. Это, казалось мнѣ, лежала какая-то чудная статуя, «лѣсная нимфа», и какой-то старушечій голосъ громко проговорилъ надъ моимъ ухомъ:

— Come bella! Angiolino di Dio!..

Тонкая струйка крови сбѣгала со стола и, тихо журча, падала въ какую-то лохань.

Помню, что всѣ уставились на меня, и Валька, въ кожаномъ фартукѣ, прямо и торопливо двинулся ко мнѣ. Въ одной рукѣ у него былъ небольшой ножъ, а въ другой банка. Въ этой банкѣ, казалось мнѣ, лежало какое-то крохотное существо, въ родѣ маленькаго, бѣленькаго, окровавленнаго котеночка...

Больше я ничего не помню. Все какъ-то странно смѣшалось, спуталось въ моей головѣ, и снова безсознательный туманъ закрылъ мой мозгъ.

. . . . . .

Я очнулся и пришелъ въ себя черезъ двѣ недѣли, въ Римѣ, куда перевезъ меня, больного, Валька. Опасность миновала. Нервную горячку я выдержалъ.

Воспоминаніе о Фелѣ отодвинулось въ туманъ прожитого. Захотѣлось жить — и эта страшная, подлая жажда жизни все превозмогла и до сихъ поръ владѣетъ мною.

«Земляной вопросъ» уже не мучитъ меня больше. Я давно махнулъ на него рукой, какъ на бредни юности.

Но иногда, въ минуту хандры, болѣзни или просто раздумья, невольно является другой мучительный вопросъ:

Зачѣмъ всѣ эти порыванья, исканія лучшаго, неземного?

Неужели это «тетка меня испортила съ дѣтства», какъ объяснялъ Валька?

И неужели незаконны всѣ эти стремленія, неопредѣлен-

ныя, неясныя, жажда чего-то невѣдомаго, но влекущаго, желаннаго?

Что это такое?...

Къ чему же нравственность, совѣсть, общественность, альтрюизмъ, когда у каждаго долженъ быть одинъ культъ: могучее стремленіе къ наслажденію?..

Ахъ, сколько необъяснимыхъ противорѣчій заключено въ темномъ человѣческомъ сердцѣ!..

. . . . . .

XIV.

Почти черезъ тридцать лѣтъ мы снова встрѣтились съ Валькой.

Я сдѣлался «особой», занималъ постъ, былъ между свѣтилами службы и двора.

Случайно одно дипломатическое порученіе забросило меня въ Константинополь. Тамъ, въ одномъ изъ пашей (я не назову его имени), я, нежданно-негаданно, узналъ Вальку.

Я вспомнилъ при этомъ его восточный костюмъ, когда онъ былъ у насъ въ Джардини, и его странствованіе на востокъ.

Онъ сильно потолстѣлъ, или, правильнѣе, расплылся, ожирѣлъ, и сѣдина опушила его окладистую бороду.

Онъ пригласилъ меня къ себѣ.

— Въ мой дворецъ!—шепнулъ онъ мнѣ на ухо.

И я дѣйствительно посѣтилъ его во дворцѣ.

Снаружи онъ ничѣмъ не выдавался; но сколько роскоши и чисто восточной красоты было внутри! Его небольшія окна—балконы выходили на Золотой Рогъ, и видъ съ нихъ, въ особенности на закатѣ солнца, былъ восхитителенъ.

— Пойдемъ, я тебѣ покажу лучшее украшеніе моего дворца.

И онъ повелъ меня въ заднюю его половину. Тамъ было зало, копія въ миніатюрѣ съ одного изъ залъ въ Альгамбрѣ. Онъ весь былъ убранъ золотыми арабесками и надписями изъ Корана. Мягкіе, низкіе и широкіе диваны, обитые дорогой дамасской матеріей, покрытые бархатными коврами, стояли вдоль стѣнъ, между позолоченными колонками.

Мы усѣлись на одномъ изъ этихъ диванов. Хорошенькій, пухленькій мальчикъ подалъ намъ кофе, шербетъ, варенье и кальяны.

Валька взялъ его за подбородокъ и, повернувъ ко мнѣ его плутовское лицо съ черными масляными глазками, подмигнулъ мнѣ и прищелкнулъ:

— Хорошъ мальчуганчикъ!?

Онъ сказалъ ему что-то по-турецки, и мальчуганчикъ опрометью бросился вонъ, оставивъ на коврѣ подносъ съ угощеньемъ.

Черезъ полчаса, въ заднихъ дверяхъ распахнулась занавѣска. Впереди шелъ низенькій, толстый, черный рабъ, съ обрюзглымъ лицомъ и отвислыми губами, почтительно скрестивъ руки на груди. За нимъ потянулась цѣлая вереница женщинъ, по двѣ въ рядъ.

Глядя на нихъ, можно, кажется, было повѣрить въ рай Магомета и его гурій.

Всѣ онѣ были красавицы, каждая въ своемъ родѣ, но ихъ еще болѣе красилъ роскошный, живописный восточный костюмъ, эта смѣсь шелка, золота и легкихъ газовыхъ матерій, сквозь которыя весьма откровенно сквозили ихъ бюсты.

Онѣ внесли съ собой запахъ какихъ-то восточныхъ духовъ, сильныхъ, сладкихъ, раздражающихъ, смѣшанныхъ съ запахомъ розъ или розоваго масла.

Онѣ всѣ поклонились намъ и разсѣлись по диванамъ. Валька хлопнулъ въ ладоши, и гдѣ-то сверху раздалась тихая музыка, и вслѣдъ за нею сильный женскій сопрано запѣлъ какую-то восточную пѣсню. И всѣ хоромъ подхватывали ея припѣвъ.

Этотъ голосъ, свѣжій, металлическій, ласкалъ и уносилъ куда-то вдаль. Въ немъ слышалась тоска любви и ея сладкія мученія.

Валька подмигивалъ и улыбался.

— Вотъ—сказалъ онъ мнѣ шопотомъ, обводя кругомъ рукой:—выбирай любую.

И онъ началъ съ полнѣйшимъ цинизмомъ указывать на привлекательныя достоинства каждой изъ нихъ, на ихъ «нравственную физіогномію», какъ онъ выражался. При этомъ анализѣ его глаза щурились, какъ у кота, толстыя губы какъ бы распухли, оттопырились. Онъ облизывался и тихо хихикалъ.

— А помнишь?—вдругъ прибавилъ онъ,—эту... одесскую твою-то, которая, такъ вдругъ «внезапу» отравила себя... этакій глупышъ!..

— Валька!—спросилъ я, невольно любуясь всѣми его гуріями.—Неужели никогда не смущала тебя мысль о родинѣ, о твоемъ народѣ?..

— Ха, ха, ха!.. Ахъ, ты сѣдой шутъ! Да ты и до сихъ поръ остался злѣйшимъ романтикомъ.

— Неужели,—продолжалъ я допрашивать его,—тебя не смущаютъ всѣ здѣшніе порядки?

— Ха, ха, ха! Да развѣ у насъ лучше?! Вотъ нашелъ сокровище!

— И запереть душу и сердце,—продолжалъ я удивляться, —запереть для всего возвышеннаго, для искусства, для науки...

Но тутъ онъ опять разразился своимъ порывистымъ смѣхомъ и схватилъ меня за руку.

— Слушай! Ха, ха, ха! Слушай!... Неисправимый идеалистъ... Да развѣ это не эстетика?..—И онъ подманилъ одну изъ гурій къ себѣ. Это была красавица, въ полномъ смыслѣ. Она покраснѣла и замигала глазами, съ длинными черными рѣсницами. Онъ провелъ пальцемъ зигзагомъ по всей ея фигурѣ.—Развѣ все это не эстетика? Высшая эстетика! Ха, ха, ха!.. А о наукѣ я тебѣ вотъ что скажу.—И онъ наклонился ко мнѣ.—Это хорошее, доброе ремесло... Прежде всего... а тамъ... Ха, ха, ха!.. Тамъ есть и такіе господа, которые копаются во всякой дряни, ради собственнаго наслажденія... Ха, ха, ха!.. А я, братъ, доволенъ и тѣмъ наслажденіемъ, какимъ надѣлилъ меня Аллахъ. Ха, ха, ха... Очень доволенъ. Ха, ха, ха, ха!..

И я помню, какъ при этомъ хохотѣ меня укололъ тотъ дуализмъ, съ которымъ мы такъ удобно миримся...

«Въ душѣ, думалъ я, мы всѣ Вальки, мы всѣ стремимся къ одному наслажденію и всѣ носимъ маску для самихъ себя. Но кто же захочетъ въ этомъ признаться даже самому себѣ, и при одномъ этомъ упрекѣ не вскипитъ самымъ благороднѣйшимъ негодованіемъ?..»

КЪ СВѢТУ.

(Изъ семейной хроники 60-хъ годовъ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ, добрая барыня, вдова, Марья Петровна Каргабаева, нервная, хилая, больная, пріютилась, наконецъ, послѣ тревожной замужней жизни, въ своей родовой единственной деревушкѣ Мальтюковкѣ. Молодость Марьи Петровны вся точно на огнѣ сгорѣла и замужество ея началось и кончилось скандаломъ. Не было ей и семнадцати лѣтъ, какъ въ сосѣдствѣ съ Мельтюковкой поселился отставной гусаръ Левъ Никитичъ Карбагаевъ, человѣкъ уже немолодой, но весьма моложавый, красавецъ, крѣпкій и здоровый, какъ кандовый лѣсъ.

Прослуживъ или, правильнѣе говоря, прокутивъ лѣтъ двадцать-пять въ А... гусарскомъ полку, онъ былъ, наконецъ, выгнанъ изъ службы по поводу нападенія въ мирное время съ своимъ эскадрономъ на одну деревню, которую онъ очень храбро взялъ приступомъ и при этомъ даже девять дѣвокъ въ полонъ увелъ.

Въѣздъ въ столицы ему былъ запрещенъ и дѣвать ему себя, кромѣ своихъ помѣстій, было некуда. Благо этихъ помѣстій, хотя уже порядочно разоренныхъ, было не мало: Шелепиха, Курчакова, Ямки, Вилявино (Успенское тожъ).

Принадлежалъ Карбагаевъ къ числу тѣхъ безпросыпныхъ широкихъ гулякъ и кутилъ, которые, кажется, могутъ быть только у насъ на Руси и современемъ можетъ быть во что-нибудь выродятся и хорошее, но, навѣрно, никогда не переведутся. Закурить, загулять, завить небывалое горе веревочкой — такъ и подмывало Карбагаева. Въ его бѣшеной, безалаберной натурѣ было много простого, дѣтски-добраго, и жилъ, и кутилъ онъ весело, да только отъ этого безобразничанья часто сосѣдямъ приходилось не весело. По возвращеніи во свояси, первымъ дѣломъ и долгомъ счелъ Карбагаевъ завести на своемъ дворѣ роту усачей-лихачей. Быстро набралъ онъ шайку сорви-головъ. Не надо было за ними въ лѣсъ ходить, — подъ бокомъ нашлись. Собрался народъ забубенный, съ огнемъ и полымемъ,—подъ нимъ и въ морозъ земля горитъ,—и творилъ Карбагаевъ съ этими потѣшными всякія проказы. Выйдетъ онъ, бывало, на крыльцо зимой, статный, выхоленный, раздобрѣлый. Черныя кудри разметались по прямымъ, поднятымъ кверху, плечамъ, черные большіе усы кольцами вьются, черные глаза изъ-подъ бровей дугой и горятъ, и жгутъ. Соболья шапка на бекрень сѣдиной блеститъ, соболья шубка на распашку чуть съ плечъ не валится, а на дворѣ отъ морозу лѣсъ колется. Но и на этомъ морозѣ, видно, душно широкой, взбалмошной натурѣ. Тяжело дышетъ Левъ Никитичъ. Точно въ кровномъ, огневомъ аргамакѣ, все въ немъ дрожитъ и трепещетъ и въ каждой жилкѣ кровь, какъ горячій свинецъ, переливается. Постоитъ онъ минутъ съ пять, посмотритъ направо, посмотритъ налѣво и вдругъ гикнетъ и закричитъ зычнымъ, звонкимъ голосомъ:

— Эй, вы, усачи-лихачи, ухари-жигари, ясные соколы, скучно, душно мнѣ, душѣ покататься хочется!

И откуда ни возьмутся ухари-жигари, въ мигъ все спроворятъ, обладятъ, и, вотъ, летятъ подкатываютъ подъ крыльцо широкія сани-пошевни. Кучеръ Михрюкъ, косой, изъ крещеныхъ татаръ, на козлахъ звѣремъ сидитъ, и хоть чуетъ въ плечахъ могучую силу, но держитъ изъ всѣхъ силъ бѣшенную, дикую тройку вороныхъ въ гремучей наборной сбруѣ. А кони—тонконогіе, гривы до земли, глаза огнемъ пышутъ, бѣлая пѣна съ бѣлымъ паромъ съ удилъ на снѣгъ валитъ. Пристяжныя навалились на оглобли, жмутся и прыгаютъ; горбоносый коренникъ уши насторожилъ, уперся, фыркаетъ, озирается.

— О-го-го, голубчики!—радуется, самъ не свой, Левъ Никитичъ и дрожитъ онъ, и языкомъ прищелкиваетъ, и медленно сходитъ съ крыльца, садится въ сани. Подлѣ него рядомъ садится, съ длиннымъ арапникомъ и фляжкой на ремнѣ, Сенька Ярыганъ, «продувная душа, цыганская кровь». Тихо выѣзжаютъ сани съ двора, а за ними уже тянется цѣлый поѣздъ въ пятеро, шестеро саней, и сидятъ все въ нихъ усачи-лихачи. Кони фыркаютъ, колокольцы глухо позвякиваютъ. И только что выѣдетъ поѣздъ изъ деревни въ поле, какъ съ бубнами, съ гикомъ зальется громкая, разъудалая пѣсня:

Я во поле, я во поле млада выходила,
Я въ широкомъ мою долю, мою злую выносила.
Ты раздайся чисто поле, зеленое,
Разгуляйся моя душенька душа!
Гей, жги-говори! Гей, жги-говори!..

И бубны гремятъ, струны звенятъ—надрываются, у Льва Никитича сердце въ груди накипаетъ—растетъ. И вдругъ вскинется онъ, вскочитъ съ неистовымъ гикомъ, махнувъ

обѣими руками, и всѣ тройки, какъ съ цѣпи сорвавшись, закусивъ удила, несутся, летятъ; цѣлая мятель надъ ними, снѣгъ брыжжетъ во всѣ стороны, паръ клубами разносится... Мостъ — не мостъ, оврагъ не оврагъ,— гуляй душа, пропадай голова!

Промчатся верстъ пять-шесть, сердце отляжетъ, поѣдутъ шагомъ и въѣдутъ въ какую-нибудь деревню, а въ деревнѣ всѣ уже давно попрятались,—всѣ, и старые, и малые, заслышали, что «карбагаевскіе лихачи» загуляли. Старыя старухи запрятали малыхъ ребятъ. Никто на встрѣчу не попадайся! Выскочитъ собака—убьютъ, дѣвчонка—напугаютъ до смерти; дѣвушка попадется—въ снѣгъ посадятъ или увезутъ, если смазливая. Нагулявшись до-сыта, натѣшивши сердце буйное, возвращается Карбагаевъ съ разбойничьяго набѣга въ свою резиденцію Вилявино—Успенское тожъ, и везетъ его полупьянаго, соннаго, бережно поддерживая, Сенька Ярыганъ, «продувная душа».

А на другой день идутъ къ Карбагаеву и старый, и малый съ жалобой на него самого—за разломанное прясло, разметанный домишко, выжженный лѣсъ, затравленную свинью, искалеченнаго мальчишку. И Карбагаевъ всѣхъ щедро одѣлитъ и каждому какую-нибудь прибаутку отпуститъ, а иной разъ и арапникомъ отпотчуетъ.

Не мало жалобъ подавали на него и губернатору. И былъ наряженъ судъ даже два раза. Въ первый разъ Карбагаевъ отсыпалъ суду, и притомъ въ такомъ количествѣ, что все дѣло какъ въ воду кануло. Нагрянулъ судъ и во второй разъ, да видно не въ добрый часъ. Карбагаевъ всѣхъ гостей принялъ ласково и началъ ихъ поить, угощать. Угостились гости досыта, а Левъ Никитичъ все ихъ отъ чистаго сердца потчуетъ. Только съ пьяна кто-то изъ приказныхъ выругалъ его, и вскипѣлъ онъ, кровь къ горлу подступила, задавила грудь...

— Лей въ нихъ, молодцы!—закричалъ онъ,—лей ворон-

кой, не жалѣй, души крапивное сѣмя, кровопійцъ, душегубителей!...

И молодцы сдѣлали дѣло...

На другой день какой-то полупьяный стрекулистъ, котораго залучилъ Карбагаевъ (самъ онъ едва умѣлъ подписать свое имя), настрочилъ ему жалобу къ губернатору о томъ, что «наѣхалъ-де судъ отъ нижеписаннаго числа и съ насиліемъ разбилъ-де мой погребъ, выпилъ изъ него два ящика цимлянскаго, да бочку вишневки, да три ведра полугару и опился-де до смерти, а посему и проситъ онъ, отставной поручикъ Левъ Карбагаевъ, нарядить слѣдствіе о таковомъ безчинствѣ суда и за понесенныя протори ему, Карбагаеву, взыскавъ съ кого слѣдуетъ, уплатить».

Губернаторъ, получивъ донесеніе, задумался, да и было надъ чѣмъ. Подъ него подкапывались: доносъ за доносомъ летѣлъ въ Петербургъ, а тутъ вдругъ судъ обвиняютъ въ грабежѣ со взломомъ и весь судъ опился. Нарядилъ онъ строжайшее слѣдствіе. Пошли допросы, разспросы. Карбагаевъ перезаложилъ одну изъ своихъ деревень. Всѣ усачилихачи въ одинъ голосъ показывали и разсказывали обстоятельно, какъ дѣло было: какъ судъ потребовалъ ключи отъ погреба, которыхъ ему не дали, какъ судъ разбилъ ломомъ двери погреба (и двери были дѣйствительно разбиты), какъ судъ цѣлую ночь пьянствовалъ и, наконецъ, всѣ перепились мертвецки, а на утро найдены усопшими. Слѣдователи осмотрѣли мертвецовъ, никакихъ наружныхъ знаковъ насилія не оказалось; вскрыли и нашли, что дѣйствительно смерть произошла отъ опитія.

А губернаторъ прислалъ. частнымъ образомъ, къ Карбагаеву чиновника съ совѣтомъ прекратить дѣло и съ покорнѣйшею, личною его просьбой—быть потише.

И Карбагаевъ какъ будто дѣйствительно сталъ потише на цѣлыхъ три недѣли, а тамъ опять прорвался, закурилъ,

загулялъ и учинилъ небывалое, неслыханное и невиданное мамаево побоище... Сосѣди и ближніе, и дальніе ахнули, пошли толки, что нѣтъ ни суда, ни расправы, что завелся разбойничій атаманъ, звѣрь въ человѣчьемъ образѣ. Но всѣ эти толки шли шопотомъ, за угломъ, съ глазу на глазъ, съ другомъ-пріятелемъ, а среди бѣла-дня, на улицѣ или на дорогѣ, встрѣтясь съ Карбагаевымъ, тѣ же самые сосѣди спѣшили передъ нимъ шляпу снять и любезно раскланивались, думая: «неровенъ часъ,—чего возмешь съ этого бѣшенаго?!»

И вотъ этотъ «бѣшеный», «звѣрь въ человѣчьемъ образѣ» «разбойничій атаманъ», въ одно воскресное утро подкатилъ на парѣ вороныхъ рысаковъ, въ щегольскихъ саняхъ, съ лакеемъ-усачомъ на запяткахъ, къ низенькому господскому домику Мельтюковки.

Въ домикѣ все всполохнулось. «Карбагаевъ пріѣхалъ!»— раздалось въ немъ, какъ громовой ударъ. Всѣ дѣвки съ визгомъ попрятались. Кто-то заохалъ, кто-то застоналъ. Не потерялась одна госпожа и владѣтельница домика, мать Марьи Петровны, Катерина Степановна Мельтюкова. Вышла она къ незванному дорогому гостю и приняла его, по-своему.

II.

Катерина Степановна прожила съ своимъ супругомъ, Петромъ Лаврентьичемъ, въ ладу и согласіи почти до самой ихъ серебряной свадьбы. Въ цѣломъ свѣтѣ едва ли еще найдется пара людей, которыхъ бы судьба свела такъ удачно на помощь другъ другу.

Въ холостой своей жизни Петръ Лаврентьичъ былъ истиннымъ мученикомъ. Отецъ его, человѣкъ строгій, жила

и кляузникъ, называлъ его, своего единственнаго сына, «божьимъ посѣщеніемъ» или «Петькой юродивымъ». На шестнадцатомъ году онъ отдалъ этого юродиваго въ *** драгунскій полкъ, надѣясь, что онъ въ полку развернется, и мечталъ современемъ перевести его даже въ гвардію. Но въ полку Петръ Лаврентьичъ не развернулся и служба для него была гораздо хуже всякой каторги. Онъ боялся всѣхъ, начиная отъ полкового командира, до собственной шпаги, которую всякій разъ вынималъ дрожащими руками изъ ноженъ, зажмуря глаза и читая молитву. Его вялость, неуклюжесть и простота сдѣлали изъ него нѣчто въ родѣ полкового шута. Надъ нимъ потѣшались командиры и товарищи, солдаты и деньщики, даже смѣялись, по увѣренію остряковъ, собственныя лошади. Нерѣдко приводилось слышать Петру Лаврентьичу своими ушами, какъ его же товарищъ, при немъ, разсвирѣпѣвъ на деньщика, кричалъ на него безъ церемоніи:

— Дура ты неписанная! «Мельтюковщина» ты неотесанная! Растакъ тебя этакъ!..

Когда по смерти отца вернулся Петръ Лаврентьичъ въ Мельтюковку, то не прошло и мѣсяца, какъ былъ уже онъ въ полной опекѣ у своего бурмистра, Антипыча, и у разныхъ налетѣвшихъ со всѣхъ сторонъ друзей-недруговъ. Всѣ пили, гуляли на его гроши, а самого его въ грошъ не ставили. Кончилъ бы онъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, нищенскою сумой и кабачкомъ, да нашлись благодѣтели, которые, отъ нечего дѣлать, женили его на Катеринѣ Степановнѣ.

У Катерины Степановны были четыре сестры—старыя дѣвы, три брата и двѣ невѣстки. Сестры ее терпѣть не могли, невѣстки ѣли-поѣдомъ, а братья заступались и за женъ, и за сестеръ. И, ко всему этому, старики, мать съ отцомъ, ворчали на всѣхъ цѣлый день-деньской. Правду сказать, и Катерина Степановна была не изъ кроткихъ. Не-

красивая собой, смуглая, чернобровая, статная, она была, что называется, сама себѣ король и никому спуску не давала. И вотъ какъ только заслышала она о сватовствѣ, тотчасъ же сообразила и почуяла, что здѣсь своей волей пахнетъ. И, несмотря на наговоры разныхъ досужихъ кумушекъ, что женихъ-де и мотъ, и пьяница, несмотря на то, что женихъ ей показался невзрачнымъ и смѣшливымъ, она вышла за него съ твердой увѣренностью не попасть изъ огня да въ полымя.

Вѣнчали ее въ довольно богатыхъ фамильныхъ брилліантахъ, которые ей дали только подъ вѣнецъ. Торжественность ли обряда настроила ее, или уже само сердце у ней переполнилось всѣмъ, что она вытерпѣла во всю жизнь, только, когда взглянула она сбоку на мизерную, неуклюжую фигурку Петра Лаврентьича, на его маленькія, худыя руки, утонувшія въ манжетахъ и трепетавшія вмѣстѣ съ большой восковой свѣчой, на его доброе, блѣдное, испуганное лицо со слезинками въ голубыхъ глазахъ и съ полуоткрытымъ ртомъ, то вдругъ въ ея сердцѣ какъ будто что-то перевернулось. Ей стало жаль этого безпомощнаго, кроткаго полуребенка, который ужъ никакъ не могъ быть ей «главой». И, перекрестясь большимъ крестомъ, она тутъ же внутренно дала обѣтъ быть ему опорой, вѣрнымъ, надежнымъ другомъ его на всю жизнь, и сдержала слово.

Петръ Лаврентьичъ и вздохнулъ свободно отъ всѣхъ невзгодъ, и зажилъ спокойно подъ зоркой опекой и попечительнымъ уходомъ Катерины Степановны, а она все взяла въ свои руки и во всемъ водворила порядокъ. Антипыча скрутила и ссадила на простую тягловую запашку, несмотря на то, что онъ давалъ за себя пять сотъ ассигнаціей выкупу. Новый бурмистръ глядѣлъ во всѣ глаза Катеринѣ Степановнѣ и робѣлъ передъ ней даже за чужую вину, Въ десять лѣтъ она не только выкупила имѣнье изъ казен-

наго долгу, но даже отложила довольно порядочную сумму въ ломбардъ, и слава ея, какъ женщины дѣловой, разнеслась по всему околодку. Издалека, даже люди пожилые, опытные и бывалые, пріѣзжали подъ-часъ въ Катеринѣ Степановнѣ посовѣтоваться, уму-разуму поучиться.

А Петръ Лаврентьичъ въ буквальномъ смыслѣ слова жилъ растительною жизнью. Зимой любимымъ его занятіемъ было разматыванье талекъ или вязанье погалешничковъ. Но самымъ капитальнымъ, основымъ дѣломъ было спанье на лежанкѣ въ тепломъ тулупчикѣ. Весной онъ какъ будто пробуждался отъ зимней спячки и вмѣстѣ съ первой весенней травкой дѣлался бодрымъ и принимался за дѣятельность. Цѣлые дни онъ копался въ саду, въ грядахъ и парникахъ, садилъ деревца, кустики, разсаду и сѣялъ съ молитвою всякую овощь. Лѣтомъ собиралъ грибы, осенью чистилъ и сушилъ ягоды, для чего сѣнная дѣвушка, по приказанію Катерины Степановны, относила ему первую, полно отсыпанную, тарелку. Но вмѣстѣ съ первыми изморозями Петръ Лаврентьичъ начиналъ хмуриться, потягиваться, охать, залѣзалъ въ тулупчикъ и валенки, закупоривался въ комнатахъ и устраивался въ своемъ гнѣздѣ, на теплой лежаночкѣ.

Изъ всѣхъ дѣтей Петра Лаврентьича и Катерины Степановны выжила одна только четвертая дочка, Марья Петровна.

Вырастила ее Катерина Степановна у себя подъ крылышкомъ, выучила читать и писать съ грѣхомъ пополамъ, выучила считать на счетахъ и даже пуды въ фунты превращать, выучила и Закону Божію, а остальное тамъ, вѣдь, все ученость!

Въ пятнадцать лѣтъ Марья Петровна была уже стройной дѣвушкой, съ русою косой до пояса, съ свѣтлыми, большими, такими же добрыми глазами, какъ у Петра Лаврентьича.

Только-что ей минуло шестнадцать лѣтъ, какъ стукнуло ея первое горе. Петръ Лаврентьичъ въ послѣднее время жизни плохо видѣлъ, почти оглохъ и даже совсѣмъ потерялъ способность слова подбирать. Напримѣръ, ему захочется ухи, и начинаетъ онъ перебирать: «перцу-то, луку-то, толокна-то, огурчиковъ-то...», пока, наконецъ, съ помощью Катерины Степановны и Марьи Петровны не доберется до желаемаго. Послѣдніе дни жизни онъ больше спалъ и, наконецъ, свернувшись клубочкомъ, какъ сурокъ на зимнюю спячку, заснулъ сномъ праведнымъ.

Мѣсяцевъ черезъ восемь послѣ его смерти, Марья Петровна, въ глубокомъ траурѣ, въ которомъ она казалась еще милѣе и желаннѣе, была вмѣстѣ съ матерью у обѣдни, и тутъ въ первый разъ увидалъ ее Карбагаевъ.

Передъ этимъ всю недѣлю онъ прокутилъ темную, и въ чаду, съ уставшими нервами, точно по ошибкѣ зашелъ въ церковь. Что-то человѣчное, мирное шевельнулось въ его сердцѣ, при тихомъ пѣніи клира, при сосредоточенно молящихся лицахъ, простыхъ и угрюмыхъ. Когда растворились царскія двери и дряхлый, сѣдой старичекъ-священникъ вынесъ дрожащими руками чашу и началъ причащать другого, также дряхлаго, оборваннаго старичка въ желтомъ нанковомъ кафтанѣ, когда этотъ старичокъ разбитымъ голосомъ, вслухъ, всхлипывая, произнесъ: «не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, не лобзанія Ти дамъ яко Іуда, но яко разбойникъ исповѣдую Тя: помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ»,—у Льва Никитича вдругъ слезы сдавили горло и онъ, поклонившись въ землю, съ трепетомъ повторилъ: «помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ!...» А когда потомъ, онъ тихо приложился ко кресту и обернулся, передъ нимъ стояла Марья Петровна и своими ясными, безконечно добрыми, ангельскими, какъ показалось Льву Никитичу, глазами смо-

трѣла прямо въ его глаза. Карбагаевъ смутился, потупилъ свои соколиныя очи, а Марья Петровна опустила головку и прошла мимо него тихой, плавной поступью. Самъ не свой вернулся къ себѣ Левъ Никитичъ. Видалъ онъ на своемъ вѣку не мало красавицъ, бывалъ не разъ влюбленъ, но такой оказіи не бывало съ нимъ. Не понималъ онъ, что подвернулся онъ, съ раскрытымъ сердцемъ, прямо подъ прямой, ясный взглядъ доброй дѣвушки. И на яву, и во снѣ сталъ мерещиться ему этотъ ясный и ласковый взглядъ.

«Все вздоръ,—думалъ Карбагаевъ,—бабья чепуха!.. Неужели же жениться мнѣ, свою молодецкую волю связать?.. Не бывать этому: развернусь, зальюсь и—все мое лихо къ лихому бѣсу пойдетъ!»

И сзывалъ Левъ Никитичъ своихъ усачей-лихачей, сосѣдей-пріятелей, и всѣми силами старался развернуться. Но не развертывалась душа, сердце было веревочкой завязано и глядѣли въ это сердце все одни и тѣ же кроткія, милыя очи. Карбагаевъ похудѣлъ, брови у него сдвинулись, сонъ съ глазъ пропалъ, по цѣлымъ часамъ катался онъ по полу и ревѣмъ благимъ матомъ. Пробовалъ онъ и къ знахаркѣ обращаться, чтобъ отворожила она его отъ лихого глаза. И знахарка отводила сухоту отъ сердца молодецкаго. Она шептала, наговаривала на трехъ луковкахъ, одну въ землю зарыла, другую сожгла и прахъ на четыре стороны развѣяла, а третью испекла и дала, съ молитвой, съѣсть Льву Никитичу. Но и луковки не помогли. Махнулъ, нако нецъ, рукой Левъ Никитичъ и въ одно воскресное утро надѣлъ синій фракъ съ бронзовыми пуговицами, пригладилъ кудри молодецкія и отправился въ Мельтюковку «товаръ покупать, свою молодецкую волю на красную дѣвицу мѣнять».

III.

Накинула на плечи черную шаль Катерина Степановна, на головѣ чепецъ съ фалборами, подъ двойнымъ подбородкомъ, черными ленточками завязала и вышла къ своему гостю. А гость точно въ ловушку попался. Душно и тѣсно стало его молодецкому простору въ маленькихъ комнаткахъ. Передъ строгою вдовой всталъ онъ самъ не свой, точно школьникъ провинившійся. Усѣвшись въ креслѣ, пыхтя и заикаясь, кое-какъ объяснилъ онъ, зачѣмъ пріѣхалъ: «Очень ужъ полюбилась мнѣ Марья Петровна, — прибавилъ онъ сквозь слезы, ударивъ себя въ грудь, — просто не могу я безъ нея жить, какъ безъ свѣту бѣлаго!»

Катерина Степановна, хоть и смутилась и тяжело дышала, слушая безсвязную рѣчь страннаго жениха, но до конца стерпѣла, выслушала его. Потомъ платье на себѣ обдернула и руками развела.

— Странно это мнѣ,—начала она,—что ваша милость изволили за такимъ дѣломъ ко мнѣ приспѣть. Напрасно только, полагаю я, трудить себя заставили, и отвѣтъ мой вамъ коротокъ будетъ. Вы, чай, государь мой, думали, что я на ваши три тысячи душъ покорыстуюсь и продамъ мое дѣтище, дочку мою единородную, отдамъ ее, какъ овцу неповинную, этакому медвѣдю на съѣденіе?.. Не дурой я родилась, сударь мой, вотъ что́ тебѣ скажу! Ты, можетъ быть, съ похмѣльныхъ-то глазъ и два хорошенько не перекрестилъ, да на такое святое дѣло, какъ бракъ Божій, лѣзешь съ неумытыми руками. А ты прежде съ себя дурную славу сними, что ты по всему околодку о себѣ распустилъ, какъ разбойникъ, да потомъ ужъ, благословясь, и начинай дѣло... Да видно, вашу милость, какъ горбатаго,

могилка исправитъ... Вотъ вамъ, сударь, и весь отвѣтъ и говорить больше другъ съ другомъ намъ не объ чемъ, прошу не прогнѣваться и ко мнѣ безъ зову не жаловать. А моей Машѣ за тобою не бывать, не бывать и не бывать! — И она три раза кулакомъ по столу стукнула и, не поклонясь ему, вышла, чтобъ еще чего не сказать лишняго, да, уходя, дверью хлопнула.

Всталъ и пошелъ Карбагаевъ, не солоно-хлѣбавши, темной тучи темнѣй. И досада, и злоба, и какое-то неопредѣленное, связывающее чувство неодолимой любви къ дѣвушкѣ, которая была тутъ же въ одномъ съ нимъ домѣ, давили его. Вышелъ онъ въ переднюю, шубу у лакея рванулъ, чуть рукавъ не вырвалъ. Вышелъ онъ на крыльцо, постоялъ, обернулся къ дому и погрозилъ кулакомъ:—погоди же ты,—сказалъ онъ,—черная ворона, доспѣю же я дочку твою, мою милую суженую.

Неизвѣстно, слышала ли эту угрозу Катерина Степановна или сама догадалась, но съ того же вечера стала беречь Марью Петровну, какъ птенца отъ лихого ястреба. Завелся въ Мельтюковкѣ караулъ необыкновенный. По ночамъ двое дозорныхъ ходили подъ окнами, двое обходили деревню, двое объѣзжали на коняхъ околицу и всѣ стучали и колотили кто во что гораздъ. Завели большущихъ собакъ, завели даже два ружья. И все-таки, несмотря на этотъ караулъ, доспѣлъ-таки Карбагаевъ Марью Петровну. Онъ увезъ ее на масляницѣ, и не ночью, а среди бѣлаго дня, подъ вечеръ, когда она, вмѣстѣ съ сѣнными дѣвушками, послѣ долгаго затворничества, вышла въ садъ съ ледяной горы покататься, и только что выкатилась она на рѣзвыхъ санкахъ на широкій прудъ, какъ вдругъ, точно сѣрые волки изъ прибрежныхъ кустовъ, выскочили четыре усача, схватили ее въ охапку и бѣгомъ уволокли куда слѣдуетъ...

За лѣскомъ ждалъ ее самъ Левъ Никитичъ на тройкѣ

бѣшеныхъ вороныхъ. Когда мчалъ онъ, окутавъ ее въ медвѣжью шубу, онъ былъ похожъ на мальчишку, который поймалъ какого-то рѣдкаго звѣря, котораго и боится, и радуется ему, и не налюбуется на него. А она и молила его, и стонала, и плакала, и обмирала; но, видно, сила любви велика даже въ дикомъ человѣкѣ, своими рѣчами любовными, ласками и слезами успокоилъ онъ, наконецъ, свою добычу суженую и уговорилъ обвѣнчаться съ нимъ.

Точно въ тяжеломъ снѣ, поминутно вздрагивая, обвѣнчалась Марья Петровна въ далекомъ селѣ, за триста верстъ отъ Мельтюковки, въ другой губерніи, куда умчалъ ее въ одни сутки Карбагаевъ, на загодя подготовленныхъ крѣпкихъ подставныхъ. Когда до Катерины Степановны долетѣла вѣсть объ увозѣ дочери, она едва не умерла отъ удара; цѣлыхъ четыре года она тосковала и мучилась въ одиночествѣ и умерла, пославъ благословеніе дочери и проклятье ея похитителю.

Послѣ замужества, на первыхъ порахъ, Левъ Никитичъ окружилъ свою краденую жену всѣмъ пыломъ своей бѣшеной любви, которой боялось и чутко не довѣряло ея робкое сердце.

И дѣйствительно, скоро прогорѣлъ этотъ пылъ. Потому ли, что измѣнилась, отлетѣла быстро краса Марьи Петровны, или уже такова была натура Карбагаева, что жаждала она неутолимо дикихъ восторговъ и тѣсно ей было при такомъ безотвѣтномъ, тихомъ существѣ, какъ жена его, но скоро эта натура выказалась и взяла свое.

И пошли прежніе кутежи и попойки. Сначала на сторонѣ, за глазами, а тамъ, исподволь, перенесъ Карбагаевъ оргіи въ свою резиденцію и превратилъ свой домъ въ разливанное море... Въ минуты просвѣтлѣнія онъ являлся къ женѣ, просилъ, молилъ, валялся въ ногахъ, а тамъ, черезъ нѣсколько дней, снова принимался за прежнее. Но разъ

выдалась долгая пауза. На второй годъ замужества у Марьи Петровны родилась дочь.

Во время родовъ (а роды были трудные) Левъ Никитичъ совсѣмъ потерялъ голову. Онъ ушелъ въ кабинетъ и, зарыдавъ, повалился на коверъ, но въ ту самую минуту дверь кабинета растворилась и бабка вошла съ поздравленіемъ и радостною вѣстью, что Богъ даровалъ его милости дочку. Забывъ уже всякую осторожность, Левъ Никитичъ бросился къ родильницѣ, которая лежала въ забытьѣ, и своими безумными ласками чуть не отправилъ ее на тотъ свѣтъ. Потомъ онъ бросился къ дочери, схватилъ краснаго, еще не вымытаго ребенка на руки, цѣловалъ его крохотныя ручки, ножки, рыдая самъ, какъ ребенокъ, и приговаривая: «Моя родная дочурка, агунька, Львовна, Карбагаевка!»

Цѣлый мѣсяцъ Карбагаевъ ухаживалъ, съ свойственной горячностью и безалаберностью, и за женой, и за ребенкомъ, сбивая всѣхъ съ толку и поминутно волнуясь. Марья Петровна думала, что настала пора просвѣтлѣнія. Но кончился мѣсяцъ, дѣвочку окрестили и назвали Екатериной. За нею приставили кормилицу и няньку. Все вошло въ обычную колею и Левъ Никитичъ вошелъ также въ обычную колею.

IV.

Вся добрая жизнь, вся теплая, нѣжная любовь Марьи Петровны сосредоточилась на Катѣ. Здѣсь была любовь полная, открытая, ничѣмъ не связанная. И дѣвочка инстинктивно понимала всю силу этой широкой, свободной любви. Пылкая Катя стихала передъ матерью. Бывало по-отцовски вспыхнетъ она, если чѣмъ нибудь раздражитъ ее упрямая, своенравная нянюшка Пафнутьевна, а Марья Петровна ска-

жетъ ей прямо отъ сердца, съ любовью, два-три слова ласковыхъ—и вспышка уляжется, и подъ тихимъ взглядомъ кроткихъ глазъ доброй матери дѣвочка сама дѣлается ясной и кроткой и ластится къ доброй мамѣ Машѣ, и цѣлуетъ глаза у ней.

Пафнутьевна, да и всѣ, кто только встрѣчался съ Катей, невольно чувствовали къ ней влеченіе, симпатію. Прежде всего ребенокъ былъ красоты необыкновенной: умное, живое личико, съ яркой бѣлизной и румянцемъ, съ черными, большими, смѣлыми и довѣрчивыми глазками, съ удивительно пріятной, кроткой улыбкой на пухлыхъ, алыхъ губкахъ и съ черными вьющимися кудрями. И это личико постоянно мѣняло выраженіе. То сдвинутся черныя прямыя бровки и дадутъ глазамъ строгое, не дѣтски задумчивое, выраженіе; то расправятся они, приподнимутся и глаза смотрятъ грустно, ласково; то вдругъ они засмѣются, и засмѣются вмѣстѣ съ ними алыя, пухлыя губки. Даже въ порывахъ гнѣва, когда тонкія ноздри Кати раздувались, какъ у Льва Никитича, и хмурились черныя бровки, и сверкали черные глазки, — даже въ это время въ лицѣ было что-то грустное, и дрожащія губки силились улыбнуться, а на глазахъ выступали слезы.

— Ты моя Карбагаечка, — говорилъ Левъ Никитичъ, — въ меня уродилась, красавица!

Но въ этомъ-то и былъ вопросъ: уродилась ли она въ него? Если и были въ ней порывы неодолимые, страстные, то эти порывы даже въ ребенкѣ не разыгрывали той бурной, полуживотной гаммы, изъ которой какъ будто была сплочена вся натура Льва Никитича. Напротивъ, въ Катѣ замѣчалось не только что-то кроткое, доброе, какъ и въ ея матери, но даже солидное, сосредоточенное и степенное, какъ въ бабкѣ ея, Катеринѣ Степановнѣ. Впрочемъ, развѣ можно рѣшить, хотя приблизительно, откуда, изъ какихъ

наслѣдственныхъ отдаленныхъ путей, подъ какими именно вліяніями складывается подвижной, впечатлительный характеръ ребенка, что принадлежитъ въ немъ природѣ, что самобытно, и гдѣ границы привитого, навѣяннаго всѣмъ его окружающимъ.

Одинъ разъ у Кати вышла съ Пафнутьевной крупная размолвка. Было ей уже лѣтъ восемь, но порывы чисто дѣтскихъ, безумныхъ шалостей не покидали ее. Вся исторіи вышла изъ-за перины, на которой спала Пафнутьевна. Катя выдернула изъ перины перо и пустила его по вѣтру сквозь растворенное окно. Потомъ выдернула еще и еще перо, нашла большую прорѣху и изъ нея вытащила цѣлую горсть. Въ концѣ игры перина была перетащена ближе къ окну и всё ея содержимое цѣлымъ вихремъ закружилось вокругъ Кати. Это безконечное мельканіе перьевъ вокругъ, точно какихъ-то громадныхъ, безконечныхъ стай птицъ, до того понравилось ребенку, что онъ былъ внѣ себя, забылъ обо всемъ... Перья кружились, кружились, точно какой-то особый заколдованный міръ. И не слыхала Катя, какъ подошла Пафнутьевна и замерла на мѣстѣ при такомъ разбоѣ.

— Озо́рь, озо́рь!—разразилась она надъ Катей.—Настоящій озо́рь!—кричала она внѣ себя.—Точь-въ-точь озорникъ батюшка, безшабашный, разоритель, сударь Левъ Никитичъ!..

Это послѣднее сравненіе, хоть и было сказано вполголоса, вдругъ отрезвило Катю и обратило ее совсѣмъ въ другую сторону.

Бровки ея сдвинулись, глазки засверкали, щеки покраснѣли.

— Какъ ты смѣешь,—закричала она,—бранить папу!.. Я это сдѣлала, а не папа, какъ ты смѣешь бранить моего добраго папу?!

Пафнутьевна оторопѣла. Она вдругъ сообразила, что

хватила далеко, и хотя была твердо увѣрена, что Катя не выдастъ ее, что ребенокъ никогда ни на кого не жаловался, а расправлялся больше своимъ судомъ, какъ батюшка, но и такая реплика Кати озадачила ее и она раскрыла ротъ.

— За это,—сказала Катя сквозь слезы,—я съ тобой говорить не хочу, и не люблю тебя! ты—гадкая, злая!

И она съ такой гордостью, надувъ губки и закинувъ головку, твердою походкой прошла мимо Пафнутьевны, какъ будто ей было не восемь лѣтъ, а по крайней мѣрѣ тринадцать.

И цѣлый вечеръ этотъ восьми-лѣтній ребенокъ былъ въ самомъ тревожномъ состояніи. Никакія игры и заигрыванья съ ней Пафнутьевны не дѣйствовали, а напротивъ, еще больше раздражали.

— Мама!—Наконецъ, спросила Катя,—скажи мнѣ, Пафнутьевна добрая или гадкая, злая?

— Она добрая, она любитъ тебя.

— Нѣтъ не любитъ... Она гадкая, злая...—и, чтобы не расплакаться, она быстро отвернулась и ушла въ садъ.

Спросили, что это такое, Пафнутьевну и Пафнутьевна объяснила, что «всю перину у нея раздергали».

— Да ты вѣрно что-нибудь ей сказала?—допытывалась Марья Петровна.

— А ничего не сказала, что̀ мнѣ говорить?... Только и сказала, что нехорошо, молъ, такъ шалить... Хоть съ мѣста не сойти, ничего больше не сказала.

Когда вечеромъ Пафнутьевна укладывала Катю, она молчала на всѣ вопросы. Катя ворочалась долго въ постелькѣ: «можетъ-быть, она гадкая, можетъ-быть, я гадкая?...» Пафнутьевна тоже кряхтѣла и ворочалась. Наконецъ, она встала, подошла къ Катѣ и встала на колѣни передъ ея кроваткой, нагнувшись къ ней.

— Матушка, барышня, красавица,—зашептала она,—прости меня, вѣдь ты крѣпко сшалила...

Но Пафнутьевна не договорила слова, Катя быстро приподнялась и порывисто обняла ее. Она и всхлипывала, и рыдала, и цѣловала морщинистыя, сухія щеки Пафнутьевны.

— Что тамъ? — спросонокъ спросила Марья Петровна.

Пафнутьевна пришипилась, притихла; но, прежде чѣмъ она успѣла шикнуть, Катя уже вскочила стремглавъ, босикомъ бросилась въ спальню къ матери, обняла ее, поцѣловала.

— Милая мама!.. Пафнутьевна—добрая, добрая!...—прошептала она и снова чуть не въ два прыжка очутилась на своей постелькѣ.

Для Льва Никитича Катя была какой-то заповѣдной, дорогой игрушкой. Странное дѣло, онъ не только ее любилъ, онъ боялся ея, какъ будто собственная его совѣсть смотрѣла на него прямо, черными, большими, блестящими глазами Кати. Онъ прятался отъ нея, а за нее пряталась Марья Петровна. Никогда, во всѣ восемь лѣтъ своей жизни, Катя ничего не знала о безпутной жизни отца, никогда она не видала его пьянымъ. Точно также и Марья Петровна избавилась отъ тяжелыхъ сценъ. Но разъ случай выдалъ все.

Разъ (ей было уже лѣтъ восемь) онъ пьяный увидалъ ее вечеромъ на лѣстницѣ, которая вела на антресоли, въ комнаты Марьи Петровны, подозвалъ къ себѣ, взялъ на руки и внесъ въ залу, въ веселую компанію.

А тамъ пиръ бушевалъ въ полномъ разгарѣ. Пьяный хоръ выкрикивалъ дикими голосами буйную пѣсню. Двое помѣщиковъ: Маликовъ, толстый, коротенькій и лысый, и Жереховъ, сѣдой, растрепанный старикъ, съ длинными бѣ-

лыми усами, весь красный, въ красной канаусовой рубахѣ—отхватывали трепака. Одинъ изъ нихъ, подбоченясь и высоко поднявъ руку, повертывалъ ей и кричалъ: «Съ гусемъ, съ гусемъ, съ гусемъ!» Все было пьяно, вездѣ дымъ и чадъ и тусклое мерцаніе свѣчей. Какая-то полуобнаженная женщина валялась на заплесканномъ полу.

Карбагаевъ крѣпко обнялъ дочь и, тяжело дыша, покачиваясь, сѣлъ на свое мѣсто, въ головѣ стола, поставивъ Катю передъ собой. Нѣсколько мгновеній, пока она испуганно, съ сдвинутыми бровями, вглядывалась въ эту дикую, непонятную для нея картину, онъ молча цѣловалъ ея ручки и всхлипывалъ.

— Папа, — сказала она шопотомъ, отстраняя его отъ себя,—отъ тебя пахнетъ... А это все вѣрно пьяные?... Прогони ихъ.

Онъ упалъ головой объ столъ и, стукаясь лбомъ, громко заголосилъ:

— Пьяница я горькая! Погибшая душа моя грѣшная! Пожалѣй меня, Карбагаечка, родная моя, невинная душа!

Многіе смутились. Пѣсня оборвалась.

— Что завылъ,—закричалъ Жереховъ,—ровно песъ по покойникѣ?!.. Проспись, коли пьянъ.

Левъ Никитичъ быстро вскочилъ. По лицу его катились слезы, глаза горѣли, губы дрожали.

— Вонъ!—закричалъ онъ бѣшенымъ, громовымъ голосомъ.—Вонъ, пьяная сволочь, псы смердящіе!..—И онъ схватилъ стоявшую подлѣ него бутылку и бросилъ въ Жерехова. Бутылка ударилась въ стѣну и со звономъ разлетѣлась въ дребезги. Всѣ, испуганные этимъ припадкомъ бѣшенства, бросились вонъ во всѣ двери, толкая и давя другъ друга. Всѣхъ обхватила неодолимая паника. Карбагаевъ взялъ поблѣднѣвшую, дрожавшую Катю на руки и самъ, весь дрожа, понесъ ее на верхъ. На дорогѣ ему попалась

подъ ноги валявшаяся женщина. Онъ чуть не упалъ и съ бѣшенствомъ оттолкнулъ ее ногой.

Послѣ этого кутежа онъ цѣлыхъ двѣ недѣли былъ и трезвъ, и ласковъ, и кротокъ, а тамъ отправился въ отъѣзжее поле и пропалъ на цѣлый мѣсяцъ.

Скучны были длинные осенніе вечера для Марьи Петровны. Сидитъ она молча, молча вяжетъ чулокъ Пафнутьевна, молча сидитъ подлѣ нея Катя и все о чемъ-то думаетъ, приподнявъ одну бровку, и вдругъ спроситъ:

— А что, мама, если лѣтомъ вдругъ настанетъ зима, куда же птички дѣнутся?..

И рада бывала Марья Петровна, когда наѣдетъ къ ней гостить молодая вдова, пятидворная помѣщица Анна Гавриловна, высокая, полная, съ какимъ-то надутымъ, точно оттопыреннымъ, лицомъ. Мѣстные остряки звали ее Анной Говориловной. Такая ужъ у нея страсть была говорить безъ умолку, точно въ головѣ у нея мельница вертится и языкомъ мелетъ. Разсказываетъ, разсказываетъ Анна Гавриловна, мелетъ, мелетъ и все около одного и того же вертится; разскажетъ что-нибудь разъ, поговоритъ о другомъ и опять примется разсказывать старое, и не сойдетъ съ этого стараго три часа, точно на хорошее мѣсто попала, разстаться съ нимъ жаль. А Марья Петровна все слушаетъ и только по временамъ головой покачиваетъ.

Разъ въ одинъ такой длинный, ненастный вечеръ, когда погода на дворѣ гудомъ-гудѣла, вдругъ сквозь этотъ гулъ Марьѣ Петровнѣ послышалось, что кто-то подъѣхалъ. «Вѣрно онъ»,—подумала она и перекрестилась.

Глухо заговорили на дворѣ, съ чѣмъ-то возились и, вотъ, громко кряхтя и тяжело, гулко переступая по ступенямъ высокаго крыльца, что-то несутъ... Растворились двери, топочутъ въ передней и переговариваютъ, «въ двери-то осторожнѣй, головой не задѣнь!»—слышится голосъ

Сеньки Ярыгана. Марья Петровна вскочила и бросилась, сама не зная почему, съ лѣстницы. За нею бросилась и Анна Гавриловна. Въ залу медленно вносили трупъ Карбагаева. Голова его была разсѣчена, въ крови, одинъ глазъ, весь черный, глубоко запалъ въ глазницу...

Какъ приключилась смерть Льву Никитичу, никто не могъ сказать положительно. Всѣ усачи-лихачи въ одинъ голосъ разсказывали, и притомъ весьма обстоятельно, что «самъ-де баринъ за русакомъ погнался, да на скаку съ коня слетѣлъ и объ пень съ сучкомъ головой изволилъ удариться, индо пень затрещалъ и сломился». Другіе, сторонніе, люди шептали, что была какая-то драка, ссора, и что «всѣхъ-де на томъ свѣтѣ праведный судъ Господень разсудитъ!»

V.

Съ этого самаго случая стало Марью Петровну дергать: то лицо у нея перекосится, то лѣвая рука начнетъ ходить. Кое-какъ, съ помощью Анны Гавриловны, оправилась она послѣ похоронъ мужа и за дѣло принялась. И какъ ни непривычна была она къ дѣламъ, но сразу поняла, что всѣ имѣнья покойника Льва Никитича (царство ему небесное!) въ раззоръ разорены. Двѣ деревни продала Марья Петровна съ молотка, остальныя за безцѣнокъ сбыла съ рукъ и переѣхала въ свою Мельтюковку. Благо никакихъ родныхъ не нашлось у Карбагаева, которые пожелали бы потягаться съ ней.

Въ Мельтюковкѣ растворились передъ ней двери стараго домика и точно могилой пахнуло изъ нихъ. Осмотрѣла она, крестясь и плача, всѣ комнаты, осмотрѣла и комнатку, гдѣ отецъ ея на лежанкѣ скончался.

— Возьми ты ее себѣ, Пафнутьевна,—сказала она,—да поминай въ молитвахъ покойника-батюшку.

Отпустила Марья Петровна почти всѣхъ старыхъ дворовыхъ на вольную и пенсіонъ положила имъ. И набрала она большую дѣвичью изъ разныхъ дѣвушекъ, сиротъ. Однѣ въ деревнѣ нашлись, другихъ она купила у сосѣдей-помѣщиковъ. И только одного во всей дворнѣ завела она мужчину,—и то вдолгѣ послѣ, по рекомендаціи Пафнутьевны,—отставного солдата, Егора Мухоярова, добрѣйшей души, но угрюмаго, съ виду.

— Какъ же я его возьму!—совѣтовалась она съ Пафнутьевной.—Вѣдь онъ точно усачъ!..

— И, матушка,—оправдывала его Пафнутьевна,—онъ ничего, смиренный... Это онъ ужъ отъ простоты сердечной волосами-то оброс.

И зажила тихо Марья Петровна день въ день. Анна Гавриловна почти безсмѣнно гостила у нея. Сосѣди къ ней рѣдко являлись, да и она, какъ покойникъ Петръ Лаврентьичъ, не любила покидать теплаго мельтюковскаго угла. Во всѣ восемь лѣтъ житья въ Мельтюковкѣ только разъ испытала она горе, когда свою Катю въ пансіонъ отправляла. А нельзя было не отправить. «Не безприданница она у меня,—думала Марья Петровна,—какъ же ей быть неученой, какъ дѣвкѣ простой...» При этомъ вспомнила Марья Петровна, что подруга ея юности, еще назадъ тому двадцать лѣтъ, и бѣдная была, а все-таки въ пансіонѣ воспитывалась.

То же самое совѣтовала и Анна Гавриловна.

— На что ужъ нынѣ купецъ,—говорила она,—лабазникъ, какъ есть мужикъ, сермяга вонючая—и тотъ норовитъ по ученому говорить... А вонъ Толоконниковъ, такъ, слышь, даже въ Москву свезъ старшую-то дочку, Маланью Терентьевну, тамъ ее даже на фортупьянѣ обучили... Какъ есть, стала барышня и не узнаешь.

И вотъ порѣшили свезти мельтюковскую наслѣдницу за сто верстъ въ городъ, въ пансіонъ, но прежде еще этого рѣшенія Марья Петровна обратилась къ доброму сосѣду-помѣщику, Ивану Дормидонычу, съ покорнѣйшей просьбой съѣздить и разузнать все обстоятельно, какъ и что за пансіонъ, чему учатъ и чѣмъ кормятъ... Иванъ Дормидоновичъ съѣздилъ и узналъ всю подноготную.

— Очень хорошій, матушка, пансіонъ!—докладывалъ онъ Марьѣ Петровнѣ,—Учатъ вразумительно и смотрятъ за воспитанницами старательно. Содержательница—такая почтенная дама, Софья Александровна Дитрихъ.

— Да не строго ли тамъ, Иванъ Дормидонычъ? Не бьютъ ли ихъ, не сѣкутъ ли?

— Ахъ, нѣтъ, сударыня, все очень деликатно!.. Ну, впрочемъ, безъ строгости это и нельзя вѣдь, сами знаете... Вотъ, говорятъ, въ прошломъ году одну мамзель точно что выпороли... Такъ вѣдь это была особь статья...—И Иванъ Дормидонычъ нагнулся къ уху Марьи Петровны.—Въ Бога, говоритъ, не вѣрю!—сказалъ онъ, приподнявъ брови, отрывистымъ шопотомъ. Марья Петровна всплеснула руками и перекрестилась.

Черезъ недѣлю послѣ этого разговора, въ одно ясное сентябрьское утро, изъ воротъ Мельтюковской усадьбы выѣзжалъ тарантасикъ, нагруженный чемоданами, коробками, кульками, мѣшками и мѣшечками, перинами, подушками и подушечками, и ко всему этому, какъ бы въ дополненіе, возсѣдали тутъ же Марья Петровна, Анна Гавриловна и между ними Катя.

Марья Петровна крестилась и плакала. У Кати сердце было не на мѣстѣ,—ей тоже хотѣлось плакать,—но она сидѣла, удерживаясь, степенно и серьезно. Чуткимъ, маленькимъ сердцемъ понимала она, что горе ея разлуки—ничто передъ горемъ матери.

— Мама, а ты не плачь,—утѣшала она ее.—Вѣдь мы разстанемся только на зиму.—И она цѣловала ея руки, чувствуя, какъ у самой на сердце налегала ледяная гора и какая-то глыба подступала къ горлу.

Привезли, наконецъ, и сдали Катю въ пансіонъ.

— А вы, матушка, будьте съ ней ласковы,—упрашивала Марья Петровна содержательницу.—Вѣдь она одна теперь, безъ матери, словно сиротиночка.

— Будьте покойны,—утѣшала содержательница.—Мы со всѣми ласковы. Нельзя же опять и потакать, если... жизнь не балуетъ!..

И новый, невѣдомый для Кати, міръ обступилъ ее. Широко, испуганными глазами, смотрѣла она на цѣлый рядъ залъ, уставленныхъ столами, пюпитрами, на дортуары, гдѣ кровати составляли цѣлую перспективу, на длинные, широкіе корридоры, и все это подъ акомпаниментъ постоянной возни, бѣготни, шума, гама. Ее окружили, теребятъ, тормошатъ со всѣхъ сторонъ.

— Ты моя душка, царенокъ, я тебя буду обожать!—кричитъ ей подъ ухо одна кудряшка и страстно обнимаетъ ее, и цѣлуетъ.

— Нѣтъ, я, я!—кричитъ пухленькій бѣлобрыска въ длинной пелеринкѣ.

— Нѣтъ, я, я, я!—оттолкнувъ ее, кричитъ смуглая брюнетка съ длинными косами.—У нея такія же косы, какъ у меня. Смотри!—и она безъ церемоніи теребитъ длинныя косы Кати.

А у Кати кружится голова. «Гдѣ она, гдѣ?.. Во снѣ или на яву?.. А гдѣ же мама, мама?!.»

И она снова бѣжитъ туда, къ содержательницѣ, въ гостиную, а пансіонерки не пускаютъ ее, бѣгутъ вмѣстѣ съ ней.

Мама тамъ сидитъ на диванѣ и подлѣ нея сидитъ со-

держательница, Софья Александровна, высокая дама съ строгимъ лицомъ.

— Мама... не плачь, я здѣсь...

И мама сквозь слезы смотритъ на нее.

— Катюночка, ручки то у тебя какія холодныя, поблѣднѣла ты!..

— Нѣтъ, мама, мнѣ тепло... Мнѣ хорошо здѣсь.—И она наклоняется къ ея уху. —А можно мнѣ спросить ее, содержательницу, всему ли здѣсь учатъ?..

— Можно... Только ты не надоѣдай сильно.

И Катя вдругъ, покраснѣвъ, подходитъ къ Софьѣ Александровнѣ.

— А скажите, я узнаю здѣсь, отчего бываетъ громъ и молнія и отчего лѣтомъ солнце грѣетъ, а зимой не грѣетъ?— говоритъ она, нахмурясь и гладя рукой бархатную салфетку на столѣ. Софья Александровна улыбается, и мама сквозь слезы улыбается.

— Все узнаешь, — говоритъ содержательница. — Всему здѣсь научатъ,—и она цѣлуетъ ее и крѣпко держитъ за руку.

А между тѣмъ, близокъ часъ разлуки. Марья Петровна поднялась съ дивана, остановилась. Лицо у нея дергаетъ, руки дрожатъ.

— Матушка!—говоритъ она, какъ во снѣ, содержательницѣ и быстро, отрывисто обертывается къ Катѣ.—Прощай, Катечка!—говоритъ она чуть слышно.

Катя освободилась изъ рукъ содержательницы. Она бросилась къ мамѣ, и мама цѣлуетъ ее, прижимаетъ ее къ груди точно холодную маленькую статую.

И не понимаетъ сама Катя, что съ ней дѣлается, отчего все одервенѣло внутри ея, отчего ей тяжело выговорить слово, и говоритъ она, какъ кукла на пружинахъ, а въ груди словно все пусто и точно тяжелая гиря придавила ей сердце. Вышли на крыльцо.

— Мы съ тобой будемъ, мы тебя не покинемъ,—говоритъ Августа Карловна, пухленькая, сентиментальная нѣмочка, пепиньерка, которую пансіонерки звали l'ange bénie. Она цѣлуетъ блѣдное лицо Кати, ея холодныя ручки.

Сѣли мама и Анна Гавриловна въ тарантасикъ.

— Вы бы, матушка, кулечки вынули, свободнѣе будетъ,—говоритъ Анна Гавриловна.

Тронулъ Егоръ Мухояровъ и лошадки побѣжали.

Мама высунулась изъ тарантасика, крестя воздухъ. Августа Карловна крѣпко обхватила Катю и повела ее; но едва вошли онѣ въ переднюю, какъ легкій стонъ вырвался изъ груди Кати и она вытянулась и замерла на рукахъ пепиньерки. Поднялся шумъ, суматоха. Бережно взяли и перенесли Катю въ больницу. Многія пансіонерки расплакались, съ другими сдѣлалась истерика. Софья Александровна разогнала всѣхъ и послала за докторомъ.

Докторъ посмотрѣлъ, послушалъ и покачалъ головой.

— Каталептическій припадокъ!—сказалъ онъ.—Не надо ее тревожить. Тишина, спокойствіе, а завтра я приду.

Но вечеромъ больная очнулась. Августа Карловна и двѣ старшихъ воспитанницы сидѣли подлѣ нея. Катя тупо посмотрѣла на всѣхъ, какъ послѣ долгаго сна. Августа Карловна обняла ее и тихо заплакала надъ ней.

— Катюночка!.. ты будешь наша, родная.

Катя пристально посмотрѣла на нее. Краска тихо разливалась по ея лицу. Она судорожно прижалась къ ея груди.

— Мама, мама!—прошептала она и зарыдала.

Двѣ пансіонерки обернулись другъ на друга, у обѣихъ катились слезы изъ глазъ.

VI.

Пансіонская жизнь была тогда такая же затхлая, рутинная, какъ и теперь во многихъ, если не во всѣхъ, пансіонахъ. Всѣхъ учителей, даже священника или «батюшку», пансіонерки раздѣляли на «обожаемыхъ» и «презрѣнныхъ», смотря по вкусу каждой. Нѣкоторыя обожали даже другихъ подругъ. Если «обожаемый» былъ учитель, то всѣ уроки ему долбились какъ «Отче Нашъ». Но высшимъ доказательствомъ полнаго обожанія считалось съѣсть, по крайней мѣрѣ, полкниги учебника.

— Ахъ, ma chere!—говорила иногда одна подруга другой, — дай мнѣ, пожалуйста, твою грамматику, — я своей «причастилась».

Если «обожаемая» была пансіонерка, то обожающая ее подруга должна была ходить за ней, смотрѣть ей въ глаза, отдавать ей всѣ лакомства, съѣдать старые лоскутки отъ ея платья и каждый вечеръ становиться передъ нею на колѣни и молиться на нее.

Этотъ пансіонный культъ существовалъ давно, со времени основанія пансіона, и онъ не могъ не существовать, потому что у всѣхъ пансіонерокъ, кромѣ развѣ самыхъ лимфатичныхъ, невольно развивалось то неодолимое, страстное чувство, которое рано или поздно появляется въ каждой женщинѣ. Здѣсь оно развивалось преждевременно, болѣзненно, потому что много накоплялось условій къ тому и самое главное—это задавленность мысли, вслѣдствіе постояннаго долбленія. «Гдѣ спитъ голова, тамъ работаетъ сердце!»

Но у Кати голова не спала, а сердце ея сжилось съ тѣмъ далекимъ мельтюковскимъ міромъ, который теперь являлся ей еще болѣе милымъ въ его отдаленіи, являлся

постоянно и въ мечтахъ, и во снѣ. Сидитъ она, бывало, въ своемъ темномъ пансіонскомъ платьицѣ, съ большой пелеринкой, застегнутой на маленькія пуговки. Темныя брови ея приподняты, глаза неподвижно стоятъ и ничего не видятъ, что передъ ней, за то видятъ они и большую мельтюковскую дѣвичью, гдѣ Пафнутьевна были и небылицы разсказываетъ, и садъ мельтюковскій съ цвѣтами, — съ ея цвѣтами, — которые она такъ любитъ. «А будетъ ли ходить за ними Настя?—вдругъ спрашиваетъ она сама себя.— Вѣдь я ее такъ упрашивала .. А теперь ужъ вѣрно отцвѣлъ пахучій піонъ?!.»

Но чаще всего ей представляется ея больная, дорогая мама Маша. О ней она постоянно думала съ какой-то тупою болью въ сердцѣ. И разсчитывала она и дни, и часы, когда опять съ нею увидится, когда кончится эта тяжелая пансіонская жизнь, гдѣ все ей было чуждо и непріятно!.. Всѣ подруги отшатнулись отъ нея и называли ее «sauvage» или просто «дикой индѣйкой».

Порой эта отчужденность становилась тяжела для Кати. «Вѣрно, я въ самомъ дѣлѣ дикая, нелюдимая, а онѣ всѣ добрыя, — думала она. — И эта Люба Лапоткина, что мнѣ третьяго дня пряникъ отдала... Я должна ихъ всѣхъ любить и угождать имъ».

И она старалась съ ними сблизиться. Но та же добрая Люба Лапоткина, которую она поцѣловала, съ недоумѣніемъ посмотрѣла на нее, а другія засмѣялись!.. «Что это ты въ нѣжности пустилась?»—говорили онѣ. И она съ горькимъ, оскорбленнымъ чувствомъ убѣгала отъ нихъ.

«Можетъ быть, я оттого имъ кажусь чужая, что я — избранница»... И ей казалось, что она, дѣйствительно, что-то должна сдѣлать новое, великое, и мечты одна другой шире, фантастичнѣе роились въ пылкомъ воображеніи. Она быстро ходила по большому пансіонскому залу. А солнце

такъ ободрительно свѣтило въ окна и сквозь нихъ блестѣлъ снѣжными искрами пансіонскій садъ съ голыми деревьями, по которымъ прыгали красногрудые снигири.

Порой, хотя и рѣдко, на нее налетали порывы безумнаго веселья. Въ особенности вдругъ обхватывалъ ее такой порывъ, когда выпускали всѣхъ пансіонерокъ зимой въ довольно большой пансіонскій садъ. Катя, сама не помня себя, съ хохотомъ и крикомъ, бросалась бѣжать опрометью по большой расчищенной аллейкѣ.

— Смотрите, mesdames, смотрите,—кричали ей вслѣдъ удивленныя подруги,—дикая индѣйка съ ума сошла!

— Это она волю почуяла!—объясняли онѣ.

А Катя добѣгала до низенькаго забора и, остановясь, смотрѣла въ даль. Тамъ, за этимъ заборомъ, открывалось большое поле въ снѣжныхъ сугробахъ, которые на горизонтѣ тонули въ сѣрыхъ облакахъ. И въ эту даль, и на эту ширь неодолимо тянуло ее.

«Еслибы тройкой на санкахъ по этому полю, — думала она,—ухъ!..» И сердце ея замирало, глаза блестѣли, ноздри раздувались, какъ у Льва Никитича.

Съ ея жаждой знаній случилось нѣчто странное. Потому ли, что въ классахъ, учителяхъ и учебныхъ книгахъ она не нашла отвѣтовъ на тѣ вопросы, которые будили и затрогивали ея дѣтское любопытство, но знанія отошли на второй планъ, а первый заняли воспоминанія, мечты и фантазіи. Когда находило на нее веселое настроеніе, то и эти фантазіи принимали веселый, комическій характеръ. «А что,—спрашивала она себя,— если толстый пансіонскій сторожъ Кіонъ женится на Нунехіи Ферапонтовнѣ (длинной, худой классной дамѣ, которую всѣ въ пансіонѣ «презирали» за ея придирчивость), что изъ этого произойдетъ?..» И ея фантазія сочиняла цѣлый рядъ сценъ одна комичнѣе другой. Катя начинала смѣяться изподтишка и, наконецъ,

разразившись неистовымъ хохотомъ, срывалась со стула и убѣгала. А подруги съ недоумѣніемъ переглядывались и спрашивали другъ друга.

— Что она съ ума сошла, что ли?

Фантазія и въ ученьѣ ея играла видную роль.

Когда послѣ двухъ лѣтъ пансіонской жизни Катя начала учиться географіи, то глобусъ и ландкарты, какъ образные предметы, громко заговорили ея воображенію. Въ географіи Греча были притомъ короткія описанія «естественныхъ продуктовъ» разныхъ странъ, описанія, иллюстрированныя маленькими политипажами. И эти рисунки были достаточны, какъ матеріалъ для фантазіи. Въ ней рисовались безконечные образы тропическихъ странъ, невиданныхъ, чудныхъ лѣсовъ и звѣрей, и вся земля, въ представленіи Катя, являлась въ видѣ женщины, увѣнчанной сѣвернымъ сіяніемъ, съ ожерельемъ изъ льдовъ и съ ногами, закованными въ льды. Посреди ея пестрой одежды вился чудный поясъ, на которомъ жаркое экваторіальное солнце вышило красивые узоры изъ разноцвѣтныхъ цвѣтовъ, блестящихъ бабочекъ и пестрыхъ птичекъ. И вмѣстѣ съ этими плодами воображенія выступалъ цѣлый рядъ вопросовъ. Она обращалась за отвѣтами къ учителю географіи. Она спрашивала его: «Почему на землѣ такъ мало земли, а много воды? Почему горы расположены такъ, а не иначе? Почему Италія похожа на чулокъ, а Скандинавія на лошадиную голову?» Но на всѣ эти вопросы учитель, добродушный старичекъ, прибавлявшій почти къ каждому слову «таково» и «тово», усмѣхался и отвѣчалъ весьма категорически:

— Таково ужъ оно, тово, Богомъ устроено!

А подруги смѣялись и надъ нимъ, и надъ ней.

Въ урокахъ исторіи воображеніе также явилось на помощь. Сначала эти уроки шли вяло, — негдѣ было взять для нихъ образныхъ представленій. Но, къ счастію, въ пан-

сіонской библіотекѣ нашлась «Картинная галлерея», нашелся «Ледрю-Ролленъ», «Плутархъ для юношества», въ плохомъ старинномъ переводѣ, и древній міръ римлянъ и грековъ всталъ передъ Катей какъ живой, съ его цѣльными, увлекательными характерами и полубогами.

Иногда въ классѣ, въ то время, когда учитель исторіи, забитый человѣчекъ, черный, сморщенный, съ красными, воспаленными глазками, читалъ ровнымъ, семинарскимъ голосомъ какой-нибудь эпизодъ изъ римскихъ войнъ, ей вдругъ представлялись и шумъ битвы, и стоны, и кровь, и блестящіе глаза римскихъ героинь. Губы ея невольно шептали, она напѣвала маршъ и барабанила пальцами по классному столу.

— Что съ вами, m-lle Карбагаева? — вдругъ спроситъ удивленный учитель, и Катя вся сконфузится до слезъ. А подруги въ разныхъ углахъ фыркаютъ или хохочутъ безъ церемоніи.

VII.

На четырнадцатомъ году, случайно, въ руки ея попалось Евангеліе и притомъ съ русскимъ переводомъ. Тогда это было рѣдкостью даже въ домахъ, а тѣмъ болѣе въ пансіонахъ и всякихъ учебныхъ заведеніяхъ. Она вся отдалась этому простому изложенію событій простыхъ и великихъ; но чѣмъ понятнѣе для нея было это ученіе человѣчности, тѣмъ непонятнѣе было для нея то ученіе, которое слушала она тутъ, на этихъ школьныхъ скамьяхъ, изъ устъ того же «батюшки», на котораго она глядѣла съ трепетнымъ уваженіемъ.

Въ этомъ сѣденькомъ старичкѣ, съ краснымъ носомъ и

красными глазками, все казалось ей особеннымъ, таинственнымъ, начиная отъ его длиннополой темнокоричневой рясы, отъ его большого мѣднаго креста—распятія, висѣвшаго на его шеѣ, на мѣдной гремучей цѣпи,—до его особеннаго голоса, сухого, рѣзкаго, до его слова, славяно-церковнаго, фигурно изысканнаго, до его говора на *о*. И еще страннѣе и недоступнѣе казался онъ ей въ ризахъ, въ той небольшой церкви, куда ихъ водили ко всенощной и обѣднѣ, — въ церкви съ низенькими сводами, сырой, какъ подвалъ, и тусклой, съ маленькими окнами за желѣзными рѣшетками. Въ этой церкви ей все казалось святымъ, таинственнымъ, неприкосновеннымъ: даже истасканный, кожаный, высокій аналой и книги въ темныхъ переплетахъ, тяжелыя, большія обкапанныя воскомъ. — даже тѣ голуби, которые порой, поздней осенью, залетали въ алтарь.

«Голубь—это Духъ Святой!—вспоминались ей при этомъ слова Пафнутьевны.—Кошку можно пускать въ церковь, а собаку нельзя: у кошки душа поганая, а шкура чистая, а у собаки хоть душа и чистая, да шкура поганая»... «Почему же шкуру считаютъ выше души?»—думала Катя.

Въ особенности загадочнымъ былъ для нея алтарь, гдѣ въ полумракѣ совершались таинства, гдѣ стояли какіе-то странные сосуды на высокомъ престолѣ. Тамъ, вѣроятно, былъ Онъ, въ этихъ синихъ облакахъ ладаннаго дыму.

Иногда, проникнутая трепетомъ священнаго ужаса, когда клиръ умолкалъ и среди наступившей таинственной тишины съ шумомъ отгергивалась завѣса и дьяконъ выносилъ чашу съ Его тѣломъ и кровью и хриплымъ басомъ, перекосясь и нахмурясь, произносилъ надъ этою чашей: «Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите!»—она повергалась тогда на землю и въ умиленіи, въ слезахъ и ужасѣ, лежала ницъ, думая: «вотъ-вотъ предстанетъ Онъ надъ этой чашей!..» А классная дама теребила ее сзади за платье:

— M-lle Karbagaeff! M-lle Karbagaeff! Vous vous oubliez; il faut du contenance!

И она просыпалась отъ этого волненія и слышала, какъ фыркали кругомъ ея подруги, закрываясь платками.

Еще страшнѣе казалась ей та минута, когда шепчущія подруги проталкивали ее въ темный придѣлъ алтаря, гдѣ ожидалъ ее тотъ же самый батюшка къ исповѣди. Какимъ-то могильнымъ ужасомъ вѣяло отъ этого придѣла.

А батюшка, весь проникнутый удушливымъ запахомъ ладана, строгимъ голосомъ говорилъ ей:

— А ты не возносись, не возгордись,—смирись духомъ, духомъ смирись! Блажени нищіе духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное!

И она ужасалась своей небывалой гордыни. Слезы полнаго раскаянія, какъ капли весенняго дождя, текли изъ ея глазъ, когда она вся расплаканная выходила изъ придѣла.

— Mesdames, mesdames,—шептались подруги,—индѣйка расчувствовалась! Ей батюшка вѣрно перцу задалъ!

Передъ наступленіемъ весны, когда теплый, нѣжащій воздухъ раздражалъ всѣхъ отъ младенца до старика и наносилъ міазмы и простуды, ее сильнѣе и сильнѣе охватывала мечта о Мельтюковкѣ. Она съ нетерпѣніемъ смотрѣла на побурѣвшую отъ навоза дорогу, на снѣжныя полянки: «Ахъ, скоро ли онѣ зазеленѣютъ,— думала она,—и пріѣдетъ за мной тарантасикъ, и Пафнутьевна, и Анна Гавриловна, и сѣрый Волчекъ съ ними прибѣжитъ, дорогая мама письмо пришлетъ!»

Случилось какъ-то, что за ней долго не пріѣзжали. Ужъ май мѣсяцъ, на этотъ разъ теплый, почти лѣтній, подходилъ къ концу. Катя уже нѣсколько дней бродила точно отупѣлая. Что-то постоянно давило ей и голову, и грудь. Она ко всему прислушивалась или по цѣлымъ часамъ простаивала у окна. Наконецъ, въ одинъ жаркій и душный

день, когда тучи находили со всѣхъ сторонъ, когда она сидѣла въ классѣ исторіи, въ ея любимомъ классѣ, и разсѣянно слушала, какъ учитель читалъ о смерти Агриппины, вдругъ за дверями раздался чей-то голосъ: «точно мама», почудилось Катѣ,—и въ одно мгновеніе Агриппина и мама слились для нея въ одинъ призракъ, что-то сильно сжало, стиснуло ей сердце и... больше она ничего не помнила.

Цѣлыя сутки она лежала въ полузабытьѣ, какъ мертвая, и очнулась въ небольшой комнатѣ, въ пансіонской больницѣ. Катѣ разсказали, что она все время была въ обморокѣ, а она разсказала, что слышала все, что съ ней дѣлали.

На другой день за ней пріѣхали изъ Мельтюковки и она съ какой-то пріятной усталостью отправилась въ свой сельскій пріютъ, гдѣ ждала ее съ часу на часъ Марья Петровна, только-что оправившаяся отъ нервной горячки.

Затѣмъ прошелъ еще годъ, предпослѣдній годъ пансіонской жизни.

Всѣ пансіонерки измѣнились къ Катѣ. Нашли, что она вовсе не «sauvage», а такъ себѣ, странная, и все-таки une bonne et belle, и часто обращались къ ней за поправками французскихъ или нѣмецкихъ сочиненій.

Наконецъ Катя выучилась... чему?—она сама того не знала, да и никто хорошенько не зналъ. Важно было только одно: она познакомилась съ книгами, втянулась въ чтеніе. Мало этого, она получила, хотя и совершенно случайно, возможность даже въ Мельтюковкѣ добывать книги. Братъ одной изъ ея пансіонскихъ подругъ далъ ей три адреса московскихъ и петербургскихъ книгопродавцевъ и она берегла эти адресы, какъ бережетъ иной театралъ билетъ на первое представленіе балета.

— Ты теперь уже какъ есть невѣста,—говорила ей Пафнутьевна,—къ чему тебѣ ученье?

И дѣйствительно, изъ нескладной дѣвочки сложилась теперь стройная дѣвушка. Въ ея большихъ черныхъ глазахъ была то тихая дума, то вдругъ они одушевлялись и всѣ черты лица ея совершенно измѣнялись и свѣтились восторгомъ.

— А вѣдь лобъ-то у нея большой,—говорила Пафнутьевна, сидя разъ вечеромъ въ Мельтюковкѣ подлѣ Кати и Марьи Петровны. — Лбомъ она въ бабку уродилась, а глаза какъ будто ваши, только темнѣе будутъ, а такіе же добрѣющіе... А вотъ это мѣсто,—и она быстро нѣсколько разъ схватила себя за нижнюю часть лица,—въ покойника Льва Никитича, царство ему небесное!—и она перекрестилась, и прибавила: а губки такія же пухленькія, и носикъ пряменькій!

Марья Петровна смотрѣла задумчиво, улыбаясь, на Катю и любовалась на нее.

— А знаете, барыня, если этакъ закрыть,—и Пафнутьевна закрыла рукой всю нижнюю часть лица до самыхъ глазъ,—то каждый человѣкъ на какого-нибудь звѣря похожъ? Ну, вотъ, скажите, на кого я похожа, а?!..—И, не дожидаясь отвѣта, сама разъяснила:—на корову!..

Марья Петровна, взглянувши на нее, слегка улыбнулась, а Катя не вытерпѣла и расхохоталась, показавъ всѣ свои бѣлые, ровные зубки.

— Нѣтъ, это истинно такъ!—подтвердила Пафнутьевна.

И Катя задумалась. «Что же,—думала она,—можетъ-быть и дѣйствительно въ каждомъ человѣкѣ есть что-нибудь отъ какого-нибудь звѣря».

И вотъ, наконецъ, наступило въ пансіонѣ для многихъ давно желанное время вылета.

Катя все заботливо вдумывалась, не забыла ли она чего, какую-нибудь книгу, тетрадку, но именно эти книги и въ особенности тетрадки пансіонскія ей не нравились. Она только цѣнила ихъ, какъ свой трудъ. Впрочемъ, изъ книгъ

она уложила тщательно, съ любовью, краткое путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля, Робинзона Крузе, Paul et Virginie и какую-то естественную исторію, которую ей подарили на экзаменѣ «за успѣхи и благонравіе». Наконецъ, пріѣхала за ней сама Марья Петровна съ Пафнутьевной. Катя расцѣловала всѣхъ въ пансіонѣ, со слезами сожалѣнія, какъ будто она ѣхала въ свѣтлый міръ, а онѣ оставались здѣсь въ этомъ темномъ, душномъ пансіонѣ.

И дорогой, сидя въ тарантасикѣ, ей такъ было весело. Сытыя лошадки бѣжали, не торопясь. Свѣжій весенній воздухъ привѣтливо вѣялъ ей въ лицо. Ширь полей съ сѣрозелеными озимями развертывалась передъ ней и птички съ длинными хвостиками, плиски, грѣлись на солнышкѣ...

«Тамъ ждетъ меня настоящая жизнь и я буду дѣло дѣлать,» — думала она.

«Не возносись, не возгордись!»—вдругъ вспомнились ей строгія слова, и она тихо перекрестилась, оглянулась и горячо поцѣловала руку у своей дремлющей мамы-Маши.

VIII.

Широко распахнулъ передъ нею маленькій мельтюковскій мірокъ всѣ свои двери и принялъ какъ родную, но для него то она и была чужая...

На третій или четвертый день послѣ ея пріѣзда, утромъ, пришелъ мужичокъ изъ ближней деревни и привелъ съ собою двухъ дѣвочекъ, какъ собачекъ, для дѣвичьей Марьи Петровны. Одну изъ нихъ онъ продавалъ. Мужичокъ былъ веселый балагуръ. Онъ на всѣхъ смотрѣлъ открыто, добродушно, смѣющимися сѣрыми глазками.

— Какъ же это ты привелъ продавать ее?—ужаснулась Катя, смотря на худое, желтое личико дѣвочки, которая

стояла насупившись, прямо и неподвижно, какъ деревянный солдатикъ, и крѣпко прижимала сложенныя одна на другую худыя рученки къ тощему животу:

— А дляче не продать-то?—оправдывался мужичокъ.—Она сиротка, а твоя мамонька этимъ займуется... Ничего, купите, она смышлена така, хороша дѣвчоночка!..—И онъ провелъ своей шаршавой, жилистою рукой по ея головкѣ, покрытой обдерганнымъ полинялымъ платкомъ.—Сироточка она, слышь, у нашего Степана Кузьмина жила, да мать-то у него больно взъѣдлива. У-у, бѣда, какая лютая,—змѣя!.. Все ее треплетъ, кажиный день дѣвочку-то треплетъ, совсѣмъ забила.... Ну, барыня-то наша, какъ свѣдала про то, и говоритъ: возьми, говоритъ, Парменъ, сведи ее въ Мельтюковку въ Каргабаихѣ, авось купитъ, а я, батъ, всего десять цѣлковыхъ за нее положу,—такъ, молъ, задаромъ отдамъ!—и мужичокъ махнулъ рукой...

— А энта,—продолжалъ онъ, указывая на другую дѣвочку, которая пряталась въ складкахъ его смураго кафтана, крѣпко ухватясь за нихъ одною рукою, а другую силясь затолкать въ ротъ,—энта изъ большой семьи... У насъ есть баба, Лебедиха прозывается, мужъ у ней лонесь померъ. У ней ихъ, дѣвокъ-то, семеро осталось, да трое парнишекъ, тожъ махоньки. Въ избѣ-то, знашь имъ и тѣсно... Ровно щенятки онѣ тамъ пищатъ, да ползаютъ... мать-то совсѣмъ замаяли... Энту, вотъ она сама, мать-то, просила отдать въ люди. Примите Христа-ради!—и онъ низко поклонился.—Она славна дѣвчоночка, весела така, да шустра!—И онъ погладилъ и эту дѣвочку по длиннымъ и бѣлымъ, какъ ленъ, волосамъ, а она еще больше отодвинулась назадъ и сильнѣе засосала свою рученку, косясь на всѣхъ веселыми глазками и улыбаясь.

Марья Петровна уже года три какъ не покупала и не принимала къ себѣ никакихъ дѣвушекъ. Но въ послѣднее

время помѣщицы, заслышавъ, что скоро всѣмъ «этимъ» вольная выйдетъ, по старой памяти снова стали обращаться къ ней, стараясь сбыть свой товаръ, а Пафнутьевна спроваживала этотъ товаръ, не торгуясь.

— И такъ полна дѣвичья этой дряни, прости Господи!— ворчала она.—Только жрутъ, какъ собаки, да съ жиру бѣсятся!...

И на этотъ разъ она хотѣла пугнуть порядкомъ мужичка, приведшаго дѣвочекъ, но Катя вмѣшалась.

— Это онъ на мое счастье, няня, привелъ!—объяснила она.

Анна Гавриловна также подтвердила и Пафнутьевна махнула рукой. Дѣвочекъ взяли.

Одну, сиротку, звали Варей, а другую—Лизой. Катя ихъ обѣихъ обласкала и пріютила у себя въ комнатѣ. Могла ли она замѣнить имъ мать, семью, или нѣтъ, объ этомъ она не думала. «Воспитать, выучить ихъ, вотъ мое дѣло!»—думала она.

А другое «ея дѣло» было тамъ, въ этихъ сѣренькихъ покривившихся избушкахъ и грязныхъ дворикахъ. Тамъ всѣ встрѣчали ее привѣтливо, хотя и не всегда искренно.

— Жалость ты наша!—говорили ей бабы и дарили ее всякою дрянью, которая казалась имъ дорогой, потому что была имъ необходима.

А она лѣчила ихъ, и ребятъ ихъ, чѣмъ и какъ могла, вкривь и вкось, по старому, еще отъ Катерины Степановны оставшемуся, лѣчебнику. И видѣла она, что нерѣдко одно и то же лѣкарство принимали они отъ разныхъ болѣзней и выздоравливали. Видѣла она также, что и простая сахарная вода вылѣчивала, а иногда и наговоры знахарки изъ ближней деревни помогали.

Но тяжело было ей, когда всѣ наговоры, ея уходъ и лѣкарства оказывались безсильными, когда болѣзнь сламы-

вала наконецъ чахоточнаго или золотушнаго ребенка и онъ, захлебываясь, умиралъ на рукахъ плачущей и тихо голосившей надъ нимъ матери. Слезы тогда душили Катю и вдругъ прорывались истерическимъ плачемъ. Падала она на колѣни передъ горюющей матерью и, припавъ лицомъ къ ея грязному, вонючему сарафану, долго рыдала.

— А ты не плачь, жалостливая!—утѣшала ее сама мать.— Такъ ужъ значитъ должно ему помереть-то, Васюткѣ-то моему!

— Да, видно, во всемъ Его воля неисповѣдимая!— успокоивалась Катя, и грустная, заплаканная возвращалась домой, а дома приставала къ ней Пафнутьевна.

— Что это ты все, матушка, по избамъ-то шляешься!... Твое ли это дѣло? Опаршивѣешь ты съ ними, обовшивѣешь!.. Вѣдь мужики они!

И тотчасъ же, чтобы смягчить попрекъ, задабривала ее:

— На-ко, съѣшь лучше сдобнушечку,—сама пекла: сласть хороша!...

Но Катя упорно отказывалась.

— И-и, Господь съ тобой,—махнула рукой Пафнутьевна,— Христова рогулька несъѣдущая!

И всего тяжелѣе были для Кати тѣ минуты, когда она ясно сознавала, что она чужая этому міру, что всѣ эти люди не только одѣвались, говорили, жили, но и думали и чувствовали совершенно иначе, чѣмъ она,—по своему.

И чѣмъ больше старалась она сблизиться съ этимъ міромъ, вглядѣться въ него, тѣмъ болѣе онъ казался ей непонятнымъ. Повидимому, простой, грубый, онъ поражалъ сложностью своихъ отношеній, множествомъ мелочей, которыя переплетались между собою, какъ петли какой-то крѣпкой, суровой сѣти. Бывало, подаритъ она какой-нибудь убогой бабѣ платокъ или серьги, и баба носъ подниметъ, и всѣ

другія взъѣдятся на нее. «Вотъ я и посѣяла во всѣхъ зависть»,—думаетъ Катя.

Выпроситъ она у Марьи Петровны какому нибудь мужичку, Дормидону Безродному, лѣсу на избенку, и Марья Петровна велитъ дать лѣсу, къ крайнему неудовольствію бурмистра, который клянется передъ ней, распинается, что Дормидонъ—мужикъ нестоющій. И вотъ въ первое же воскресенье этотъ Дормидонъ нестоющій дѣйствительно лѣсъ пропьетъ и, встрѣтясь съ Катей, пошатываясь и покачиваясь, низко ей кланяется и что-то лепечетъ пьянымъ языкомъ, такъ что и разобрать нельзя. А всѣ на сходкѣ накинутся на этого Дормидона нестоющаго и учинятъ ему какую-нибудь пакость.

Приводилось Катѣ и на этихъ мірскихъ сходкахъ бывать. Но на нихъ она ровно ничего не поняла. О чемъ-то шумятъ, кричатъ, чуть не дерутся. И только вдолгѣ потомъ растолковали ей, что такое значитъ міроѣдъ для цѣлой деревни. И поняла она, что одни изъ всѣхъ силъ стараются разбогатѣть, а другіе бьются изъ послѣднихъ силъ и не могутъ осилить своей безталанной жизни. «У имущаго отнимется и отдастся неимущему»,—припомнилось ей. «И вездѣ эта борьба бѣднаго съ богатымъ, слабаго съ сильнымъ. Куда ведетъ эта борьба?..» Но до этого она не могла додуматься.

Иногда входила она въ задорную, крикливую семью, въ которой цѣлый день-деньской бабы звенѣли на всѣ голоса, такъ что хоть всѣхъ святыхъ вонъ понеси. Съ миромъ въ сердцѣ и съ желаніемъ мира входила она въ эту семью, заранѣе радуясь и тихо, внутренно повторяя: «Блаженни миротворцы...» Но съ первыхъ же словъ ея подымался и крикъ, и вопль, и дымъ коромысломъ, и бабы, сцѣпившись, съ воемъ бѣжали къ бурмистру Михѣичу за разборомъ, и Михѣичъ разбиралъ ихъ и умиротворялъ живо и просто—крѣпкимъ словомъ, да подожкомъ калиновымъ.

Принималась она было учить грамотѣ юную мельтюковщину и даже завела что-то въ родѣ школы, но вышла изъ этой школы какая-то сумятица непроходимая. Мальчишки на учительницѣ чуть верхомъ не ѣздили, такъ что она отъ нихъ бѣгала, а дѣвчонки сами отъ нея бѣгали. Иногда ей приводилось слышать, какъ мать гоняла своихъ дѣтей въ школу: «ступай, паскудникъ или паскудница! Что нейдешь? Ишь барышня добрая... побаловаться съ тобой хочетъ... Не съѣстъ, не побьетъ, азамъ тебя выучитъ».

Впрочемъ, разсказы ея они слушали съ охотой, только мало понимали. Нерѣдко она останавливалась среди разсказа: «Зачѣмъ это я имъ толкую?»—думала она.

Случилось разъ ей разсуждать съ грамотнымъ, сѣдымъ старикомъ о грамотности.

— На что намъ она, эта грамота?—говорилъ онъ.—Не учонъ—не грѣшонъ, это я по себѣ знаю. Церковныя книги попъ должонъ вѣдать, приказны крючки — писарь, затѣмъ онъ и писарь прозывается, а тамъ все, выходитъ, прочее—одно баловство и грѣшное дѣло!

И Катя напрасно старалась убѣждать его, что ученье—свѣтъ, а неученье—тьма. Старикъ только усмѣхался снисходительно на ея доводы, а другіе мужички одобряли его.

— Знамо дѣло,—говорили они, — все это ученье бары завели!

Разъ ей вдругъ пришло въ голову отпустить ихъ всѣхъ на волю, такъ что Пафнутьевна ахнула и перекрестилась, а Марья Петровна при этомъ желаніи ухмыльнулась.

— Погоди немного,—сказала она,—вонъ, говорятъ, въ будущемъ году и такъ имъ всѣмъ воля выйдетъ. Мнѣ только бы дожить свой вѣкъ какъ нибудь, — добавила она, какъ будто про себя, — а у тебя деньги есть!.. Да вѣдь, чай, не все же отнимутъ у насъ? По міру не пустятъ!

Когда же Катя заговорила о вольной съ мужичками,

то всѣ они рты разинули и чуть не въ одинъ голосъ заголосили:

— А къ какому лѣшему намъ воля-то?.. Притиснутъ насъ съ вольной-то, это ужъ знамо дѣло!.. Мы и такъ довольны Марьей Петровной, не обижатъ она насъ, и Митріемъ Михѣичемъ довольны, онъ у насъ выборный!

И, дѣйствительно, они были довольны. Бойкій, дѣловой умъ Катерины Степановны укрѣпилъ хозяйство не только свое, но и крестьянское, такъ что не могли разорить его бурмистры ставленные, а тѣмъ болѣе выборные, при доброй барынѣ Марьѣ Петровнѣ, которая почти не вмѣшивалась въ хозяйство. Управлялось оно какъ-то само собой, да Анной Гавриловной съ Пафнутьевной, вѣдавшей все досконально, что дѣлалось въ деревнѣ и что дѣлалъ бурмистръ Михѣичъ. Правда, при такихъ порядкахъ ничто не шло впередъ, и Марья Петровна получала очень мало, но она не горевала и никому на то не жаловалась.

И стоялъ этотъ мірокъ въ своемъ глубокомъ мракѣ, никуда не стремясь и не порываясь. И неизмѣнно тяготѣли надъ нимъ міровые законы. Нарождались и умирали въ немъ люди въ какой-то постоянной, точно заколдованной, пропорціи. И женились, и разорялись, и богатѣли эти люди, какъ и вездѣ, повинуясь все тому же неизвѣстному, но роковому, математическому закону.

«Стало быть, они счастливы? — думала Катя.—Они довольны своимъ малымъ. Они счастливы этою коснѣющею, полуживотною жизнью. Къ чему же имъ и грамота, и этотъ свѣтъ?!... И почему я не могу остановиться на такой же жизни?»

И видѣла она, что всѣ они заняты, всѣ дѣло дѣлаютъ, а лѣнивые, хоть и безъ дѣла, да живутъ, не скучая и даже припѣваючи. «Отчего же меня все тянетъ къ какому-то дѣлу?... И гдѣ оно, это мое дѣло?»

«Воспитать, выучить ихъ», — вспомнилось ей о Варѣ и Лизѣ. Она пожала плечами.—«Къ чему?.. Не ученъ—не грѣшонъ!.. Вѣдь и «эти» всѣ счастливы!—подумала она о дѣвичьей.—Да и они были также неученые—эти бѣдные, великіе рыбари галилейскіе!»—и она, опустивъ голову на руки, глубоко задумалась.

«Забыть все, разучиться — вотъ что надо сдѣлать,—рѣшила она, — а главное—ни о чемъ не думать и всѣхъ любить!» Но не могла она совладать съ ея постоянно куда-то влекущею думой, какъ не можетъ цвѣтокъ, завязавшись въ почку, не расцвѣсть или остановиться самъ въ своемъ цвѣтеньѣ до тѣхъ поръ, пока не созрѣютъ сѣмена въ его завязи.

И каждая вещь, каждый предметъ будили и увлекали ея мысль. Войдетъ ли она въ іюльскій знойный день въ боръ, что былъ передъ деревней, и каждая травка, каждый цвѣтокъ, дерево растутъ передъ нею таинственно, какъ будто зная свое дѣло и не сказывая о немъ никому. И невольно задумается она надъ этимъ невѣдомымъ дѣломъ.

Разъ она получила высланныя ей изъ Москвы книги, и какой праздникъ былъ для нея, когда Егоръ Мухояровъ привезъ изъ города тючекъ съ этими книгами!

Всѣ, вся дѣвичья и Пафнутьевна дивились, чему она такъ радуется.

— Что въ учености? — сказала при этомъ Марья Петровна.—Я вѣкъ безъ ученья прожила. Какъ ни мудри, а выше Бога не будешь, и все—суета!...

Но Катя вся отдалась чтенію этихъ новинокъ, и въ первый разъ книги освѣтили окружавшія ее потемки, хотя и немного тусклымъ, блѣднымъ свѣтомъ. Въ первый разъ она почувствовала ту сладость свободы, которую ведетъ за собой знаніе. И еще больше потянуло ее къ неизсякаемому источнику свѣта.

Часто задумывалась она, стоя надъ прудомъ, въ тихій, жаркій полдень: «Что дѣлается тамъ?» Что-то странное гнѣздилось въ этой влажной, прозрачной глубинѣ, на этомъ днѣ глубокомъ и темномъ. Отъ зеленыхъ травъ поднимались постоянно кверху серебристые пузырьки; между ними мелькали какія-то темныя маленькія созданьица; водяной паукъ поднимался на поверхность; піявки извивались между лѣсомъ травъ. Порой стая рыбокъ приплывала къ берегу, мѣрно помахимая плавничками и быстро жуя маленькими ртами. Всѣ онѣ смотрѣли во всѣ большіе, открытые глаза, какъ будто спрашивая: «нѣтъ ли чего поѣсть?». Катю тянуло въ это прозрачное рыбье царство, отъ котораго такъ пахло хорошо, какъ будто сырымъ бѣльемъ, и она шла къ тому мѣсту, гдѣ прямо и далеко надъ прудомъ нависъ толстый стволъ ивы. Она быстро сбрасывала съ себя все на этотъ стволъ, стыдливо оглядываясь кругомъ, и весело бросалась въ свѣжую, нѣжащую, едва нагрѣтую, воду. Долго она собирала и разсматривала и травы, и всякихъ водяныхъ червячковъ и улитокъ, пока холодъ не пронималъ ее. Разъ она отправилась купаться съ двумя дѣвушками, которыя достали на деревнѣ что-то въ родѣ наметки, да захватили съ собой большую банку. Съ визгомъ и хохотомъ набрали онѣ въ банку всякой «водяной гадины». Жучки, червячки, улитки и травы жили у Кати въ этой банкѣ нѣсколько дней. Но многихъ червячковъ и улитокъ поѣли жуки.

«И на землѣ, и подъ водой все одно и то же,—думала Катя:—вездѣ борьба, вездѣ сильные и слабые. Видно, самая жизнь есть борьба, часто невидимая, неслышная, а все-таки борьба!.. Отчего же нѣтъ этой борьбы въ моей жизни? Да развѣ я не воюю съ няней?—усмѣхнулась она.—Да и зачѣмъ мнѣ эта борьба? Точно я какой-нибудь Донъ-Кихотъ Ламанчскій!...»

Она не сознавала постоянной внутренней борьбы съ самой собою. Она привыкла къ ней.

«Развѣ уйти туда, — думала она, — вонъ изъ этого тревожнаго, борющагося міра, въ мирный пріютъ, въ уютную келью и все время жить тихой, сладкой молитвой?» И она молилась чуть ли не по цѣлымъ ночамъ и ходила тихо, съ спокойною улыбкой и грустною, восторженною думой.

А Пафнутьевна съ Анной Гавриловной взапуски гадали на картахъ и все пророчили ей трефоваго короля.

IX.

Настали новые порядки. Тѣ же самые мужички, которые прежде кричали: «а къ какому лѣшему намъ воля?» — теперь уцѣпились за эту волю и грызлись за каждый клочокъ земли; но, благодаря Пафнутьевнѣ и Михѣичу, Марья Петровна все устроила на новомъ положеніи довольно легко и даже удобно. И все пошло по-старому, какъ будто никакой перемѣны вовсе не произошло. Поволновалась только, да и то немного, одна Анна Гавриловна и за свои, и за чужія дѣла. Она всѣмъ разсказывала, что гдѣ-то появилось знаменіе—звѣзда съ кольцомъ.

И Катя жила прежнею жизнью. Порой пріѣзжали къ ней въ гости двѣ барышни, которыя постоянно хихикали, всему удивлялись и болтали очень мило всякій вздоръ. Катя бывала очень рада, когда онѣ уѣзжали. Пріѣзжалъ также въ Мельтюковку молодой помѣщикъ, лѣтъ двадцати восьми, по фамиліи Талыгинъ, и Катя была всегда рада его пріѣзду. Въ ея представленіи онъ былъ синонимъ книги, потому ли, что онъ всегда привозилъ ей книги, или потому, что часто прямо и просто она обращалась къ нему, какъ къ живой книгѣ, съ какимъ-нибудь вопросомъ, кото-

рый волновалъ ее. И Талыгинъ отвѣчалъ ей просто и умно, какъ можетъ отвѣчать не всякая книга. Но нерѣдко онъ уклонялся отъ отвѣта. «Пусть сама дойдетъ своей умной головкой и выходитъ на новую дорогу»,—думалъ онъ. Ему интересно было наблюдать, какъ складывался въ этой головкѣ совершенно своеобразно бойкій и оригинальный взглядъ. До основныхъ ея убѣжденій онъ не касался. «Ихъ нельзя ломать,—думалъ онъ,—ихъ надо перерасти».

Заѣхавъ разъ случайно въ Мельтюковку по поводу порученія его матери, онъ потомъ въ продолженіе цѣлаго года заѣзжалъ туда каждый разъ, когда случалось ему проѣзжать мимо въ городъ. И все болѣе нравилась ему эта, какъ ему казалось, необыкновенная дѣвушка. «У нея каждое слово,—думалъ онъ,—идетъ прямо отъ сердца, и смотритъ она такъ просто, довѣрчиво въ твои глаза съ постоянною думой или тихимъ восторгомъ». И онъ не разъ мечталъ, какъ хорошо бы было идти съ нею рука объ руку въ жизни. Нѣсколько разъ онъ готовъ былъ просить у нея эту руку, руку участія, того согрѣвающаго участія, которое невольно ищетъ человѣкъ, даже самый сухой и холодный, въ извѣстную пору жизни. «Мнѣ нуженъ не столько умъ ея, — думалъ онъ,—какъ это постоянное стремленіе, эта страстность, скрытная и могучая, которая вызываетъ всегда новую мысль, а за ней и новое дѣло».

И онъ готовъ былъ открыть передъ нею свое сердце и высказать ей о томъ, что̀ давно, тихо, но сильно горѣло въ этомъ сердцѣ. Да какъ-то случая не подвертывалось. Дѣла и дѣла, работа постоянная и безостановочная, которой онъ отдавалъ всѣ свои силы и время, не давали ему отдыха. «Кончу только съ этимъ, — думалъ онъ, — и буду свободенъ». Но кончалъ онъ съ этимъ, являлось другое и, вздохнувъ, онъ откладывалъ рѣшительную минуту, которой хотѣлъ отдаться весь, безраздѣльно и безотчетно. «Но, мо-

жетъ быть, она не любитъ и никогда не полюбитъ меня?— спрашивалъ онъ.—Любовь женщины—странное, капризное чувство!» И сердце его сжималось при этомъ вопросѣ. «Нѣтъ, не можетъ быть,—утѣшалъ онъ себя, — не можетъ это любящее, довѣрчивое сердце не откликнуться на призывъ другого, которое готово любить такъ сильно, глубоко... Чувство дремлетъ у нея, потому что голова работаетъ, но оно проснется, и тогда...»

А она, дѣйствительно, не думала о немъ, да и ни о комъ не думала. Притомъ и на трефоваго короля онъ вовсе не походилъ. Это былъ блондинъ, довольно высокаго роста, хорошо, крѣпко сложенный, съ лицомъ, слегка загорѣлымъ и мало подвижнымъ, высокимъ и крутымъ лбомъ, на который свѣшивались его, довольно длинные и немного волнистые, волосы, съ большими, задумчивыми свѣтло-голубыми глазами, надъ которыми выступали рѣзко очерченными выпуклостями надбровныя дуги, съ полными, слегка выдающимися, губами и немного впавшими, но румяными щеками, изъ которыхъ на правой была небольшая, густо покрытая волосами, родинка. Не смотря на его постоянную живость, а можетъ быть, вслѣдствіе этой именно постоянной живости, онъ почти никогда не пылилъ, а въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда былъ сильно взволнованъ или огорченъ, онъ только приподнималъ брови, становился грустнымъ, какъ будто уходилъ въ себя, и когда при этомъ все дрожало внутри его, сильное соображеніе его еще болѣе прояснялось, и смѣлая дума работала еще быстрѣе, какъ будто все волненіе уходило въ нее.

Разъ онъ пріѣхалъ въ Мельтюковку грустный и пробылъ тамъ не болѣе четверти часа. Передалъ вѣсть о смерти его отца, котораго нѣсколько разъ видѣла Марья Петровна еще въ дѣвушкахъ у своей матери, погладилъ какъ-то разсѣянно по головкѣ Лизу, которая при этомъ засмѣялась, а потомъ

уѣхалъ и пропалъ. Прошелъ мѣсяцъ, другой, третій. Талыгинъ не являлся. Катя не знала, что придумать, и скучала. Она давно прочла и перечитала книги, которыя онъ привезъ. Отъ скуки она принималась за музыку. Марья Петровна черезъ одного знакомаго выписала для нея изъ Москвы довольно хорошій деми-рояль Мейбома. Но звуки, вмѣсто того, чтобъ отвлечь ее отъ думъ, напротивъ, будили ихъ, какъ будто трогая въ мозгу ея какія-то невидимыя клавиши. «Опять эти вопросы,—думала она, проводя рукой по лбу.—Не знаю, куда дѣваться отъ нихъ... А онъ все не ѣдетъ!»

Она подходила къ окну. Широкій дворъ, занесенный снѣгомъ, а за нимъ поле съ укатанною дорожкой манили ее, тянули въ даль. «Поѣхать, развѣ, прокатиться,—придумывала она,—головѣ будетъ легче!» И черезъ полчаса она уже выѣзжала со двора съ двумя дѣвушками въ широкихъ саняхъ.

— Скорѣе, скорѣе, Егоръ!—погоняла она.

И Егоръ Мухояровъ, хотя и трусилъ, но погонялъ. Санки летѣли и ныряли въ ухабахъ. Дѣвушки взвизгивали и хохотали. Но послѣ этого катанья Катѣ становилось еще болѣе тяжело и за что-то досадно на себя.

— Катя, что ты ходишь какая хмурая? — допрашивала ее Марья Петровна.—Не хочешь ли ты въ городъ съѣздить? Теперь, слышь, балы начались, я тебя къ Лектеевымъ свезу.

Но она упорно качала головкой. Она во всю жизнь была только всего на одномъ балу. Скучно, дико и безалаберно показалось ей все на этомъ балу. Зала, сверкавшая огнями, какой-то раздражающій, наводящій истому ароматъ и волнующая, куда-то влекущая музыка; голыя руки, обнаженныя плечи, бурно колыхавшіяся груди и блестящіе, пьяные глаза; эти мужчины, которые смотрятъ какъ-то странно и такъ крѣпко обхватываютъ тебя и гово-

рятъ все какой-то вздоръ... Все это обаяніе замаскированнаго сладострастія оттолкнуло ее. И какъ-то странно вдругъ вспомнился ей тотъ буйный пиръ, на который разъ привелъ ее маленькую пьяный Левъ Никитичъ. «Точно они всѣ пьяные на этомъ балу» — подумала она и упросила, чтобъ увезли ее домой. А балъ только-что началъ разгораться, всѣ барышни развернулись, глаза ихъ томно блестѣли, всѣмъ было весело...

X.

Пришелъ и прошелъ день рожденія Кати. Минуло ей девятнадцать лѣтъ. Къ этому дню всѣ дѣвушки на перерывъ торопились и въ одинъ день смастерили ей бѣлое кисейное платье съ прошивками. Въ этомъ платьѣ ей показалось еще скучнѣе. Слезы навертывались у нея на глаза.

— А ты не ходи этакой печальной,—предостерегала ее Пафнутьевна.—Цѣлый годъ будешь горевать!

«Онѣ всѣ и всѣмъ довольны,—думала она, — мнѣ надо надѣть ихъ платье.. Ахъ, еслибы можно было помѣняться съ ними и головой, и сердцемъ!..»

Пришли святки. Насталъ вечеръ крещенскаго сочельника. Всѣхъ одолѣвало неудержимое веселье.

«Надо попасть въ этотъ тонъ, думала Катя, настроить себя, какъ фортепіано. Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ у человѣка настолько силъ, чтобъ вести за собою свои чувства, а не идти туда, куда они ведутъ его?..»

И она съ принужденной, деревянной улыбкой вошла въ дѣвичью, откуда раздавались веселый говоръ и смѣхъ, и пѣсни.

Эта дѣвичья была самая большая комната во всемъ домѣ. Ее устроила Екатерина Степановна и при ней въ этой ком-

натѣ былъ цѣлый заводъ или фабрика. Тутъ стояли станы, ткались полотна и даже цвѣтныя салфетки; тутъ болѣе дюжины взрослыхъ дѣвушекъ и подросточковъ шили и вышивали на всѣ манеры: гладью, шелками, бисеромъ, синелью и золотомъ, по картѣ и глазету, для церкви Божіей.

Теперь дѣвичья опустѣла. Вмѣсто становъ, тамъ стояли сундуки, сундучки и коробки, по величинѣ которыхъ можно было судить о количествѣ способностей захватыванія ихъ владѣтельницъ.

Въ ту минуту, когда Катя вошла въ дѣвичью, ихъ, этихъ владѣтельницъ, на-лицо было четыре; остальныя двѣ бѣгали гдѣ-то по деревнѣ. Тутъ была высокая, съ строгимъ лицомъ, уже пожилая, брюнетка Таня, которая считалась старшей въ дѣвичьей. Была блѣдная, толстогубая, бѣловолосая, вся покрытая веснушками, Ѳеня — вялое, глупое, но доброе существо; была красавица Параня, съ большими свѣтлоголубыми, блестящими глазами, круглымъ лицомъ, съ тонкими подвижными чертами. Глядя на это нѣжное лицо, можно было повѣрить разсказамъ Анны Гавриловны, что Параня не чистой холопской крови. Наконецъ, здѣсь же, облокотясь на столъ, стояла юркая, востроносая юла, Даша. Во всемъ этомъ собраніи предсѣдательствовала Пафнутьевна на высокомъ плетеномъ стулѣ, повязанная, по обыкновенію, темнымъ платкомъ съ длинными, выпущенными напереди, концами, которые торчали, какъ рога. Она вязала неизмѣнный шерстяной чулокъ толстыми спицами, которыя блестѣли въ ея костлявыхъ рукахъ, какъ стальные шпицрутены. Смолоду она была красавица и даже была героиней романа, но теперь отъ прежней красоты остались у нея только черныя густыя брови дугами. Зорко и гордо озирала она всѣхъ изъ-подъ этихъ бровей небольшими карими глазами и постоянно ужимала тонкія губы, какъ будто что-то жевала беззубымъ ртомъ. На колѣняхъ у нея дремалъ коварный

другъ ея—толстый, сѣрый Васька и мурлыкалъ сквозь сонъ въ знакъ полнаго довольства и собой, и судьбой.

Въ то время, когда вошла Катя, Пафнутьевна, положивъ чулокъ на Ваську, ставила обѣими руками на столъ, покрытую платкомъ, деревянную чашку. Въ чашкѣ лежали кольца.

— Барышня, матушка,—начала просить гнусливымъ голосомъ Ѳеня,—положите и ваше колечко!

— Развѣ барышня носитъ кольца?—останавливаетъ ее строго Пафнутьевна.—Окрестись, Ѳефела!

Катя, дѣйствительно, не носила ни колецъ, ни серегъ. Она сняла ихъ еще въ пансіонѣ, «чтобы не походить, какъ она объясняла, на дикую индѣйку». Задумавшись, тихо подошла она къ окну, сквозь которое, вся проникнутая сіяніемъ мѣсяца, блестѣла ясная, морозная ночь. Таинственнымъ, фосфорическимъ свѣтомъ свѣтились снѣжныя поляны и манили на ихъ широкій просторъ.

— Даша,—сказала Катя,—пойдемъ, погуляемъ въ полѣ!

— Пойдемте, барышня!—обрадовалась Даша.—Послушаемте, авось что-нибудь услышимъ...

И тотчасъ же она бѣгомъ принесла и накинула на Катю лисью шубку, а на голову платокъ. И сама покрылась платкомъ, а въ рукава на ходу натянула замасленный полушубокъ.

И онѣ вышли на чистый, сухой, морозный воздухъ, который жегъ и сдавливалъ грудь. Быстро, по скрипучему снѣгу, прошли онѣ черезъ калитку въ открытое поле, и весь просторъ торжественной сіяющей ночи обхватилъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Мѣсяцъ свѣтилъ ясно, открыто, съ недосягаемой вышины. Отъ блеска снѣгу и всѣхъ, освѣщенныхъ тысячами отсвѣтовъ, предметовъ края неба какъ будто ушли вдаль и потонули въ темно-синихъ потемкахъ. Ни шороха, ни звука. Все какъ будто застыло и спитъ мерт-

вымъ сномъ среди этой замерзшей ночи, освѣщенной не живымъ, далекимъ, не грѣющимъ свѣтомъ.

— Пойдемте, барышня, туда, къ амбарамъ,—шепчетъ Даша.—Тамъ лучше слушать.

Но барышня ничего не слышитъ. Ея грудь тихо и высоко подымается подъ тяжелой неразрѣшимой думой. Теплый паръ, какъ серебристое облачко, вьется отъ горячаго дыханія надъ ея головкой. И чудится ей, что есть какая-то тайна и какая-то разгадка въ этой спокойной, необъятной и непостижимой ночи, что въ ней другой міръ, совсѣмъ не тотъ, что въ этомъ маленькомъ людскомъ мірѣ, гдѣ она была сейчасъ, въ этомъ глупомъ гаданьѣ и смѣхѣ.

Но гдѣ же этотъ міръ и что ей нужно въ немъ?

«Превратиться въ эту блестящую снѣжинку, — думаетъ она,—что блеститъ, какъ брилліантъ, въ сіяніи мѣсяца, и тогда все узнаешь, потому что не будешь чужая этому міру. А можетъ-быть, ты и есть эта снѣжинка, никому ненужная въ этомъ громадномъ мірѣ. Говорятъ: «люби и терпи»; но зачѣмъ, кого?.. Ахъ, я чувствую, что могу любить всѣ эти брилліанты, разбросанные миріадами по снѣгу, и этотъ темный, задумчивый лѣсъ, и этотъ далекій, блестящій мѣсяцъ, и это небо, и звѣзды на немъ. Но все это—чужое, все недоступное намъ».

И у нея еще тѣснѣе становится дыханіе въ груди, правая бровь угрюмѣе сдвигается съ лѣвой, на горячихъ, блестящихъ глазахъ выступаютъ слезинки, а мѣсяцъ играетъ въ нихъ своимъ блѣднымъ, серебрянымъ свѣтомъ.

— Барышня, пойдемте,—шепчетъ промерзлая Даша, перебираясь съ ноги на ногу.—Чай, ужъ у насъ всѣ полегли спать и барыня давно ждутъ васъ.

Но вдали показывается черная точка и, рѣзко выдѣляясь на сверкающихъ бѣлыхъ полянахъ, медленно приближается къ нимъ. Больше, яснѣе раздвигается этотъ пред-

метъ. Кто-то ѣдетъ по глянцевито-блестящей дорогѣ. Вотъ уже можно различить и заиндевѣвшую лошадку, бѣгущую мелкими шажками, и паръ, клубящійся около ея косматой морды, и маленькую, откинутую назадъ, дугу, надъ ея опущенной внизъ и вытянутой шеей.

— Спросимте, барышня, какъ зовутъ! — подсказываетъ Даша.

И вотъ приближаются санки-розвальни. На передкѣ, выставивъ прямо, торчкомъ, большія ноги въ лаптяхъ, сидитъ-дремлетъ въ бѣломъ, обдерганномъ полушубкѣ, весь закуржевѣлый отъ морозу, мужичокъ и большая его шапка-малахай свѣсилась вмѣстѣ съ головой на грудь.

— Спросите, барышня!—торопитъ нетерпѣливая Даша.

Санки равняются съ ними и, визжа полозьями, проѣзжаютъ мимо.

Ясно разглядѣли и барышня, и Даша: стоитъ на санкахъ длинный, темный гробъ и сидитъ-дремлетъ мужичокъ на этомъ гробу.

Даша, раскрывъ ротъ, точно застыла и примерзла къ землѣ.

— Вѣрно въ Вознесенское везетъ хоронить завтра!— прошептала она дрожащими губами, перекрестясь большимъ крестомъ —«Ишь угораздило! Не могъ раньше проѣхать!» сообразила она.

А Катя молча оглянулась на нее и, тоже перекрестясь, улыбнулась сквозь слезинки. «Тамъ,—подумала она,—разгадка всему. Тамъ—въ другой жизни!...» Она посмотрѣла на темное небо, на сіяющій мѣсяцъ, оглянулась еще разъ на всю роскошь нѣмой и таинственной картины и, опустивъ голову, тихо пошла домой, къ полному удовольствію Даши. Въ домѣ, дѣйствительно, почти всѣ уже спали. Передъ маленькимъ образомъ въ теплой комнаткѣ Кати тихо теплилась лампадка, зажженная Пафнутьевной.

XI.

На другой день солнце еще низко стояло надъ Мельтюковкой, краснѣя сквозь густой дымъ, который валилъ изъ трубъ почти всѣхъ избъ, а многіе мужички уже отправились на Іордань. Черезъ часъ и Марья Петровна, укутанная такъ, что только одни ея глаза были видны, съ Катей и Анной Гавриловной также отправились въ широкихъ, крытыхъ большимъ ковромъ саняхъ, въ ближнюю церковь, въ ту самую, гдѣ слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, она въ первый разъ увидала Льва Никитича. Позади саней ѣхали пошевни съ Пафнутьевной, Таней и Дашей.

Глубокое, восторженное смиреніе, свѣтлое и радостное, вполнѣ гармонировавшее съ свѣтлымъ, яснымъ утромъ, царило въ сердцѣ Кати. «Что-жъ,—думала она,—все это такъ и должно быть: великое и здѣсь недоступное откроется тамъ, въ этомъ невѣдомомъ мірѣ, къ которому идетъ мостъ черезъ широкое человѣчное чувство, возвѣщенное людямъ Бого-человѣкомъ». И она всѣмъ трепетнымъ сердцемъ молилась въ убогой, темной и холодной церкви, прося, «да обновится, возродится каждый человѣкъ новымъ крещеніемъ и да отлетитъ онъ него все темное, гнетущее его!»

Вернулись отъ обѣдни, и въ маленькомъ мельтюковскомъ домѣ водворилась праздничная, томительная тишина. Дѣвушки присмирѣли. Пафнутьевна ходила, крадучись, въ новомъ шумящемъ ситцевомъ платьѣ, на всѣхъ смотрѣла угрюмо, что-то шептала и слизывала бѣлымъ языкомъ со сморщенной ладони крошки просфоры. Варя съ Лизой, тоже въ новыхъ платьицахъ, ходили степенно, точно большія, и говорили шопотомъ. Даже Анна Гавриловна примолкла. Только въ столовой, въ облакахъ пара, шумѣлъ большой,

свѣтло-вычищенный, точно праздничный, самоваръ, вокругъ котораго сидѣли Марья Петровна, Катя, Анна Гавриловна и пили чай. Вдругъ среди общей тишины, гдѣ-то въ морозной дали, чуть слышно звякнулъ колокольчикъ, еще и еще разъ, рѣзче и громче, и вотъ зазвенѣлъ въ деревнѣ (всѣ насторожили слухъ), ближе и ближе, раздался, наконецъ, и на господскомъ дворѣ и съ шумомъ подкатили сани на тройкѣ подъ маленькое крылечко мельтюковскаго домика, устланное чистыми половиками. Не успѣли еще остановиться сани, какъ изъ дѣвичьей стремглавъ летѣли въ прихожую, фыркая и толкаясь, почти всѣ дѣвушки.

— Дмитрій Павлычъ пріѣхалъ! — прокричала на бѣгу Даша.

— Зачѣмъ же всѣ?—замѣтила Марья Петровна. Но всѣ уже были въ передней, куда быстро, порывисто вошелъ Талыгинъ. Онъ ловко сбросилъ оленій ергакъ, снялъ шапку изъ крымскихъ смушекъ и, развязывая шарфъ, остановился на порогѣ столовой.

— Пустятъ погрѣться или нѣтъ?—спросилъ онъ звучнымъ веселымъ голосомъ.

— Нѣтъ, не пустятъ, проѣзжайте дальше!—проговорила, вся просіявшая и покраснѣвшая, Катя.

— Ну, такъ я и безъ позволенья войду!—И онъ сбросилъ шарфъ, мѣховые сапоги и, обтирая короткіе свѣтлые усы и окладистую бородку бѣлымъ, какъ снѣгъ, платкомъ, потягиваясь и обдергивая свой толстый, сѣрый, клѣтчатый пиджакъ, вошелъ въ столовую.

— Здравствуйте. Какъ поживаете?—проговорилъ онъ.

Марья Петровна видимо оживилась и Анна Гавриловна тоже; даже Пафнутьевна расправила брови и, поклонясь Талыгину, улыбнулась какой-то кислой улыбкой. А Варя съ Лизой тотчасъ же подбѣжали къ нему и весело взяли его за руки.

— Что, юла?!—обратился онъ къ Лизѣ и схватилъ ее обѣими руками за головку,—хорошо ли прыгаешь?!

Лиза хихикала.

— А какое это на тебѣ платье!.. Какъ шумитъ оно!..

— Это ново...

— Изъ чего же сдѣлано оно... изъ рогожки?

— Это ситцево,—объяснила Варя.—И на мнѣ тако же!—Она съ важностью осмотрѣлась.

— А изъ чего же ситецъ дѣлается?

Дѣвочка задумалась.

— Гдѣ это вы пропали? Не случилось ли чего съ вами?—озабоченно спросила Марья Петровна.

— Дѣла, дѣла, дѣла!—продекламировалъ онъ, садясь на подставленный Таней стулъ и придвигаясь къ столу.

— Какъ сажа бѣла!—съострила Анна Гавриловна, поставивъ чайникъ на самоваръ, и сама засмѣялась своему лубку, такъ что задрожали ея толстыя губы, полныя щеки и двойной подбородокъ, а большіе глаза совсѣмъ закрылись.

— Вѣрно, опять новый заводъ какой-нибудь завели?—спросила Марья Петровна.

— Нѣтъ, со старыми едва могу справиться... Мошенничество, воровство, глупость, лѣнь, пьянство—чего хочешь, того просишь!

— Охота вамъ...

— Охота пуще неволи!

Катя подала ему большой стаканъ чаю. Анна Гавриловна пододвинула хлѣбницу, полную сухариковъ и кренделькова.

— Ну, а вы какъ поживаете?—обратился онъ къ Катѣ, быстро мѣшая чай ложечкой.

— Все хандритъ она,—пожаловалась Марья Петровна,—не знаю, что и дѣлать...

— Думаю, мама, а не хандрю!—оправдывалась Катя.

— Передъ новымъ годомъ вдругъ что выдумала!.. Нарядилась въ сарафанъ и голову платкомъ повязала... «Мама, говоритъ,—пусти меня туда, въ деревню, у меня будетъ тамъ дѣло. Мнѣ весело будетъ». И, вѣдь, знаете ли, не шутя пристала, плачетъ!..

Талыгинъ посмотрѣлъ на нее вопросительно, а она, не смотря ни на кого и слегка покраснѣвъ, молча наливала себѣ чай.

— А я вамъ привезъ, что вы просили,—сказалъ Талыганъ, вставая,—и еще, что вы не просили... Извините, что запоздалъ.—И онъ быстро, въ нѣсколько шаговъ, очутился въ передней, взялъ тамъ довольно большой свертокъ въ бумагѣ и, развязывая его на ходу, вошелъ опять въ столовую.

— Ды вы развѣ изъ города?—удивилась Марья Петровна.

— Изъ города... Вотъ вамъ соната Вебера, что вы просили, и соната Шумана, которую вы не просили...

— Какъ же это, мимо ѣхали и не заѣхали!—попрекала его Марья Петровна.

— Торопился, черезъ Тальги проѣхалъ... Вотъ вамъ книги.

— Ухъ!—ужаснулась Марья Петровна, взглянувъ на три большихъ тома,—И то она совсѣмъ зачиталась... Испортите вы ее у меня, Дмитрій Павлычъ!

— Или исправлю... Кто можетъ узнать нынче: кто изъ насъ порченый, кто правленый? («И то правда, — подумала Марья Петровна,—вотъ и ты смотришь такимъ добрымъ, а навѣрно тоже порченый»). Да и вы вѣдь отдавали же ее въ пансіонъ?—продолжалъ Талыгинъ.—Зачѣмъ?..

— Ну, да тамъ учили ее только необходимому. . А вѣдь это все ученость...

— Нѣтъ, и это необходимое... А вотъ вамъ то, что вы не просили,—обратился онъ снова къ Катѣ, которая уже съ жадностью перелистывала книги... И онъ подалъ ей Gereau: «Essai sur la morale et la réligion», а затѣмъ снова

сѣлъ на стулъ и принялся за чай, быстро обмакивая въ него сухарики и отправляя ихъ въ свой большой ротъ.

— Въ наше время, — заговорила Марья Петровна, — не знали этой учености.

— А когда же это было ваше время?—перебилъ Талыгинъ.—Вѣдь вамъ, я думаю, и сорока еще нѣтъ?

— Нѣтъ еще,—призналась стыдливо Марья Петровна и слегка покраснѣвъ, быстро замигала большими вѣками, полузакрывавшими ея добрые глаза.

— Ну, а какъ въ ваше время будетъ?—рѣзко обратился Талыгинъ къ Варѣ, которая вмѣстѣ съ Лизой стояла около Кати и обѣ заглядывали къ ней въ книгу (Варя потупилась, а Лиза захихикала). Тогда все будетъ одна ученость, не такъ ли?

— Антихристъ народится!—рѣшила Анна Гавриловна и махнула рукой.

— Да онъ уже народился—сообщилъ Талыгинъ такимъ рѣшительнымъ и серьезнымъ тономъ, что Анна Гавриловна ротъ разинула, а Марья Петровна съ недоумѣніемъ и ужасомъ посмотрѣла на всѣхъ.

— Въ землѣ полуденной, въ градѣ хананейскомъ Хаздраилѣ, еже есть древній Вавилонъ,—продолжалъ Талыгинъ тѣмъ же тономъ, допивая стаканъ. Анна Гавриловна, не закрывая рта, слушала его, какъ пророческую книгу. Марья Петровна посмотрѣла на нее, на него и слегка улыбнулась.

А Катя не слушала его. Въ головѣ ея, подъ наплывомъ радостнаго чувства и книгъ, которыя она перелистывала, волновались какіе-то клочки безсвязныхъ представленій и думъ.

«... Онъ пріѣхалъ, какъ я рада!.. Чему?.. А! «Третій крестовый походъ», не надо учености!.. Какъ ярко свѣтитъ солнце, такъ весело... «Тамъ все узнаешь... Темный

гробъ... Въ новомъ крещеніи...» И она боролась съ этимъ чувствомъ, которое тянуло ее къ книгамъ,—«вѣдь это грѣхъ?.. Не ученъ—не грѣшонъ!..»

— Катя, налей еще чаю Дмитрію Павлычу!—вызвала ее изъ думъ Марья Петровна.

— Мнѣ полстакана... Я пойду въ залу и покурю (Марья Петровна не могла выносить табачнаго дыму).

И, взявъ налитый стаканъ, онъ ушелъ въ залу. Тамъ, закуривъ папиросу, началъ онъ тихо ходить большими шагами, приподнимая кверху руки или быстро махая ими, какъ будто желая согрѣться этой гимнастикой. Подлѣ него съ обѣихъ сторонъ ходили Варя и Лиза. Первая дѣлала шаги съ припрыжкой, стараясь попасть съ нимъ въ ногу, другая передразнивала его, размахивая руками. Обѣ смѣялись.

«Сегодня кризисъ, рѣшительная минута... — думалъ Талыгинъ. — Кажется, я свободенъ на недѣлю, по крайней мѣрѣ. Выскажу ей все, и жизнь осложнится еще больше, но будетъ за то полна... Какъ она хороша въ этомъ бѣломъ платьѣ!..» Что-то промелькнуло въ его сердцѣ и мысль задернулась туманомъ... Онъ сильно взмахнулъ руками и потянулся.

— Катя, поди ты къ нему!—послала ее Марья Петровна.—Катя!...

— Что, мама?—И она очнулась отъ думъ и оторвалась отъ книгъ, встала и, перелистывая на ходу Жеро, вошла въ залу.

— Тетя Катя, мы съ Митръ Павлычемъ ходимъ!—доложила ей Лиза.

Катя окончательно оторвалась отъ книги. Талыгинъ остановился.

— Что это вы такъ давно не были, такъ мало привезли?—упрекнула она его.—Опять пропадете на нѣсколько мѣсяцевъ, и я останусь безъ книгъ... Когда вы къ намъ опять будете?

— «Это отъ васъ зависитъ», вдругъ захотѣлось сказать Талыгину и тутъ же высказать ей все... Но она не дала отвѣчать ему и снова продолжала:

— Впрочемъ, я даже боюсь и эти книги читать... Я теперь вообще боюсь книгъ... Къ чему быть книжникомъ? Вѣдь это грѣшно!...

Талыгинъ пожалъ плечами. Онъ вообще не любилъ, когда она въ разговорѣ ставила его на эту почву.

«Опять она примется все раздѣлять на «одесную» и «ошую», — подумалъ онъ. — Когда же вырастетъ она изъ этихъ пеленокъ?»

— Почему же грѣшно?—спросилъ онъ.—Гдѣ вы нашли, въ какой святой книгѣ, запрещеніе знанія? Развѣ вы не помните, что и въ Евангеліи сказано: «И уразумѣете истину, и истина освободитъ вы». Что же можетъ быть выше этого свѣта истины? Къ нему стремится каждый человѣкъ, который думаетъ, а не спитъ («и не молится!»—хотѣлъ онъ досказать, но остановился).

Отъ этихъ словъ Катѣ вдругъ стало легко, свободно. Съ нея свалилось сомнѣніе и широко распахнулись передъ нею ворота въ это необозримое, влекущее поле знанія. Сердце забилось сильнѣе... «Какъ же это я не помню этого мѣста въ Евангеліи? — подумала она. — Но онъ не можетъ ошибиться...» Она такъ сильно, почти слѣпо вѣрила ему, какъ своему учителю.

— Неужели же въ этомъ одномъ знаніи и вся задача жизни?--подумала она вслухъ.—Неужели же нѣтъ другого дѣла?

— Какъ нѣтъ дѣла?—спросилъ онъ, и снова его завѣтная, сердечная мысль готова была сорваться съ языка. Сердце слегка затрепетало.

«Неужели я трушу?»—подумалъ онъ.

— Послушайте,—началъ онъ и голосъ его едва замѣтно

дрогнулъ.—Дѣло есть, и серьезное, сложное дѣло, которому можно и должно отдать всю жизнь.. Не грѣшно!—прибавилъ онъ и окончательно ободрился.

Въ это время они подошли къ окну, сквозь которое ярко свѣтило солнце и на одномъ изъ голыхъ сучковъ черемухи, росшихъ въ палисадникѣ, прыгали и ярко краснѣли своими грудками на солнцѣ два снигиря... И вдругъ этотъ солнечный день и въ особенности эти снигири живо напомнили Катѣ пансіонскій садъ зимой и залу, освѣщенную солнцемъ, и какъ она ходила по немъ, мечтая, что она—«избранница» и что она должна сдѣлать...

— Нѣтъ!—быстро перебила Юна Талыгина, слегка схвативъ его за рукавъ. Глаза ея засіяли.—Я чувствую въ себѣ силы, я знаю мое дѣло... Постойте!—она тихо отошла отъ него въ другой уголъ залы и быстро начала поправлять свои волосы за уши.

Какъ у большей части нервныхъ, восторженныхъ натуръ, новая мысль, еще не прояснившаяся въ какомъ-то таинственномъ туманѣ, но еще болѣе привлекательная въ силу этой таинственности, заволновалась въ ея головкѣ и, становясь все яснѣе и яснѣе, какъ будто засвѣтилась въ ея глазахъ. Грудь ея заколыхалась.

— Послушайте,—сказада она, машинально перевернувъ легкій плетеный стулъ, который стоялъ возлѣ ломбернаго столика и облокотясь на спинку этого стула. Она безсознательно чувствовала, что такъ ей легче будетъ говорить.—Послушайте!—сказала она, смотря, съ едва замѣтной улыбкой, прямо, блестящими глазами на Талыгина.—Я поняла... Я понимаю теперь (поправилась она), почему меня постоянно куда-то влекло, на какой-то просторъ... Мнѣ тѣсно здѣсь, душно!.. (Ея тонкія ноздри раздулись. Она опять стала похожа на Льва Никитича, точно онъ въ ней говорилъ: «скучно, душно, душѣ покататься хочется»). Мнѣ здѣсь

все чужое. Правда, я люблю этихъ мужичковъ, бабъ и няню... Я никогда не брошу дорогую маму (Машу подсказало ей сердце), какъ она, больная, такъ много перенесшая горя въ жизни, не броситъ своей Мельтюковки. — (На всемъ подвижномъ лицѣ ея вдругъ промелькнуло глубокое, теплое чувство). Но когда-нибудь я выйду же на широкую, новую дорогу. У меня есть силы. я чувствую ихъ здѣсь—въ головѣ, сердцѣ... Все, что я знаю, чему научусь здѣсь, я принесу на пользу, на что-нибудь доброе («великое»—хотѣла она выговорить, но не посмѣла). Скажите, неужели у женщины только и есть одна дорога: мужъ, семья?..—Она тише произнесла эти слова и потупилась. Талыгинъ сдѣлалъ какое-то неопредѣленное движеніе.—Неужели женщина не можетъ всѣхъ любить, всѣхъ, и дѣлать добро словомъ, дѣломъ?..

— Можетъ, можетъ!—отвѣтила она сама въ какомъ-то вдругъ нахлынувшемъ экстазѣ.—Какія бы ни были препятствія, я поборю ихъ, сломлю всѣ, всѣ!..

Она протянула руку и гордо откинула голову. Въ ея сдвинутыхъ бровяхъ была сила, тонкія ноздри снова раздулись, сжатыя губы приняли упорное, строгое выраженіе, а глаза—страстные, блестящіе—куда-то устремились въ даль, какъ будто вызывая оттуда нечеловѣческій подвигъ. Она опять стала похожа на своего отца.

И Талыгинъ не могъ вынести этого нестерпимаго блеска глазъ. Онъ невольно отвернулся. «Если бы ты знала, какъ хороша ты,—подумалъ онъ,—восторженная, экзальтированная головка»! И въ то же самое время какое-то смутное, тяжелое чувство сжало его сердце. «А если дѣйствительно въ ней есть эта сила призванія, таланта? Можетъ быть теперь, именно теперь проснулось въ ней сознаніе этого таланта». И вдругъ сму показалась какимъ-то тормазомъ та обстановка мирной, замкнутой семьи, съ ея сложнымъ дѣ-

ломъ, которую онъ готовилъ для нея. «Не я свяжу,—подумалъ онъ,—эти молодыя силы. Пусть идетъ впередъ, въ другую сторону къ иной цѣли, не менѣе великой. Развѣ я не могу любоваться на нее издали?... И только любоваться»—подсказало горькое чувство.

— Что же вы молчите?—спросила она.

Онъ поднялъ глаза.

— Что же мнѣ отвѣчать вамъ: идите, ищите, можетъ быть и найдете! Только не ошибитесь и строго,—онъ посмотрѣлъ ей прямо въ глаза,—относитесь къ дѣлу, безъ увлеченій самолюбія («Не возносись не, возгордись!»—припомнилось ей, какъ будто, изъ какого-то далекаго прошлаго). Кто изъ насъ въ молодости не считалъ себя какимъ-то всемірнымъ геніемъ и сколько потратилось, пропало даромъ силъ самыхъ честныхъ на ложныхъ тропинкахъ. Не довѣряйтесь слишкомъ себѣ. Повѣрьте, что часто въ то время, когда мы ищемъ себѣ дѣла нашимъ умомъ гдѣ-то вдали, оно лежитъ тутъ, возлѣ, и не въ умѣ, а въ сердцѣ, въ этомъ широкомъ чувствѣ...

— Катя,—раздался голосъ Марьи Петровны.

Талыгинъ остановился.

— Что же?—спросила она.

— Катя!..

— Сейчасъ, мама!

— Ничего... Работайте, а потомъ, потомъ... сами увидите.

— Я буду трудиться добросовѣстно.—И глаза ея, слегка потухшіе, снова загорѣлись.—А вы мнѣ будете совѣтовать, руководить мной, да?..

— Насколько могу.

Она протянула ему руку и, прямо, съ улыбкой смотря блестящими глазами въ его глаза, крѣпко стиснула этой своей маленькой нервной ручкой его большую, здоровую

руку. Потомъ обернулась и быстро пошла въ столовую. Талыгинъ тихо пошелъ вслѣдъ за ней.

— Ты что же не спросишь Дмитрія Павлыча,—обратилась къ ней Марья Петровна,—не хочетъ ли онъ закусить чего? Вѣдь дорога не ближняя, съ чаю сытъ не будешь, а до обѣда еще далеко. Я сейчасъ велю подать.

— Нѣтъ, не хлопочите. Я сейчасъ отправлюсь!—и онъ взялъ шапку и теплыя замшевыя перчатки.

— Какъ отправитесь?.. Безъ обѣда?!

— Да, безъ обѣда. Дома ждать будутъ... Я обѣщался вернуться въ четыре часа, а теперь и къ восьми не поспѣешь.—Онъ посмотрѣлъ на часы.—Еще придется кормить въ Ташловкѣ.

— Такъ вы на дорогу-то закусите. Катя, что же ты стоишь!

Катя повернулась, но Талыгинъ отказался на-отрѣзъ и отъ закуски на дорогу. Ему хотѣлось скорѣе на просторъ. Видъ Кати какъ-то раздражалъ его. Онъ чувствовалъ, что не можетъ спокойно думать при ней. Сердце его колыхалось. Онъ протянулъ руку Марьѣ Петровнѣ и сказалъ: «прощайте», потомъ молча протянулъ руку Катѣ, и она снова крѣпко пожала его сильную, крѣпкую руку. Ей опять стало легко, впереди засіяла широкая надежда.

— Кланяйтесь Агніи Петровнѣ,—наказывала Марья Петровна въ дверяхъ, на порогѣ лакейской, въ то время, когда Талыгинъ быстро надѣвалъ сапоги и шубу, какъ-то вырывая ее изъ рукъ ухмылявшейся Даши.

— Я васъ прошу выслать моего Семена! — сказалъ онъ.

Марья Петровна не успѣла повернуться, какъ Даша уже бѣгомъ бѣжала въ кухню.

Варя и Лиза какъ-то протиснулись, пролѣзли впередъ изъ столовой, мимо, столпившихся въ дверяхъ, ея Марьи

Петровны, Кати, Пафнутьевны, Анны Гавриловны, и стали передъ Талыгинымъ.

— Прощайте-съ!—сказала Лиза.

Онъ молча взялъ ее за головку, поцѣловалъ въ лобъ и улыбнулся.

— А меня-то?—обидѣлась Варя. Онъ и ее поцѣловалъ.

Сани подъѣхали къ крыльцу.

— Прощайте!—сказалъ онъ, поклонившись слегка, отрывисто надѣлъ шапку и вышелъ на морозный воздухъ. Тамъ онъ глубоко вздохнулъ, выпустивъ цѣлый потокъ пара.

Кучеръ, молодой парень, сидѣлъ, улыбаясь, въ большой шапкѣ на бекрень и въ крытой сермягой волчьей шубѣ, съ поднятымъ воротникомъ, подвязаннымъ краснымъ платочкомъ. Лошади, застоявшись на морозѣ, фыркали и выбивали копытами снѣгъ. Талыгинъ быстро вскочилъ въ сани и онѣ полетѣли. Колокольчикъ зазвенѣлъ.

— Ишь, какой прыткій! — замѣтила Марья Петровна, смотря изъ окна столовой, а Катя ничего не сказала,—она была вся внутри себя; тамъ передъ ней шире и яснѣе развертывался новый міръ, обѣтованная обитель.

— Чѣмъ бы тебѣ не женихъ?—спросила Марья Петровна.

— И то правда, барыня!—подтвердила Пафнутьевна.

Катя съ тихой улыбкой, какъ будто не понимая, о чемъ онѣ говорятъ, посмотрѣла на нихъ, покачала головкой и, медленно войдя въ залу, стала ходить по ней взадъ и впередъ, то хмурясь, то улыбаясь и по временамъ тихо крестясь. Варя и Лиза ходили рядомъ съ ней.

— Онъ меня первую поцѣловалъ!—похвасталась Лиза.

Катя вдругъ нагнулась и крѣпко, порывисто обняла ихъ обѣихъ.

— Вы мои снигирики!—сказала она весело.

— Послушай, тетя Катя,—прошептала ей прямо подъ ухо, обхвативъ ея шейку, Лиза.—Я снигирикъ,—и она по-

казала на себя, а потомъ уставила пальчикъ на Варю,—а она?.. Она—чижикъ!—и она громко засмѣялась.

XII.

Талыгинъ ѣхалъ гладкой дорогой, обставленной засохшими, красными елками, которая вилась по полотну замерзшей большой рѣки, изгибаясь около ея береговъ. Солнце задернулось тучами, легкія рѣдкія снѣжинки какъ-то лѣниво кружились въ воздухѣ и точно нехотя опускались на волчью шубу Семена. Колокольчикъ путался въ своемъ звонѣ, захлебывался и вдругъ смолкалъ. Лошади, фыркая, бѣжали мелкою рысью.

Но ничего этого не видалъ и не слыхалъ Талыгинъ. Ему представлялась она съ своимъ восторженнымъ взглядомъ. «Не могу я разобрать ее и мои отношенія къ ней совершенно объективно,—думалъ онъ.—Видно, не одно самолюбіе, а всякое сильное, страстное чувство мѣшаетъ объективности.—И все-таки невольно разбиралъ онъ и ее, и эти отношенія.—Никакихъ особенныхъ силъ у нея нѣтъ,—думалъ онъ:—недюжинный умъ, да пылкое сердце и больше ничего. И даже для семьи она не годится,—слишкомъ неровна, восторженна...—Но тутъ же припомнилось ему ея часто задумчивое, честное, самоотверженное лицо, то упорство, съ которымъ она слѣдила за собой, ломала себя и одолѣвала всякій трудъ.—Да, она можетъ быть хорошей матерью-воспитательницею, — думалъ онъ. И какъ-то невольно манила и ласкала его эта дума, обвивая его сердце томительно-сладкимъ чувствомъ... То вдругъ гналъ онъ отъ себя, нахмуривъ брови, это, какъ ему казалось, мелкое чувство. — Вѣдь это самый узкій, скаредный эгоизмъ, — думалъ онъ. — Пусть идетъ впередъ, и чѣмъ дальше, чѣмъ шире

захватитъ кругъ, тѣмъ лучше, тѣмъ больше пользы. Новый путь, новыя силы...—думалъ онъ.—Можетъ быть, дѣйствительно, онѣ и хранятся, незримыя, невѣдомыя, въ ея пылкой головкѣ. Останется она въ дѣвушкахъ, можетъ быть надолго, и вся сила страстнаго, полового чувства будетъ волновать постоянно ея умъ до тѣхъ поръ, пока это чувство не одолѣетъ и не возьметъ свое».—И снова опомнившись, какъ бы въ просонкахъ, онъ оглядывался кругомъ на бѣлое, матовое небо, на холмистые обрывы, заваленные снѣгомъ и покрытые голыми кустарниками, на легкій паръ, подымавшійся отъ широкой полыньи, журчавшей въ сторонѣ, на ворону, молча скакавшую на дорогѣ и улетавшую въ кустарникъ.

Иногда представлялась ему его деревня—Липки. Тамъ ждала его мать, добрая, веселая старушка, тамъ ждалъ его кипучій міръ постоянной обыденной дѣятельности, и вдругъ вспоминалось ему: «а шестерню въ Ломовѣ надо перелить».

— Погоняй, другъ Семенъ! — говорилъ онъ. И другъ Семенъ погонялъ, пробуждаясь отъ одолѣвшей его дремы и покрикивая: «Ей вы, лебедки-молодки!..»

Только позднимъ вечеромъ добрался Талыгинъ до родной кровли. Мѣсяцъ уже давно взошелъ, но, задернутый облаками, свѣтилъ тусклымъ, ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ. И все небо казалось какой-то матовой, опрокинутой чашей.

Колокольчикъ громче зазвенѣлъ. Въѣхали въ густой лѣсъ, расположенный по ущелью, которое называлось «Танькинъ врагъ». Путаясь прихотливыми перегибами, переплетались и тянулись безконечно голыя вѣтви кустовъ и деревьевъ, скупо пропуская томный, дремлющій свѣтъ. Вдругъ въ самомъ темномъ мѣстѣ блеснули ярко два фосфорическіе огонька, точно далекія звѣздочки-близнецы. Лошади шарахнулись, прижали уши и зафыркали.

— Митрій Павлычъ, во-олкъ!—проговорилъ торопливо, шопотомъ, Семенъ и обернулся къ Талыгину.

— Гдѣ, гдѣ?—встрепенулся Талыгинъ и быстро доставалъ уже изъ саней, лежащій рядомъ съ нимъ, въ кожаномъ чехлѣ, короткій штуцеръ.

— Вò, во... эво въ ложочкѣ-то! — Семенъ придержалъ лощадей.

Прямо на-встрѣчу мигавшимъ огонькамъ Талыгинъ пустилъ выстрѣлъ. Громко брякнулъ онъ въ тишинѣ ночи. Эхо защелкало по лѣсу, дымомъ обдало лошадей и онѣ бросились со всѣхъ ногъ.

— Тпру, тпру, окаянныя!—кричалъ Семенъ, завалившись совсѣмъ въ сани и натягивая возжи, а сани прыгали по пенькамъ и кочкамъ. Наконецъ, тройка остановилась, храпя и озираясь.

— Вернуться, что-ль?—спросилъ лѣниво Семенъ.

— Зачѣмъ?.. Гдѣ теперь его найдешь... Ѣдемъ!—и продувъ штуцеръ, Талыгинъ бережно опять уложилъ его въ чехолъ.

Семенъ пустилъ лошадей вскачь, до деревни оставалось всего двѣ версты и лошади летѣли, далеко разметывая рыхлый, запорошившій дорогу, снѣгъ. Колокольчикъ заливался, и вотъ, мимо промелькнулъ берегъ рѣки, большое, длинное, съ высокими трубами каменное зданіе паровой мельницы, широкій прудъ, и сквозь заиндевѣвшіе, голые сучья деревьевъ глянулъ господскій домъ. Въ немъ уже мелькали огни. Несмотря на свѣтлую ночь, кто-то съ фонаремъ бѣгомъ летѣлъ къ воротамъ. Мелькнулъ и этотъ фонарь мимо, вмѣстѣ съ высоко державшимъ его, надъ непокрытою головой, и улыбавшимся мальчикомъ. И мимо побѣлѣвшихъ, заиндевѣвшихъ деревьевъ сада, тянувшагося за высокой деревянною рѣшеткой по обѣимъ сторонамъ дороги, сани влетѣли на дворъ и подкатили подъ широкое крыльцо—террасу.

На ступеняхъ его стояли, улыбаясь, двѣ дѣвушки со свѣчами, а посреди ихъ маленькая старушка, еще весьма моложавая, очень похожая лицомъ на Талыгина, съ такой же родинкой на щекѣ, въ собольей кацавейкѣ и покрытая большимъ тяжелымъ сѣрымъ платкомъ.

— Ахъ, супостатъ! Ахъ, супостатъ!—кричала она, качая головой и махая руками. — Полуношникъ безстыжій! Гдѣ пропадалъ? Ждутъ его, ждутъ не дождутся!..

А Талыгинъ уже бѣжалъ на крыльцо, громко топая по ступенямъ, тяжелыми сапогами, звонко чмокнулъ старушку и, обнявъ ее, вмѣстѣ съ ней вошелъ въ большую переднюю.

— Ужъ навѣрно въ Мельтюковкѣ сидѣлъ,—продолжала ворчать, улыбаясь, старушка.

— На полчаса заѣхалъ, родная, только на полчаса! — оправдывался Талыгинъ, быстро сбрасывая и шубу, и сапоги, и шарфъ. Цѣлуя руки у матери, онъ вошелъ съ ней въ большой кабинетъ, а за нимъ, почти вслѣдъ, внесли нѣсколько свертковъ и какіе-то тяжелые тюки, обшитые рогожей, сквозь которую торчали желѣзные прутья съ гайками.

— Вотъ это тебѣ, родная, гостинца, — говорилъ онъ, развертывая одинъ изъ свертковъ.

— Ничего мнѣ не надо... Иди скорѣй ѣшь, да грѣйся, проголодался чай съ дороги, озябъ, — и она выдернула у него свертокъ изъ рукъ и бросила на столъ.

—. Ни ни, ничего не хочу! Я въ Ташловкѣ закусилъ и... вовсе не озябъ.

— Ѣшь, говорятъ тебѣ, каторжный! Вѣдь я тебѣ пельменей наварила и гуся подъ шпекомъ съ яблоками зажарила!—И она потащила его безъ церемоніи за рукавъ въ столовую. Талыгинъ отговаривался и упирался, однако, усѣлся: гусь подъ шпекомъ такъ хорошо пахъ. «Съѣмъ немного, чтобъ не огорчить ее», подумалъ онъ. Но только что принялся онъ за ѣду и за разсказы, какъ изъ задней комнаты

выглянулъ приземистый, довольно полный человѣкъ съ русою бородкой клиномъ и съ длиннымъ плутовскимъ лицомъ. Это былъ уставщикъ и главный распорядитель на паровой мельницѣ. Агнія Петровна нахмурилась и замахала на него руками.

— Ступай, ступай! Послѣ придешь. Дай барину кусокъ-то плоглотить...

Но баринъ уже увидѣлъ человѣка и закричалъ:

— Что̀ надо, Петръ Анисимычъ?

Человѣчекъ низко поклонился.

— Да маленько,—началъ онъ вкрадчивымъ голосомъ,—неполадки случились, такъ желалъ донести вашей милости.

— Что̀ такое?

— Да въ маломъ приводѣ ось-то, значитъ, хрупнула.

Талыгинъ бросилъ недоѣденный кусокъ и привсталъ.

— Ну?..

— Да вотъ мы, то-есть, принялись ее чинить, все, значитъ, желали до вашей милости обладить, да варимъ, варамъ, не сваримъ.

Талыгинъ совсѣмъ всталъ.

— Какъ же она такъ?—спросилъ онъ.

— Кто ее знатъ, какъ она у нихъ скопытилась. Я отлучился за малымъ дѣломъ на полчаса, а привезли тутъ съ Барыкова три куля крупицы. Ѳедоръ и говоритъ: засыпь, говоритъ, все въ крайнюю-то! ничего, говоритъ, умнетъ и пошабашимъ седни. Засыпали, а она, значитъ, какъ есть въ полномъ ходу, мелетъ да мелетъ, инда вся закрома ходуномъ ходитъ, да вдругъ какъ загудётъ, загудётъ...

Но Талюгинъ уже не слушалъ. Онъ бросился въ переднюю, быстро натащилъ сапоги на ноги, захватилъ шубу, на ходу всунулъ одну руку въ рукавъ, повалилъ два стула и бросился вонъ.

— Ишь воженый! — прошептала Агнія Петровна и при-

нялась сама за гуся подъ шпекомъ. За обѣдомъ она, въ ожиданіи сына, почти ничего не ѣла.

А Талыгинъ чуть не бѣгомъ бѣжалъ, черезъ прудъ, въ кузницу-слесарню, откуда, черезъ широко растворенныя ворота, ярко и далеко разливался свѣтъ, а изъ длинной трубы цѣлымъ снопомъ высоко кверху летѣли крупныя искры. Но не слышно было въ кузницѣ никакого стуку. Четверо рабочихъ съ усталыми, вспотѣвшими и блѣдными лицами стояли около остывавшей длинной полосы стали.

— Ну, что, — вскрикнулъ Талыгинъ, — носы повѣсили?

— Никакъ не совладамъ, Митрій Павлычъ,—сказалъ коренастый, рыжій, весь выпачканный въ сажѣ, Прохоръ.— Песъ ее знатъ! Умаяла она насъ до смерти.

— Ничего, авось совладамъ... Тащи живѣй, сыпь дубоваго угля, валяй во всѣ мѣха!—И работа закипѣла.—Петръ Анисимычъ, вы бы плавильнаго порошку, поживѣй—тамъ онъ въ кладовой въ кадушкѣ.

— Знаю, знаю!—отвѣчалъ на бѣгу Петръ Анисимычъ.

Черезъ полчаса пламя закипѣло нестерпимымъ блескомъ и жаромъ, стальная, почти на серединѣ переломленная, ось побѣлѣла и упорная, крѣпкая сталь размякла и начала по краямъ, какъ воскъ, топиться. Ее вынули на наковальню и въ четыре молота принялись сколачивать изломанные куски. Но усталыя руки плохо служили, дѣло не спорилось, сталь начала остывать.

Талыгинъ сбросилъ шубу, пиджакъ, засучилъ рукава и, схвативъ стоявшій въ углу молотъ, принялся крѣпкими и свѣжими руками изо всѣхъ силъ бить по стальной полосѣ.

— Сильнѣй, дружнѣй, ребята!—кричалъ онъ, и бѣлыя искры запрыгали, полетѣли во всѣ стороны. Ребята налегли, —откуда вдругъ силы взялись. «Ухъ—бацъ! Ухъ—бацъ!»— раздавалось далеко по пруду, и черезъ двадцать минутъ ось

была исправлена. Талыгинъ отеръ потъ, надѣлъ пиджакъ, шубу.

— Ну, до завтра,—сказалъ онъ.—Завтра обточимъ и я самъ установлю ее. — И живой, веселой поступью отправился онъ домой. «Завтрашній день,—думалъ онъ,—не пропалъ, а съ нимъ и выручка. Мельница, хотя съ полденъ, все-таки будетъ работать».

Придя домой, онъ съ аппетитомъ доѣлъ гуся.

Мѣсяцъ снова выглянулъ изъ-за облаковъ и морозная ясная ночь напомнила ему, въ какой-то дали, далекую Мельтюковку и дѣвушку съ ясными, блестящими глазами. Сонъ уже клонилъ его, а на столѣ, въ кабинетѣ, лежала довольно толстая конторская тетрадь, вся излинованная и исписанная цифрами недѣльныхъ отчетовъ. Агнія Петровна уже спала; но, еще не ложась спать, она, по обыкновенію, заботливо осмотрѣла, хорошо-ли приготовлена постель Митѣ, постланы-ли чистыя простыни, потомъ помолилась за себя и за него, за всѣхъ живущихъ и за усопшихъ и, крестясь и мысленно благословляя все его, Митю, и прося ему помощи, тихо раздѣлась и улеглась въ большую кровать. А онъ поправилъ лампу и принялся провѣрять длинные ряды цифръ. Итоги за итогами выкладывалъ онъ на счетахъ. Лампа ровно горѣла и тихо летѣло время среди безмолвной тиши ясной, морозной ночи. Наконецъ, вся тетрадь была кончена. Талыгинъ сдѣлалъ нѣсколько отмѣтокъ карандашомъ, потянулся, зажегъ свѣчку, потушилъ лампу и отправился спать.

Въ головѣ у него шумѣлъ какой-то смутный шумъ; но когда онъ легъ въ холодную и жесткую постель, этотъ шумъ унялся и сквозь зажмуренныя вѣки ему чудилась качка дороги, визгъ полозьевъ, выстрѣлъ въ лѣсу, блескъ кузницы, шумъ горнаго огня и безконечный рядъ цифръ все пестрѣе и пестрѣе. Онъ уже началъ забываться, и вдругъ выше и ярче всѣхъ этихъ, обрывками мелькавшихъ, образовъ пред-

сталъ все тотъ же образъ этой восторженной, но безконечно милой головки. Онъ открылъ глаза и тотчасъ, весь потянувшись, снова ихъ зажмурилъ. «Да будетъ на пути твоемъ все, что̀ есть лучшаго въ мірѣ,—пожелалъ онъ изъ глубины сердца,—и ты сама да будешь однимъ изъ лучшихъ свѣтлыхъ образовъ въ этомъ мірѣ», и тихо и крѣпко заснулъ онъ въ какомъ-то дѣтскомъ умиленіи.

XIII.

А на другой день, рано утромъ, окатившись холодною водой и стряхнувъ съ себя всю нѣжащую истому, онъ опять завертѣлся въ колесѣ той бойкой дѣятельности, которой отдался весь отчасти по принципу, отчасти потому, что «охота пуще неволи». Пустилъ въ ходъ паровую мельницу, осмотрѣлъ и поправилъ работы на гумнѣ съ молотилкой и вѣялкой и отправился за десять верстъ на стеклянный заводъ, а оттуда проѣхалъ на поташный и винокуренный.

Вотъ уже шесть лѣтъ, какъ онъ запрягъ себя въ этотъ постоянный, безконечный приводъ всякихъ шестерней и рычаговъ, кубовъ и печей, окунулся въ глубокій омутъ всякой суетни и хлопотни, возни съ рабочими, не умѣющими или просто не дѣлающими. Многое у него не спорилось, часто являлись прорухи. — «Прытокъ, да молодъ, — упрыгается!» — говорили про него мужики и рабочіе. Но за то многое ужъ шло полнымъ, надежнымъ ходомъ, расло и крѣпло.

Главная задача была—не зашибить деньгу, а поднять то, что̀ лежало скрытое и даромъ пропадающее въ богатыхъ силахъ земли, въ промышленномъ, бойкомъ духѣ народа.

Онъ заводилъ ремесленныя школы, пропагандировалъ и постоянно боролся съ разными дѣдовскими рутинными

пріемами, не ломая, но измѣняя ихъ, насколько можно ихъ измѣнить и улучшить.

Но и эта огромная и трудная задача была только средствомъ къ еще болѣе широкой и трудной цѣли...

«Я лицомъ къ лицу встану къ народу,—думалъ Талыгинъ,—я поглубже посмотрю, насколько съумѣю, въ этотъ, почти не тронутый, родникъ. Съ нея, съ этой массы должно начать изученіе тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ строится общество. Въ ней всѣ они проще, нагляднѣе. Въ ней мало, почти нѣтъ, ничего ломаннаго, искусственнаго. Въ ней воспитаніе просто и грубо, а потому всѣ типы и характеры цѣльнѣе».

И онъ тщательно, съ любовью, изучалъ этотъ рабочій людъ въ различныхъ проявленіяхъ его разнообразныхъ характеровъ, съ точки зрѣнія разныхъ психологическихъ теорій.

Но именно эти теоріи сильно путали и смущали его. Прежде онъ увлекался, какъ математикъ, формулами теоріи Гербарта, потомъ онъ переросъ ее, отвернулся также отъ нѣмецкихъ метафизиковъ, отъ этой туманной «чепухологіи», какъ онъ называлъ ихъ, и остановился, хоть и не надолго, на англійскихъ сенсуалистахъ. «И у нихъ все дѣланное, придуманное»,—рѣшилъ онъ и собиралъ, и записывалъ всѣ случаи и факты, противорѣчащіе или расширяющіе эту реальную психологію. Многое онъ провѣрялъ на себѣ, постоянно анализируя свои чувства и самый процессъ мышленія. Но этотъ анализъ еще болѣе сбивалъ его и часто выводилъ на ложную дорогу. «Нѣтъ во мнѣ объективности, — догадывался онъ,—этого спокойнаго, широкаго индифферентизма. Да и натура моя ужъ ломанная, осложненная, въ ней нѣтъ непосредственной простоты и глубины. Я имъ чужой. Во мнѣ нѣтъ простого склада ума; я уже отошелъ отъ этихъ элементарныхъ и своеобразныхъ комбинацій, изъ которыхъ какъ бы само собой рождается и новое мѣткое слово, и

новый смѣлый шагъ, и широкая практическая мысль, которую зовутъ русскимъ толкомъ».

И нерѣдко, при своихъ наблюденіяхъ, онъ, дѣйствительно, чувствовалъ, что онъ имъ чужой. Какъ ни старался онъ быть проще съ мужикомъ, какъ ни замаскировывалъ и одежду, и языкъ, и пріемы, но мужикъ, какъ бы чутьемъ, слышалъ въ немъ человѣка другой породы, дичился его и становился къ нему тоже замаскированной, а не своей обыденной, естественной стороной.

Часто онъ останавливался, въ недоумѣніи, на перепутьѣ и чувствовалъ, что у него нѣтъ никакого критеріума. Замѣчалъ онъ, напримѣръ, что рабочіе охотно брали урочную работу и сами на нее напрашивались.

— Да зачѣмъ же я вамъ урки буду задавать?—допрашивалъ онъ.

— Да оно какъ-то слободнѣй, охоче работать-то! — пояснили они и ничего не могли больше придумать.

«Можетъ быть, этому народу нравится,—думалъ онъ,—что нибудь опредѣленное, законченное. Ему вообще необходима эта ясность, даже образность, въ самыхъ отвлеченныхъ предметахъ. Или жаждетъ этихъ уроковъ наша родная лѣнивая натура, которая выгадываетъ время для ничего недѣланія: «отмахалъ, молъ, да и съ колокольни долой!» Или нашъ рабочій не вѣритъ въ собственный судъ и думаетъ: сколько бы онъ ни сработалъ, все ему покажется мало, — лучше ужъ пусть другіе рѣшаютъ... Или, забитый и задавленный работой, онъ радъ, хоть на нѣсколько часовъ, видѣть ей конецъ и стремиться скорѣе, изъ всѣхъ силъ, къ этому концу? Или русской удали хочется отличиться: погляди, дескать, какъ я живо отвалялъ свой-то урокъ, да еще и тебѣ помогу!... Или все это вмѣстѣ существуетъ здѣсь, распредѣляясь по характерамъ?»...

Даже въ болѣе важныхъ, основныхъ вопросахъ на него

нападало это раздумье. Онъ видѣлъ, что типы «кочевого» и «осѣдлаго» можно прослѣдить болѣе или менѣе ясно почти въ каждомъ характерѣ. Но именно черты этихъ типовъ на столько измѣнились и перепутались, что онъ даже не зналъ, куда отнести тотъ или другой попадавшійся ему фактъ. Онъ видѣлъ, какъ многихъ подмывало уйти въ разгулъ, перекочевывать по фабрикамъ, бродить по заработкамъ, слоняться бурлакомъ по берегамъ Волги, таскаться въ извозъ или просто бродяжничать. Но гдѣ останавливались эти черты? Не шли ли онѣ дальше, не выказывались-ли онѣ въ пьяномъ удальствѣ, не переходили ли въ лѣнь, безпечность?... И насколько участвуетъ здѣсь эта, въ извѣстную пору жизни, всегда осѣдлая и неповоротливая, женская натура, привязанная къ своей печкѣ и горшку? Какъ борются здѣсь двѣ стороны—осѣдлая и кочевая?.. Что передается въ наслѣдственность?..

Однимъ словомъ, онъ путался. Передъ нимъ было чистое, почти нетронутое поле, на которомъ, какъ снѣжинки въ мятель, кружились вихремъ, неслись и сталкивались одни голыя мысли и предположенія... Тяжелы были для него эти минуты сомнѣнія и неопредѣленности, но еще тяжелѣе были для него тѣ минуты, когда онъ видѣлъ гнетущую, безвыходную бѣдность и разореніе когда передъ нимъ раскрывались во всей наготѣ глубокія, вѣками наболѣвшія, кровавыя раны народа и слышалъ онъ его глухой, подавленный стонъ..

«Нѣтъ, не гожусь я для этой работы объективнаго изслѣдователя,—признавался онъ.—Вѣрно, усталъ я, слишкомъ изломалъ себя постояннымъ анализомъ... Нѣтъ во мнѣ уже ни одного цѣльнаго мѣста, нѣтъ силы хладнокровно наблюдать надъ этими вивисекціями. На ломку, внутреннюю ломку, потратились эти силы!»

Не хотѣлъ онъ или не умѣлъ признаться, что эта ломка

здѣсь вовсе не виновата, что уже по самой натурѣ его было въ немъ много мягкаго и что почти непрерывное напряженіе отъ усиленной работы, которая была впору для трехъ-четырехъ такихъ мышечно-крѣпкихъ натуръ, какъ его, постоянно утомляла его нервы.

— Да ты брось свою возню, отдохни... неугомонный!— уговаривала его мать.—Вѣдь ты похудѣлъ, шатаешься!

— Ничего, родная!—успокоивалъ онъ ее. — Это только нервы расшатались. Я вотъ сейчасъ кончу это и лягу, сосну часа три, а потомъ выкупаюсь, нажрусь до отвала и—машина поправится и буду опять готовъ.

— Не сговоришь съ тобой! — упрекала его Агнія Петровна.

А онъ, дѣйствительно, кончивъ работу, заваливался спать, только вмѣсто трехъ часовъ просыпалъ шесть, двѣнадцать, и вставалъ свѣжій, бодрый и снова принимался за свое дѣло.

«Хотя немного, одну каплю меду добуду,—думалъ онъ, перелистывая цѣлую пачку своихъ маленькихъ записныхъ карманныхъ книжекъ, которыя всѣ были исписаны, исчерканы.—Вотъ это и это годится,—перебиралъ онъ въ своихъ замѣткахъ,—и это пойдетъ въ ходъ .. Да «соціальную теорію должно найти, а не выдумать!»—повторялъ онъ слова Прудона, и шелъ за этими словами бодро, какъ за своимъ вдохновляющимъ и укрѣпляющимъ знаменемъ.

А товарищи по университету звали его на другую арену, бранили пропріетеромъ-технологомъ, философомъ-психологомъ. Одинъ разъ онъ получилъ восторженное, зовущее письмо. Въ это время, какъ нарочно, во всѣхъ его предпріятіяхъ вдругъ разомъ случились разныя неудачи и его сильно потянуло на этотъ зовъ. Онъ уже совсѣмъ былъ готовъ бросить все, даже слѣпого, умирающаго старика-отца, мать, всѣ свои широкіе планы, и скакать туда, въ

самый центръ кипучаго движенія. Но, какъ часто случается, мысль, вдругъ, невѣдомо какъ, сложившаяся въ его головѣ, остановила его на мѣстѣ.

«Что жъ?—подумалъ онъ.—Вѣдь ихъ тамъ много. Неужели же я одинъ сдѣлаю какую-нибудь разницу, что нибудь прибавлю или убавлю? Вѣдь не гожусь же я въ агитаторы?»— «Тебѣ лѣнь или ты боишься!»—упрекнулъ его внутренній голосъ. Но посмотрѣлъ онъ на свою жизнь, полную упорнаго труда, на свою завязанную руку съ глубокими ранами отъ осколковъ лопнувшаго котла, которыми чуть не убило его на-дняхъ, и... остался. «Здѣсь также битва,—подумалъ онъ,—и также шансы удачи и неудачи», а спустя нѣсколько дней онъ даже подивился, какъ могъ онъ увлечься своимъ порывомъ и, бросивъ положительное дѣло, спѣшить на трудъ для этихъ,—какъ онъ думалъ,—сочиненныхъ утопій.

И снова, какъ будто обновленный, онъ принялся за прежнюю двойную работу, не думая, что «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», и вовсе не замѣчая, что его практическое дѣло брало перевѣсъ надъ тѣмъ, что онъ считалъ главною задачей; мало этого, оно сдѣлалось для него какой-то жизненною потребностью, органическою привычкой.—Дѣйствовалъ онъ въ этомъ дѣлѣ съ глубокимъ разсчетомъ, заводя понемногу все, что дружно помогало одно другому, какъ зубчатыя колеса въ какомъ-нибудь механизмѣ. Подобно осторожному шахматному игроку, онъ выдвигалъ сначала пѣшки и, укрѣпивъ ими позицію, смѣло и увѣренно билъ фигурами. Сосѣди-помѣщики дивились этой игрѣ, пугались его затѣй, смотрѣли на него съ завистью, ловили каждый его промахъ и кричали о немъ по цѣлому околодку.

Впрочемъ, до сосѣдей помѣщиковъ ему было мало дѣла. Онъ рѣдко видалъ ихъ, не принималъ къ себѣ и къ нимъ

не ѣздилъ. Только иногда посѣщалъ его школьный товарищъ—Канючковъ. Зато водился и братался онъ съ разными практическими людьми. Изъ этихъ людей старался онъ подыскать себѣ помощниковъ. Но практическій человѣкъ оказывался «себѣ на умѣ», берегъ только свой карманъ и подчасъ очень ловко надувалъ Талыгина.

«Все это проклятая шишка собственности, захвата дѣйствуетъ,—думалъ онъ,—и ничѣмъ, никакими педагогическими мѣрами не искоренишь ее... Гдѣ, въ какомъ отдѣлѣ мозга или нервныхъ узловъ сидитъ она?.. А сидитъ, вѣрно, крѣпко, основательно, если такъ сильно распоряжалась она въ древней исторіи, развила даже цѣлое римское право. Да и нынче работаетъ она весьма исправно». И дѣйствительно, видѣлъ онъ, что люди весьма развитые и цивилизованные, со всякими высшими гуманными взглядами, молодые его сосѣди были въ сущности тѣ же кулаки и, посредствомъ машинъ и разныхъ благоустройствъ, набивали свой карманъ весьма обстоятельно и вовсе не гуманно...

Пробовалъ онъ заводить и общественныя мастерскія съ общимъ равнымъ раздѣломъ заработной платы. «Здѣсь—думалъ онъ,—по-неволѣ уравняются стремленія и самъ собою сдѣлается невозможнымъ этотъ захватъ, а съ нимъ и поползновеніе къ нему». Но, къ крайнему удивленію, видѣлъ онъ, что при этихъ порядкахъ одни рабочіе, вялые и неподвижные, окончательно бросали дѣло, а другіе, энергичные, пускались въ пьянство, какъ будто почуявъ для себя постоянную гарантію и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то связывающее широкій просторъ ихъ недюжинныхъ силъ. И выходила изъ этихъ мастерскихъ, съ одной стороны, наикомичнѣйшая чепуха, а съ другой—имъ ходу не давали.

Досадно было Талыгину чувствовать эти путы на рукахъ и ногахъ. А тутъ, какъ нарочно, прикатилъ къ нему братъ его и еще темнѣе выставилъ эту темную сторону.

Былъ онъ подполковникъ С... полка и управлялъ какимъ-то отдѣленіемъ въ Сибири. Проѣздомъ въ Петербургъ онъ заѣхалъ на нѣсколько часовъ къ Талыгину. Желчный, раздражительный и при этомъ глубоко честный, онъ какимъ-то счастьемъ, случаемъ да удачей, держался на службѣ и даже шелъ впередъ довольно бойко. Правда, умѣлъ онъ иногда многое снести и на многое повліять своимъ сильнымъ и смѣлымъ умомъ. Твердой, мѣрной, не торопливою походкой, позвякивая шпорами и опустивъ голову, ходилъ онъ взадъ и впередъ по большому кабинету брата. Слегка потертый, черный форменный сюртукъ съ золотыми погонами и зелеными выпушками сидѣлъ свободно, мѣшкомъ, на его небольшой, худощавой, но стройной фигуркѣ. На желтомъ, смугломъ лицѣ съ короткими черными усами и запущенной щетинистою бородой, съ курчавыми волосами надъ большимъ лбомъ было утомленіе и дума. Черные, небольшіе, блестящіе глаза изъ-подъ тонкихъ и сдвинутыхъ бровей смотрѣли, не мигая, прямо, гордо и строго. Онъ по временамъ передергивалъ плечами и нервно улыбался на одну сторону, причемъ на его впалой, лѣвой щекѣ выступала рѣзкая складка. Иногда онъ передергивалъ одинъ усъ и при этомъ вынималъ изо рта пенковую трубку, которая слабо курилась. Талыгинъ разсказывалъ ему о своихъ планахъ, развивалъ ихъ и оправдывалъ.

— Мы теперь сами не знаемъ, куда идемъ,—разсуждалъ онъ,—потому что рѣшаемъ обо всѣмъ, не вглядываясь глубоко въ мелочи всѣхъ отношеній... Рубимъ съ плеча, какъ намъ лучше кажется, и потомъ еще жалуемся, что все не устраивается, что вездѣ скверно, даже въ Америкѣ. Мы все мечтаемъ—только бы все перевернуть, пустить въ ходъ извѣстную систему, и все пойдетъ хорошо...

Братъ его вдругъ остановился, какъ будто что-то хотѣлъ возразить, и тотчасъ же махнулъ рукой.

— Ничего, продолжай,—сказалъ онъ и снова началъ мѣрить комнату своимъ форменнымъ шагомъ.

— Дѣло вовсе не въ системѣ,—продолжалъ Талыгинъ, —а въ тѣхъ особенностяхъ человѣческой природы—сложныхъ, запутанныхъ и вовсе неизвѣстныхъ, которыя невольно противятся самой разумной апріористической системѣ. Узнай ихъ, изучи, какъ онѣ примѣняются ко всякому строю, и тогда дѣйствуй... Да это когда-то еще будетъ! Мало труженниковъ здѣсь, на этомъ полѣ. Да и гдѣ найдешь ихъ?! —Онъ слегка вздохнулъ и замолкъ.

Братъ остановился передъ нимъ, нѣсколько разъ покачнулся и, запустивъ одну руку въ карманъ, началъ говорить съ усмѣшкой, ровнымъ голосомъ, отрывистыми словами, то вдругъ вскидывая, то сдвигая черныя брови. Ѣдко и мѣтко, анекдотически, набросалъ онъ картину всякаго хлама, всей плѣсени, которая накопилась преданіями и рутиной. Онъ указалъ также, какъ далеко и глубоко раскинуты черныя сѣти, все опутывающія, такъ что изъ за-нихъ всѣ психологическія движенія становятся уродливыми, болѣзненными, и ничего нельзя разобрать въ этой путаницѣ.

— Изъ стараго новаго не выкроешь,—закончилъ онъ.— Все надо сломать, сравнять съ землей, все,—и онъ широко размахнулъ рукой,—и тогда гляди! Что дѣлать!? Далеко увидишь все поле! А теперь, при нашихъ милыхъ порядкахъ... —Онъ не договорилъ, стиснулъ зубы и, подойдя къ камину, стукнулъ о него пѣнковую трубку. Онъ, вѣроятно, хотѣлъ выколотить изъ нея золу, но трубка разлетѣлась въ дребезги.

Рѣзкій ли тонъ его словъ, или самые доводы подѣйствовали на Талыгина, но только онъ почувствовалъ, какъ многое зашаталось при этихъ словахъ въ его сложной и трудной работѣ. Самая почва начала покачиваться подъ нею...

«Неужели, — подумалъ онъ, слегка поблѣднѣвъ, — я строю домъ на пескѣ и толку воду въ ступѣ?..»

XIV.

Проводивъ брата, Талыгинъ тотчасъ же, въ грустномъ раздумьѣ, отправился въ свою лѣсную дачу, на пильную мельницу и толчею дубоваго корья. День былъ сѣрый, туманный и холодный, вѣроятно, гдѣ-нибудь выпалъ градъ.

На дачѣ встрѣтилъ его надсмотрщикъ и главный лѣсникъ, прежній крѣпостной его, изъ крестьянъ, Маркъ Ереминъ Тугинъ, старикъ уже лѣтъ шестидесяти, но здоровый и коренастый. Про его молодость ходили темные слухи. Говорятъ, онъ былъ волжскимъ разбойникомъ и грабилъ бѣляны. Вѣрно то, что былъ онъ долго въ бѣгахъ и самъ въ одно утро, къ удивленію всѣхъ, вернулся и упалъ въ ноги къ отцу Талыгина.

— Хочешь казни, хочешь милуй, — сказалъ онъ, не вставая съ колѣнъ,—твой судъ, а вину свою признаю и заслужу ее. Тошно мнѣ стало мыкаться какъ волку хищному!

Отецъ Талыгина пристально, задумчиво посмотрѣлъ на его испитое, темное, измятое страстями лицо, на дикіе, блуждающіе глаза и длинные всклокоченные волосы.

— Богъ тебѣ судья, а не я, — сказалъ онъ. — Очнись и будь человѣкомъ.

Онъ далъ ему прежнюю его землю, а спустя нѣкоторое время даже сдѣлалъ его лѣсничимъ, и Маркъ Ереминъ поселился въ лѣсу съ внучкой своей сиротой, какъ бобыль. По временамъ онъ вдругъ пропадалъ куда-то на день, на два и возвращался еще болѣе сумрачный и задумчивый.

Талыгинъ-сынъ сдѣлалъ его главнымъ надсмотрщикомъ

всей лѣсной приволжской дачи. Разъ онъ обратился къ нему съ такимъ порученіемъ:

— Маркъ Еременъ,—сказалъ онъ,—я посылаю тебя въ городъ. Вотъ тебѣ тысяча рублей: уплати ты изъ нихъ Малкину восемьсотъ, а на остальные купи вотъ все это, по запискѣ,—и онъ прочелъ ему длинный реэстръ закупокъ. — Я тебѣ вѣрю!.. Ты отъ меня не корыствуешься, — сказалъ онъ.

Тугинъ взялъ деньги и поглядѣлъ на Талыгина изъ-подлобья, помялся, потомъ оглянулся назадъ, подошелъ къ нему и сказалъ съ усмѣшкой, шопотомъ:

— Было у меня разъ три тысячи рублевъ — все крестовиками серебряными. На лодкѣ мы ѣхали съ бабами и всѣ эти рубли я въ матушку Волгу глубокую покидалъ... Небось, Митръ Павлычъ,—прибавилъ онъ, слегка дотронувшись до его плеча,—твои деньги не пропадутъ у меня. Не денегъ я ищу...—и онъ махнулъ рукой и, нахмуривъ брови, отошелъ отъ него.

Пріѣхавъ на дачу, Талыгинъ вмѣстѣ съ Тугинымъ остановились на мельничномъ прудѣ. Всѣ предметы тускло смотрѣли сквозь дымку сѣраго тумана. Но этотъ самый туманъ придавалъ мѣстности какую-то суровую величавость. Широкій прудъ лежалъ въ обрывистыхъ склонахъ, на которыхъ росъ старый лѣсъ. Столѣтніе дубы вмѣстѣ съ осокорями, то совершенно прямые, то искривленные, коренастые, дуплявые, нѣкоторые уже посохшіе, обрамляли прудъ слѣва. Длинное—изъ новаго, здороваго лѣсу—зданіе мельницы тянулось за плотиной. Выше, на полъ-горѣ, лѣпились еще постройки. Изъ длинныхъ трубъ валилъ дымъ и смѣшивался съ туманомъ, который заволакивалъ верхи горъ. Глухой шумъ и отъ воды, и отъ мельницы разносился по лѣсу. Какъ вездѣ въ нагорныхъ мѣстностяхъ, чувствовалось здѣсь что-то широкое, суровое и величавое. Талыгинъ

стоялъ съ Тугинымъ на правомъ берегу передъ тремя старыми дубами. Они, какъ исполинскіе грибы, выросли изъ одного корня и покривились въ разныя стороны. Широко разросшіяся, узловатыя, покрытыя ягелями, вѣтви ихъ переплелись, перепутались и раскинулись огромнымъ шатромъ.

— Надо будетъ срубить ихъ! — сказалъ Талыгинъ. — Вотъ здѣсь пройдетъ просѣка, дорога, и онъ указалъ рукой на гору,—а прямо мы положимъ новую запруду и сдѣлаемъ новый вешнякъ.

Тугинъ посмотрѣлъ на него угрюмо и, поморщившись, покачалъ головой.

— Не годится рубить эти дерева, — тихо сказалъ онъ: —это древнія дерева!

Талыгинъ посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ.

— Да вѣдь они мѣшаютъ!... Что, развѣ тебѣ жаль ихъ?— сказалъ онъ съ усмѣшкой. — Развѣ мало у насъ новой поросли? Вѣдь мы лучшаго мѣста для запруды не найдемъ.

Тугинъ выслушалъ молча и, вскинувъ глазами на дубы, опять повторилъ:

— А рубить ихъ все-таки нехорошо, Митрій Павлычъ!.. Хоть твоя воля, а все-таки не моги ихъ рубить. Это дерева древнія!...

Талыгинъ раскрылъ широко глаза.

Тугинъ, поднявъ голову, взглянулъ на него и опять на деревья.

— Эти дерева,—началъ онъ все тѣмъ же ровнымъ голосомъ, глядя куда-то въ сторону,—еще дѣдъ твой, Наумъ Васильичъ, облюбилъ допрежъ того, когда еще была здѣсь глушь и Божья благодать, и пустыня эта стройно и нерушимо стояла въ красѣ нерукотворенной. Когда здѣсь ручьи вольные съ горъ гремѣли и ходилъ и водился звѣрь лѣсной, тогда еще эти дерева были уже мощныя и онъ,

слышь, дѣдъ твой, наѣзжалъ сюда и разъ даже молебенъ подъ ними служилъ. «Здѣсъ, молъ, говоритъ, Божье виталище!»

Талыгинъ еще болѣе раскрылъ глаза. Онъ никогда не думалъ, не подозрѣвалъ, чтобы Маркъ Еременъ Тугинъ — человѣкъ практическій, дѣловой, дошлый не богомольный и въ церковь не ходившій—могъ такъ думать и при томъ выражаться такъ фигурно.

«Не даромъ онъ былъ для меня всегда загадкой»,—подумалъ онъ. А Тугинъ помолчалъ, покосился изъ-подлобья кругомъ и, переступивъ съ ноги на ногу, началъ опять, понизивъ голосъ:

— Мужички сказывали, что въ Касимовскомъ дубровѣ, запрошлымъ лѣтомъ, на экомъ древнемъ древѣ, икона Смоленской Владычицы объявилась, да скрылась опять...—Онъ какъ будто еще хотѣлъ что-то сказать, но остановился, потупился и замолчалъ.

Передъ Талыгинымъ вдругъ мелькнули цѣлые вѣка, тысячелѣтія, ушедшія куда-то въ глубь таинственной, туманной древности, «какъ эти горы»,—подумалъ онъ, смотря на курившіеся верхи. Передъ нимъ мелькнули и лѣса Друидовъ, и темныя дубровы Чудской Керемети, и священные дубы Славянъ.

«Не скоро сломишь то,—подумалъ онъ,—что укрѣплялось такъ долго и вросло могучимъ корнемъ въ весь организмъ этой живой массы.—И онъ посмотрѣлъ съ грустью на прямой путь, который онъ хотѣлъ проложить. — Силы что ли у меня нѣтъ,—подумалъ онъ,—ломать все безъ оглядки и съ твердою вѣрой, что сломаннаго не воротишь?...— Онъ еще разъ посмотрѣлъ на дубы: ему живо представилось, какъ падутъ они подъ пилой и топоромъ, и онъ взглянулъ на Тугина. Тотъ стоялъ, нѣсколько сгорбивъ свою высокую, коренастую фигуру, и угрюмо смотрѣлъ, не

мигая, въ упоръ, на Талыгина своимъ глубокимъ и дикимъ взглядомъ, какъ будто прямо изъ сердца.

«Въ этомъ сердцѣ,—подумалъ Талыгинъ,—стоятъ дубы, которыхъ не возьмутъ никакіе пилы и топоры». И онъ: опустивъ голову, быстро пошелъ назадъ, по плотинѣ, на пильную мелницу.

Но не успѣлъ онъ дойти съ Тугинымъ до половины плотины, какъ съ горы, крича отчаянно и махая руками, скакалъ на неосѣдланной лошади прямо на нихъ мужикъ безъ шапки.

— А-а! Э-а! У-у-у... Маркъ Еремеичъ! —ревѣлъ онъ, задыхаясь.—Лѣсъ горитъ'.. Пановскій участокъ.

Талыгинъ съ Тугинымъ остановились. Мужикъ подскакалъ къ нимъ и, не слѣзая съ лошади, весь мокрый, хрипло заговорилъ, едва переводя духъ:

— Съ полдёнъ горитъ... Такъ и палитъ, такъ и палитъ... А вчера, слышь, поле яровое, съ пшеницей-то, все градомъ положило... въ ло-о-скъ!..

Талыгинъ приподнялъ брови. Сердце его слегка сжалось и въ то же время онъ весь ушелъ въ себя. Быстро зашагалъ онъ къ зданію мельницы.

— Ты дашь мнѣ свою лошадь!—сказалъ онъ спокойно, на ходу, Тугину.

И черезъ нѣсколько минутъ онъ уже скакалъ на сухопарой, небольшой, но горячей вороной башкиркѣ. «Бѣлотурка семьсотъ минусъ,—соображалъ онъ на скаку.—Поросль если вся... на шестнадцатъ лѣтъ, по 20%...»

Когда вмѣстѣ съ мужикомъ доскакали они до горящаго лѣса, пожаръ ужъ потухалъ. Поросль почти вся выгорѣла, Густой, удушливый, синій дымъ далеко разстилался, смѣшиваясь съ туманомъ. Кое-гдѣ догорая, щелкали и курились деревца, да по сучьямъ на землѣ перебѣгали запоздавшіе огоньки.

Талыгинъ объѣхалъ погорѣвшее пространство и остановился передъ выбитымъ градомъ полемъ. Дымъ ѣлъ ему глаза. Вся выписная бѣлотурка, уже начинавшая колоситься, лежала спутанная, вбитая въ черную, сырую землю, точно сотни конскихъ табуновъ проскакали по ней.

«Вотъ она настоящая ломка!—подумалъ Талыгинъ.—Все съ землей сравняло... Теперь далеко видно,—и онъ оглянулъ все поле и пожарище.—Нѣтъ, еще не дошли всѣ эти ломатели до этой ширы, индифферентизма ни о чемъ не думающихъ силъ. Ихъ влечетъ разрушеніе... Оно раздражаетъ и удовлетворяетъ ихъ. И чѣмъ же засѣютъ они эту пустыню? Гдѣ возьмутъ новыхъ, не выписныхъ сѣмянъ?.. Бросить это поле на произволъ природныхъ силъ—и пойдетъ по немъ дичь, и снова выростетъ на немъ то же что росло когда-то, или новое, только въ томъ же родѣ... Природу не сломишь!»

Между тѣмъ около него собралось человѣка четыре мужиковъ съ топорами и баграми. У нѣкоторыхъ изъ нихъ волосы были опалены, рубахи взмокли. Они вернулись съ пожара.

— Эка чуда случилась! — заговорилъ одинъ рыжій и курносый, весь въ веснушкахъ. — Какъ его запалило, да какъ запалило и низомъ и верхомъ, такъ и деретъ, такъ и чешетъ. Эка чуда!.. Вѣдь и вѣтру не было, и сиверко...

— Отчего загорѣлось?—допросилъ Талыгинъ.

— Кто ё знатъ?—заговорили вдругъ трое и всѣ вдругъ разомъ остановились.

— Хворостъ я счищалъ, Митръ Павлычъ,— заговорилъ опять рыжій.—вдругъ, смотрю, скачетъ дядя Памфилъ: «Горимъ!—кричитъ. Дубрава горитъ!»—Видно, кто ни-на-есть сшалилъ,—говорю...

— А это когда выбило?—допросилъ опять Талыгинъ, не слушая его и показывая на поле.

лымъ, здоровымъ умомъ, которые часто выбиваются сами изъ самыхъ тяжелыхъ колодокъ жизни. Можетъ-быть, онъ рано, не по времени, родился; но кто знаетъ, нужны ли цѣльные характеры въ наше время? Самъ себя воспиталъ онъ, самъ себя образовалъ, самъ устроилъ свои имѣнья, доставшіяся ему отъ отца и отъ жены разоренными. Не было ему и двадцати лѣтъ, какъ отецъ его—желчный, взбалмошный деспотъ и псовый охотникъ — женилъ его на богатой невѣстѣ. Съ женой Павелъ Наумовичъ ни въ чемъ не сходился; была она не просто простая бабенка, а бабенка съ придурью и съ норовомъ. Умерла она и развязала руки Павлу Наумовичу. Можетъ-быть, обрадовавшись этой волѣ, онъ пустился во всѣ тяжкія; но вскорѣ овладѣлъ собой и по закону инерціи ударился въ другую крайность: чуть не пошелъ въ монастырь и сдѣлался масономъ.

У отца онъ выпросилъ себѣ одно имѣніе, оставшееся въ забросѣ, потому что оно отъ всѣхъ рукъ отбилось. Имѣніе стояло на Волгѣ, въ одномъ изъ центровъ пугачовщины, и мужички въ немъ жили преданіями, когда еще ихъ батюшка царь Петръ Ѳедоровичъ жаловалъ. Трудно было сладить съ этими преданіями, а Павелъ Наумовичъ все-таки сладилъ. Гдѣ лаской, гдѣ грозой, а главное—упорнымъ, чуть не двадцатилѣтнимъ трудомъ, онъ выработалъ изъ этого, какъ называли его, разбойничьяго гнѣзда, Елташовки, честныхъ, дѣятельныхъ и смышленыхъ работниковъ. Правда, на первыхъ порахъ, чуть не убили его, но зато потомъ всѣ уважали и любили.

Только все-таки не поселился въ этомъ гнѣздѣ Павелъ Наумовичъ. Мѣсто было бойкое, да непріютное. Выстроилъ онъ особнякомъ, на красивой рѣчкѣ Ешкѣ, въ липовомъ лѣсу, крѣпкій домъ съ большимъ мезониномъ и назвалъ этотъ выселокъ «Липками». Комнатъ въ дому было не много, но были онѣ большія. Любилъ просторъ Павелъ

Наумовичъ и любимымъ мѣстомъ его былъ верхній балконъ, съ котораго широко открывалась мѣстность, поросшая лѣсомъ, и даже блестѣла вдали матушка Волга широкая.

Разошелся Павелъ Наумовичъ со всѣми сосѣдями-помѣщиками и ближними, и дальними, и родными, и свойственниками и даже круто разошелся, такъ что всѣ его не взлюбили и прозвали «чудотворомъ Наумычемъ».

Только и знался онъ, что съ наѣзжими дѣловыми людьми—мастерами, прикащиками, подрядчиками, да купцами лѣсными и хлѣбными. Да былъ у него не то другъ, не то пріятель, а такъ себѣ—задушевный человѣкъ, однодворецъ, Петръ Семеновичъ Культяпчиковъ. Когда бы ни проѣзжалъ въ городъ Павелъ Наумовичъ, непремѣнно сворачивалъ съ дороги и заѣзжалъ къ пріятелю на хуторокъ, даже иногда и ночевалъ у него.

Культяпчиковъ былъ человѣкъ бывалый. Долго ходилъ онъ въ Сибири, на золотыхъ промыслахъ, штейгеромъ былъ, былъ и звѣроловомъ, и въ Перми великой былъ: брусковый камень отыскивалъ и руду серебряную. Въ Пыскорьскомъ монастырѣ почти два года выжилъ. Но недобычливъ и незадачливъ былъ человѣкъ Петръ Семеновичъ. Вернулся онъ подъ старость на родину съ женой сибирячкой, не красивой, но тихой и порядливой, съ маленькою дочкой и плохимъ капитальцемъ, а его товарищи по странствіямъ шутя сотни тысячъ понаживали. Вернувшись, купилъ онъ клочокъ земли въ хорошемъ мѣстѣ, на пригоркѣ, обросшемъ дикою вишенью и бобовникомъ, надъ быстрою рѣчкой Бисертью. Выстроилъ онъ на этомъ пригоркѣ хуторокъ и вокругъ его развелъ фруктовый яблонный садикъ. И хорошъ былъ этотъ хуторокъ весной, въ цвѣтущемъ саду, точно свѣжая дѣвушка, въ бѣлорозовомъ уборѣ.

Пріютно и покойно жилось Петру Семеновичу въ этомъ

хуторкѣ послѣ всякихъ невзгодъ и приключеній. Сидитъ онъ, бывало, вечеромъ въ своемъ обыденномъ желтомъ верблюжьемъ чекменѣ, подтянутомъ черкесскимъ ремнемъ, сидитъ онъ на низенькомъ крылечкѣ со столбиками, съ котораго виднѣется далеко вьющаяся въ логу дорожка, и круглое, красное, все въ морщинкахъ лицо его и хмурится, и улыбается. Голубо-сѣрые глаза-изъ подъ нависшихъ ежомъ сѣденькихъ бровей зорко вглядываются въ даль. И вотъ издалека запримѣтитъ онъ тарантасъ Павла Наумовича и, улыбаясь, неторопливо, степенно, выходитъ черезъ калитку на тропинку встрѣчать дорогого гостя-пріятеля.

Хорошо было и Павлу Наумовичу въ чистыхъ горенкахъ тихаго хуторка. Пахло въ нихъ душицей, да новымъ сосновымъ лѣсомъ. Все смотрѣло въ нихъ порядливо и привѣтливо. Бѣлые половики и занавѣсочки точно сейчасъ вымыты. Походная винтовка-турка Петра Семеновича блеститъ на стѣнкѣ, какъ новенькая. Даже бѣлая сибирская кошка, съ длинною шелковистою шерстью, постоянно умывается, облизывается и ходитъ по половикамъ тамъ мягко, осторожно, точно боится ихъ запачкать. И въ особенности хорошо было тамъ Павлу Наумовичу по вечерамъ. Сальная свѣча горитъ ярко, потому что заботливо слѣдитъ за ней хозяйка и постоянно снимаетъ нагаръ щипцами (по-сибирски—съёмцами). Лампадка передъ иконой тихо теплится, и тихо ведетъ свои разсказы Петръ Семеновичъ о томъ, какъ онъ цѣлый мѣсяцъ въ снѣгу выжилъ, какъ онъ съ тюленями дружбу водилъ, какъ своимъ кафтаномъ рыбу нельму ловилъ, даже какъ онъ рыбу кита видѣлъ. «Цѣлыя ихъ стаи ходятъ тамъ, ровно корабли плывутъ»,—сказалъ онъ и тихо повелъ рукою.

Подрасла дочка Петра Семеновича, пошелъ ей семнадцатый годъ и стали къ ней женихи навѣдываться. Навернулся одинъ, который всѣмъ взялъ: и красивъ собой, и

смышленъ, и съ мошной (самъ гуртами торговалъ). Посмотрѣла она на него и сказала матери:

— Не неволь, мамонька, не пойду!

— Какъ не пойдешь, Аня?... Какого еще тебѣ жениха! за кого ты пойдешь?

— За Павла Наумыча.

Разсмѣялась мать, а Петръ Семеновичъ, который слышалъ это, улыбнулся и, махнувъ рукой, вышелъ въ садикъ. На другой день вечеромъ заѣхалъ на хуторокъ Павелъ Наумовичъ и ему смѣхомъ разсказали, что ихъ дочка, Агнія Петровна, за него, слышь, замужъ собралась. Павелъ Наумовичъ тоже разсмѣялся и вспомнилъ при этомъ, какъ она, меленькая, играя и смѣючись, засыпала у него на рукахъ.

Не смѣялось и не шутило одно сердце Ани. А между тѣмъ, она была веселая дѣвушка. Цѣлый Божій день, бывало, она все надъ чѣмъ-нибудь шутитъ и смѣется. Ходитъ по саду, думаетъ о чемъ-то и все усмѣхается. И расла она въ своихъ думахъ и съ своимъ тихимъ, открытымъ смѣхомъ, одна-одинешенька, безъ подругъ и знакомыхъ. Зато и мать, и отецъ были ей какъ истые друзья, съ которыми сердце ея и сжилось, и сроднилось.

Затосковала, загрустила Аня, когда уѣхалъ Павелъ Наумовичъ, и даже вся разнемоглась. Когда же онъ снова, черезъ недѣлю, мимоходомъ, заѣхалъ, да подошелъ къ ея постели, на которой она лежала больная въ жару, то посмотрѣла она на него своими голубыми, смѣющимися глазками и вдругъ, ничего не говоря, схватила его за обѣ руки, тихо заплакала и начала цѣловать эти руки.

Смутился Павелъ Наумовичъ (а отецъ и мать давно были смущены). Вернулся онъ къ себѣ въ Липки и крѣпко задумался.

«Неужели мнѣ заѣдать чужой вѣкъ?»—подумалъ онъ и посмотрѣлъ на себя въ зеркало. Смолоду онъ когда-то кра-

савцемъ слылъ, а теперь волосы его уже сильно посѣдѣли и не столько отъ лѣтъ (не было ему и пятидесяти), сколько отъ постоянныхъ думъ, хлопотъ, заботъ и ломанья себя самого. Борода большая, тоже почти сѣдая; высокій, крутой лобъ весь морщинами изрытъ; только глаза ясные, голубые, да щеки румяныя, да на полныхъ губахъ улыбка спокойная.

И вдругъ вспомнилъ Павелъ Наумовичъ одинъ масонскій стихъ:

Юность твоя въ тихомъ снѣ пройдетъ,
На старости тебя голубица ждетъ....

Задумался онъ надъ этимъ стихомъ и въ безсмыслiи его искалъ смысла къ себѣ примѣнить. А тутъ же вспомнился ему и Авраамъ съ отроковицами...

«Все равно,—подумалъ онъ,—не долго поживу я, лѣтъ десять, не больше, по крайней мѣрѣ, останется она, молодая вдова, дворянкой столбовой и не бѣдной; года ея не уйдутъ и мужа она себѣ молодого найдетъ, по сердцу». И женился онъ на Агніи Петровнѣ, къ крайнему скандалу и задору всѣхъ сосѣдей, изъ которыхъ нѣкоторые были женаты на собственныхъ крѣпостныхъ дѣвкахъ, и всѣ съ злорадствомъ кричали:

— Слышите, слышите! Наумычъ то на Культяпкѣ, однодворкѣ, женился!

Прожилъ Павелъ Наумовичъ съ Агніей Петровной не десять лѣтъ, а почти тридцать, прожилъ душа въ душу, въ любви и совѣтѣ, какъ въ древнихъ сказаніяхъ жили какіенибудь добродѣтельные царь съ царицей. Правда, были они оба тихіе, да ровные. Онъ ее ни въ чемъ не упрекалъ, только любя совѣтовалъ; она ему ни въ чемъ не перечила и смотрѣла на него какъ на оракула. Когда она была недовольна чѣмъ или сердилась, то вся какъ будто уходила

въ себя, приподнимала высоко русыя бровки и говорила грустно, не торопясь. Если же дѣло доходило до слезъ, то плакала она втихомолку, гдѣ-нибудь въ уголкѣ.

И прижили они двухъ сыновей—Дмитрія да Сергѣя. Было, правда, у нихъ и двѣ дочки-двойнички, да обѣ онѣ, по третьему году, въ одинъ день и чуть ли не въ одинъ часъ умерли.

Какъ ни старалась Агнія Петровна любить обоихъ сыновей поровну, по слову Апостола: «аще дщери и сынове имѣете, да равно возлюбите», но все какъ-то больше любила младшаго Сергѣя, и не почему другому, какъ потому, что былъ онъ строптивъ, да своеволенъ, и отца не слушалъ и ею помыкалъ, и уродился ни въ мать, ни въ отца, а какъ говорили—въ дѣда покойника. А Дмитрій росъ мирно и тихо, какъ будто его вовсе и не было. Посмотритъ на него Павелъ Наумовичъ, спроситъ что-нибудь, тотъ отвѣтитъ не впопадъ, неуклюже, и отецъ съ грустью рукой махнетъ: «дуракъ будетъ!»—подумаетъ онъ. Но, девяти лѣтъ, этотъ дуракъ самъ смастерилъ, перочиннымъ ножемъ, изъ лучинокъ мельницу, которая и молола, и толкла, и смастерилъ такъ чисто и затѣйливо, что всѣ подивились.

Павелъ Наумовичъ воспитывалъ обоихъ сыновей не въ страхѣ Божіемъ, а такъ какъ-то просто. Видѣлъ онъ на своемъ вѣку, что воспитывали дѣтей и въ строгости, и всякимъ наукамъ обучали, да выходили изъ нихъ или матушкины сынки, или батюшкины зорители. Правда, училъ онъ ихъ, да какъ-то все шутя. Ѣдетъ онъ полемъ—разсказываетъ имъ, какъ каждый хлѣбъ растетъ. Ѣдетъ лѣсомъ—толкуетъ, какое дерево лучше на дрова, какое на стройку. И въ каждомъ дѣлѣ, даже въ самомъ серьезномъ, совѣтовался онъ съ ними. И нѣсколько разъ (правда, не очень много), когда онъ дѣлалъ по ихъ совѣту, выходило удивительно хорошо и складно. А сдѣлаетъ вопреки ихъ совѣту—и вотъ, ка-

жется, вѣрно разсчиталъ, а проруха случится: червь хлѣбъ подточитъ, или цѣна на него вдругъ спадетъ. Точно гадалъ онъ по нимъ, какъ по книгѣ царя Соломона.

Когда пошелъ одиннадцатый и двѣнадцатый годъ мальчикамъ, Павелъ Наумовичъ отдалъ ихъ въ гимназію пансіонерами къ одному учителю. Не безъ сожалѣнія и тяжелаго раздумья подчинился онъ этой рутинѣ, которую не могъ обойти, даже съ его толковымъ умомъ. И вотъ начали они проходить всю педагогическую гимнастику. Проходили они такую исторію, въ которой никакой исторіи не было, а было описаніе разныхъ битвъ, мудрыхъ или злыхъ мужей и ихъ дѣяній. Проходили географію, въ которой были формулярные списки разныхъ земель, городовъ и тому подобная чепуха. Учили они и законъ Божій, въ которомъ, кромѣ закона, почти ничего не было. Распѣвали они также, цѣлымъ классомъ, хоромъ, латинскую грамматику:

«Много есть именъ на is
Masculini *g*eneris:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...»

А учитель въ это время, превратясь въ капельмейстера, билъ линейкой тактъ и ехидно прислушивался, не фальшивитъ ли кто-нибудь. Пѣли они также хоромъ при окончаніи класса, и притомъ уже во второмъ классѣ, «памятку»:

«Двѣ тетрадки въ три листа,
Три тетрадки въ два листа,
Чернильницу, карандашъ,
Перо, книгу, тряпку,
Аспидную доску,
Да еще указку,
А не то такъ—таску».

И какъ разъ была таска тому, кто забывалъ въ слѣдующій классъ принести что-либо изъ «памятки». Дмитрій слѣдилъ за братомъ, который былъ разсѣянъ, и подкладывалъ ему то тетрадку, то указку, за что Сергѣй сильно сердился.

— Что тебѣ,—говорилъ онъ,—за дѣло до меня?!..

Вынесли братья и заушенья, и оплеванья, и даже распинанья, или стоянья на окошкахъ съ распростертыми дланями, изъ которыхъ въ одной была тяжелая грамматика Цумпфта, а въ другой — не менѣе увѣсистый лексиконъ Кроненберга. Когда они разсказывали отцу о гимназическихъ порядкахъ, онъ хмурился, вспоминалъ свое воспитаніе или ломку и какъ бы въ раздумьѣ говорилъ: «терпи, казакъ,— атаманъ будешь!» Дмитрій бралъ больше прилежаніемъ и сообразительностью, Сергѣй же учился шутя, схватывая, въ минуты нервно-желчнаго раздраженія, и мгновенно запоминая то, надъ чѣмъ многіе мучительно изнывали по цѣлымъ часамъ.

Въ гимназіи оба брата держались дружно; но когда на вакацію возвращались они въ свою семью, когда, среди теплаго, ласкающаго лѣта, покоемъ, нѣгой и свободой обхватывала ихъ родная среда, они расходились, какъ чужіе. Сергѣй большею частью бродилъ по сосновому бору, или лежалъ и читалъ Марлинскаго или Лермонтова. Дмитрій то возился съ какою-нибудь замысловатою механической игрушкой, то слушалъ внимательно, не по-дѣтски, дѣловой разговоръ отца съ заѣзжимъ купцомъ и вдругъ въ разговоръ вставлялъ свое слово, да такое дѣльное, что даже купецъ дивился. Посмотритъ онъ на него и скажетъ съ улыбкой:

— Разумникъ онъ у тебя, Павелъ Наумычъ! Видно, изъ молодыхъ, да ранній...

И мальчикъ весь вспыхнетъ и тотчасъ же опять сбѣ-

житъ краска у него съ лица. Приподниметъ онъ брови и вдругъ, забывъ, о чемъ они говорили, пристально уставится на купца и начнетъ разбирать его самого. «А онъ должно быть добрый, а дѣти у него глупыя, и потому я кажусь ему разумникомъ... А когда онъ ѣстъ, то борода у него жуетъ, какъ у папа... А дома у него толстая жена, тоже добрая, и цѣлые длинные амбары, все съ сушеной рыбой... Почему мнѣ стало стыдно, когда онъ меня похвалилъ?.. А что такое стыдъ?..»

Раннимъ утромъ, когда только что начинали зарумяниваться верхушки деревьевъ и подымался чуть видный, бѣловатый паръ отъ темнаго, гладкаго пруда, Дмитрій спускался къ нему. Наскоро нѣсколько разъ окунувшись въ холодной водѣ и весь продрогнувъ, онъ торопливо, на ходу, надѣвалъ верхнее платье, темную холстинковую блузу и почти бѣгомъ отправлялся на деревню, жадно поѣдая на дорогѣ, захваченный изъ дому, большой и круто посоленный кусокъ чернаго хлѣба. На деревнѣ былъ у него пріятель, парнишка Мотя. Пріятель въ это время запрягалъ лошадь въ борону, сбираясь ѣхать въ поле.

— Что?—говорилъ онъ, искоса оглядывая Дмитрія,— снялъ свою говядину?

— Снялъ. Такъ свободнѣе...

— То-то слободнѣе...

Говядиной называлъ онъ форменный сюртучокъ Дмитрія съ краснымъ воротникомъ.

И пріятели, вмѣстѣ сидя на одной лошадкѣ, отправлялись въ поле и вмѣстѣ, по перемѣнкамъ, боронили, а потомъ вмѣстѣ полдничали квасомъ съ лукомъ и опять съ чернымъ хлѣбомъ.

— Не барска эта ѣда! — объяснялъ Мотя. — Чай тебя дома-то все сдобнымъ кормятъ, да папушникомъ?—И онъ облизнулся.

— Я и это люблю. Промнешься,—все хорошо!

Мотя ѣлъ молча. А Дмитрій думалъ: «отчего одно вкусно, а другое—нѣтъ, и отчего разные вкусы бываютъ? Отчего иногда хочется работать, и тогда все хорошо, а въ другой разъ нѣтъ?.. А отчего Мотя спросилъ меня объ ѣдѣ? Онъ должно-быть завистливъ», и онъ пристально посмотрѣлъ на него, какъ будто на лицѣ его былъ отвѣтъ.

Разъ какъ-то онъ вступился за Мотю и подрался изъ-за него съ другимъ мальчишкой. Онъ разбилъ мальчишкѣ, носъ до крови, а тотъ сбилъ его съ ногъ въ грязь и разорвалъ на немъ рубашку. Дмитрій умылся, снялъ и замылъ панталоны, но разорванную рубашку нельзя было скрыть.

«Къ чему скрывать?—подумалъ онъ.—Вѣдь это не въ гимназіи».— Пошелъ и разсказалъ все, какъ было, матери.

— Ахъ, ты, драчунъ, драчунъ, забіяка!—сказала она, качая головой.—Это все оттого, что ты съ ними водишься, съ деревенскими мальчишками... Самолюбія у тебя нѣтъ... Сережа ни за что бы не связался,—онъ гордый!

«А что такое самолюбіе?—задумался Дмитрій.—Самолюбіе значитъ—должно любить самого себя. Но тогда я долженъ защищать себя и драться, если меня обижаютъ, а за другихъ не заступаться... А что такое гордость?...»

Любилъ онъ разъѣзжать съ отцомъ по хозяйству: по полямъ и лугамъ, на пчельникъ, на толчею, на крупчатку или въ лѣсныя дачи, гдѣ гонятъ смолу, сидятъ деготь и выжигаютъ золу на поташъ. Разъ Павелъ Наумовичъ взялъ его съ собой, за сто верстъ, на кирпичный и желѣзодѣлательный заводъ, гдѣ у него были заказы. Точно новый міръ раскрылся передъ Дмитріемъ на этомъ заводѣ. Тамъ пылало и кипѣло цѣлое огненное озеро въ огромной печи, домнѣ; тамъ, сквозь темные валы, прокатывались огненные листы и съ громомъ падали одинъ на другой; тамъ стоялъ

чугунный колоссъ, медвѣдь-ножницы, и разрѣзывалъ эти листы; тамъ гремѣли толстыя цѣпи и съ страшнымъ стукомъ гигантскіе молоты били по цѣлымъ глыбамъ раскаленнаго чугуна и множество огненныхъ струй быстро бѣжало по землѣ, а огненныя брызги летѣли во всѣ стороны. И вездѣ огонь, крикъ, громъ и черныя, закоптѣлыя фигуры рабочихъ снуютъ, мечутся въ этомъ аду... Ошеломленный первымъ впечатлѣніемъ, среди оглушительнаго стука, Дмитрій не вдругъ понялъ, о чемъ ему толковали, кричали подъ ухо, но мало помалу онъ оглядѣлся и началъ разбирать, догадываться: гдѣ лежитъ руда, куда ее засыпаютъ, что такое крица, какъ выдѣлывается самое желѣзо, и даже запоминались ему разные термины. Когда же онъ уходилъ или, правильнѣе, его уводили, то онъ еще разъ, съ сожалѣніемъ, оглянулся на длинный рядъ темныхъ, черныхъ залъ-сараевъ, гдѣ мелькали уже въ отдаленіи огни. Ему жаль было разстаться съ этою кипучею, огненною дѣятельностью. Она тянула, разжигала его.

Двѣ ночи сряду онъ вскакивалъ съ постели и бормоталъ сквозь сонъ: «отворяй шплейзофеную!.. Изложницы!.. Тяни крицу!.. Ей, ключевщикъ, печейняй!»

Черезъ нѣсколько дней ему попались, довольно плохія, дѣтскія жизнеописанія Жаккарта и Уайта. И онъ воображалъ себя то тѣмъ, то другимъ, придумавалъ, чертилъ или устраивалъ модели разныхъ машинъ съ рычагами и шестернями.

«Механикъ будетъ!»—думалъ Павелъ Наумовичъ и самодовольно улыбался.

А Сергѣй нигдѣ не находилъ себѣ мѣста и покоя. Порой, когда онъ стоялъ на обрывѣ, надъ быстрою Бисертью, и его окружала успокоивающая, безстрастная тишина, передъ нимъ вдругъ вставало что-то свѣтлое, что-то манило его. Но это что-то не облекалось въ формы и снова ухо-

дило и пряталось за повседневною прозаическою жизнью, въ которой все для него было мелко, вяло и тускло. «Всѣ эти Амалатъ-беки и Демоны, какая-то восторженная чепуха,—думалъ онъ,—а на самомъ дѣлѣ тѣ только и думаютъ о томъ, какъ бы ѣсть и спать. Изъ-за этого бьются и грызутъ другъ друга.

Иногда, въ минуты неодолимой тяжести въ сердцѣ, на него находилъ припадокъ истерическаго плача и, послѣ этихъ слезъ, онъ приходилъ къ матери, грустный, и клалъ свою голову къ ней на колѣни. Она ласкала его, не вѣря себѣ, что это онъ подошелъ къ ней приласкаться, а онъ вдругъ вскакивалъ, обрывалъ ее какою-нибудь остротой, мѣткой и грубой, и съ желчнымъ смѣхомъ опять уходилъ къ себѣ.

— Ахъ, ты, дикій волчокъ, зубастый! — говорила она, ошеломленная этою выходкой.

Въ гимназіи онъ зачастую бросалъ уроки и съ злобою, отчаянною покорностью переносилъ всѣ наказанія. Разъ, будучи уже въ пятомъ классѣ, онъ, раздраженный какою-то придиркой чопорнаго, методическаго и самодовольнаго нѣмца учителя, запустилъ въ него чернильницей, какъ Лютеръ въ чорта. Его посадили въ карцеръ. Директоръ созвалъ педагогическій совѣтъ для рѣшенія, что сдѣлать съ нимъ. А онъ, въ это время, воткнулъ себѣ въ лѣвый бокъ все большое лезвіе перочиннаго ножа и чуть не истекъ кровью. Рану залечили и цѣлый мѣсяцъ онъ прожилъ въ деревнѣ. Желчь и нервы его немного отдохнули, но въ теченіе этого мѣсяца въ немъ установилось одно упорное, непреодолимое желаніе. Онъ пришелъ разъ къ отцу, и, смотря спокойно, твердо, своими большими черными глазами въ его глаза, объявилъ, что онъ пойдетъ въ военную службу. Павелъ Наумовичъ посмотрѣлъ на его исхудалое, какъ лимонъ пожелтѣвшее, лицо и угрюмо сдвинутыя брови и сказалъ, какъ бы въ раздумьѣ:

— Ступай... Но ты не выдержишь!

Черезъ мѣсяцъ онъ отправилъ его въ З... полкъ къ двоюродному дядѣ подъ команду.

А Дмитрій прошелъ весь курсъ. Въ высшихъ классахъ онъ былъ постоянно на золотой доскѣ, училъ товарищей математикѣ (вмѣсто учителя, который ничего не могъ растолковать порядкомъ) и поступилъ въ К.. университетъ по математическому факультету. Когда пріѣзжалъ онъ къ отцу на вакацію, онъ былъ дѣятельнымъ помощникомъ ему, и совѣтовалъ, и чуть ни училъ, но въ то же время и самъ учился въ разговорахъ съ толковыми практиками. И тутъ въ первый разъ понемногу, неизвѣстно изъ какихъ мелочей, началъ зарождаться и развертываться тотъ планъ, та цѣль, которую онъ теперь такъ упорно преслѣдовалъ.

Курса онъ не кончилъ, считая это дѣло совершенно излишнимъ, въ чемъ успѣлъ убѣдить и отца, а отправился за-границу и пробылъ тамъ болѣе двухъ лѣтъ. Въ Парижѣ онъ прослушалъ курсъ въ Политехнической школѣ, изучилъ довольно основательно аналитическую химію и проѣхалъ въ Англію. Тамъ въ первый разъ его глубоко поразила эта двойственная жизнь. Съ одной стороны чистокровное, чопорное, изящное, окруженное ореоломъ пышнаго блеска, барство и тяжелая, могучая монополія капитала, а съ другой—задавленный ими трудъ разъединенныхъ рабочихъ силъ. Въ особенности досадно и тяжело ему стало разъ, когда его, несмотря на рекомендательное письмо, не пустили на одну фабрику въ Бирмингамѣ.

«Кулаки-карманщики!»—подумалъ онъ.

Когда возвратился онъ въ родныя Липки и началъ еще при жизни отца вводить разныя реформы, то Павелъ Наумовичъ сначала косо и недовѣрчиво посмотрѣлъ на эти улучшенія; но когда четырехпольная система, введенная въ немногихъ участкахъ, большой скотный дворъ и при немъ

сыроварня, травосѣяніе и дренажъ дали доходъ весьма порядочный, то онъ махнулъ рукой и сознался, что «молодое впередъ идетъ, а старое старится».

И, дѣйствительно, онъ старился не по днямъ, а по часамъ, и въ послѣдніе три года совсѣмъ опустился. Правда, шелъ ужъ ему семьдесятъ-восьмой годъ. Ясные глаза его потускли, зарасли бѣльмами. Онъ совершенно ослѣпъ и тихо догоралъ, сидя по цѣлымъ днямъ на своемъ любимомъ верхнемъ балконѣ.

«Жизнь пережить — не поле перейти», скажетъ онъ, вдругъ поднявъ голову, и затѣмъ снова опуститъ ее и погрузится въ какую-то глубокую, дремотную, точно загробную думу.

Онъ умеръ въ ясный лѣтній вечеръ совершенно покойно, точно уснулъ, такъ что Агнія Петровна, которая все время не отходила отъ него и теперь сидѣла возлѣ, не замѣтила его смерти. Позвала она его идти въ комнаты,—становилось сыро,—и тутъ только разглядѣла, что передъ нею сидѣлъ уже не живой человѣкъ. Сердце у нея замерло, она оглянулась на ясное, румяное небо, по которому двѣ стрѣлки гнались одна за другой, торопливо крестясь, опустилась на колѣни передъ этимъ дорогимъ для нея трупомъ и, съ тихими слезами, припала къ его холоднымъ, высохшимъ рукамъ. Она вспомнила, какъ цѣловала эти руки, когда еще дѣвушкой лежала больная въ жару, и этимъ цѣлованьемъ, въ первый разъ, высказала ему всю свою глубокую любовь.

Вошелъ сынъ, посмотрѣлъ на эту картину и догадался, что совершилось то, чего онъ ждалъ горькимъ ожиданьемъ съ часу на часъ. Лицо его слегка поблѣднѣло, онъ наклонился и тихо поднялъ мать съ колѣнъ.

— Родная моя!—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ,—вѣдь я у тебя остался. Я не покину тебя никогда!

И она обняла его, припала головой къ нему на грудь и еще сильнѣе заплакала.

XVI.

Болѣе мѣсяца уже прошло съ тѣхъ поръ, какъ Талыгинъ въ послѣдній разъ, въ Крещенье, былъ въ Мельтюковкѣ. Работы одна за другой выплывали передъ нимъ и онъ едва успѣвалъ справляться съ ними. Наконецъ, на масляницѣ, онъ улучилъ свободную минуту и поскакалъ за разрѣшеніемъ все того же неразрѣшеннаго имъ вопроса.

А Катя всѐ время тоже работала почти безъ отдыха. Она съ жаромъ принялась приводить свою мысль въ дѣло или «экзаменовать свои силы», какъ она выражалась. Только на другой день масляницы она все еще въ раздумьѣ, довольная и недовольная результатомъ своей работы, послушалась просьбъ дѣвушекъ и отправилась съ ними въ садъ, на салазкахъ по пруду кататься. Звонъ колокольчика вызвалъ ее въ комнаты и она встрѣтила Талыгина съ смущеніемъ, какъ своего судью.

— Не знаю что и дѣлать съ ней,—жаловалась ему Марья Петровна.—По ночамъ не спитъ, пишетъ. А то еще моду завела—малевать принялась. Пристала ко мнѣ: поѣдемъ да поѣдемъ въ Вознесенское, тамъ есть дьячокъ; онъ, говорятъ, иконы пишетъ. Я у него научусь. Нечего дѣлать—съѣздили, достали ей это всего—и красокъ, и кистей, и даже дьячку дала три рубля за выучку.

Катя слушала, улыбаясь, и съ тою же улыбкой молча вышла и принесла, поставила передъ Талыгинымъ небольшой мольбертъ съ полотномъ, на которомъ была тщательно выдѣлана головка Stabat Mater Dolorosa. Головку Катя взяла съ гравюры, а для колорита ей послужила натурщицей Па-

раня. Головка вышла весьма недурно, тѣмъ болѣе, что Катя догадалась бросить на нее свѣтъ сверху. Правда, техника сильно хромала, но вѣдь не у кого было и выучиться ей.

Талыгинъ похвалилъ несмѣло; онъ признался, что не знатокъ въ этомъ дѣлѣ. И дѣйствительно, какъ практикъ, онъ занимался только черченіемъ машинъ и построекъ.

— Но,—прибавилъ онъ,—я убѣжденъ, что безъ таланта, такъ, прямо, начинать нельзя. Вы вѣдь прежде никогда не рисовали?

Катя отрицательно покачала головой.

Потомъ она принесла папку, развернула ее и показала съ десятокъ рисунковъ карандашомъ. Это были этюды съ натуры, наброски деревьевъ съ голыми сучьями или увеличенныя копіи съ разныхъ политипажей и литографій изъ книжекъ. Она принесла и самыя книжки для сравненія. Талыгинъ сравнилъ и одобрилъ.

— Теперь вы будете судьей моихъ литературныхъ подвиговъ,—сказала она и почти бѣгомъ принесла довольно толстую пачку исписанныхъ листовъ. «Быть или не быть»—подумала она съ замираніемъ сердца.

— Только я вамъ не все еще прочту,—все еще не отдѣлано,—а одинъ отрывокъ, эпизодъ изъ жизни рыцаря Эбердина.

И она прочла—сперва взволнованнымъ, потомъ окрѣпшимъ голосомъ—что-то среднее между романомъ и исторіей. Въ этомъ открывкѣ то и другое такъ тѣсно переплеталось, что нельзя было отличить, гдѣ кончалась дѣйствительность и начинался вымыселъ. Здѣсь средневѣковая жизнь со всѣмъ ея безуміемъ, романтизмомъ, болѣзненною восторженностью выходила какъ будто изъ-подъ пера очевидца. Точно перенесла въ этомъ эпизодѣ Катя свою собственную восторженность.

Когда она кончила, Талыгинъ вдругъ невольно всталъ, глаза его слегка блестѣли.

— У васъ,—сказалъ онъ съ какимъ-то тихимъ увлеченіемъ,—несомнѣнный талантъ!—И онъ посмотрѣлъ на всѣхъ. Но эти всѣ, т.-е. Марья Петровна, Анна Гавриловна и Пафнутьевна рѣшительно не понимали, о чемъ шла рѣчь, и что̀ она читала, и что̀ онъ говорилъ. Марья Петровна поняла только, что онъ хвалилъ Катю, ея Катю, и съ гордостью посмотрѣла на нее.

— Она, вѣдь, у меня умница!—сказала она.

— Постойте, это еще не все, — сказала Катя, — еще сюрпризъ. Была драма, теперь будетъ водевиль или комедія на закуску!—И она быстро развернула листы.

— А ты бы, Катя, отдохнула, да и Дмитрій Павлычъ, я думаю, усталъ тебя слушать. Да и обѣдать пора, чай, ужъ блины поспѣли.

— Я сейчасъ, мама, голубка моя, сейчасъ,—упрашивала она,—только нѣсколько страничекъ. — А Марья Петровна все-таки встала и пошла посмотрѣть, не подгорѣли ли монгольскіе блины.

Катя снова принялась читать. Голосъ ея, слегка взволнованный, былъ теперь веселъ и громокъ. Все лицо сіяло довольствомъ удачи. Она прочла нѣсколько сценъ, самыхъ простыхъ, изъ того простого мельтюковскаго мірка, который окружалъ ее и такъ хорошо былъ ей знакомъ. Это были фотографіи съ натуры. Подъ бойкими, мастерскими набросками мельтюковскіе мужички и въ особенности бабы выходили вѣрными, характерными портретами. Всѣ ихъ мелочные и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокіе интересы, потому что они вытекали прямо изъ глубины самой простой и необходимой жизни, рисовались передъ глазами слушателя съ тѣмъ комизмомъ, сквозь который невольно слышатся готовыя вырваться на каждомъ словѣ слезы. Въ особенности хороша вышла послѣдняя сцена съ полоумной бабушкой Ѳедорихой, которую въ семьѣ принимали за юродивую. Она долго раз-

суждала съ куриными яйцами, которыя были накоплены ея снохой, какъ съ живыми людьми, и, наконецъ, всѣ ихъ выбросила на дворъ, приговаривая: «курочка манахеинька къ Христову дню яичко снесла!» И всѣ рѣшили, что она это сдѣлала къ добру.

Катя не подражала различнымъ голосамъ, но и въ простомъ чтеніи сцены выходили удивительно живы и комичны. Даже Пафнутьевна улыбалась. Варя съ Лизой постоянно хихикали, смотря на улыбающіяся лица другихъ, а Анна Гавриловна докладывала:

— Страсть какъ хорошо написано!

Талыгинъ опять всталъ, подошелъ къ Катѣ и вдругъ взялъ ее за обѣ холодныя руки, лежавшія на столѣ.

— Пишите, пожалуйста, пишите!—сказалъ онъ тономъ серьезной мольбы.—У васъ тонкая наблюдательность и необыкновенная сила передачи.

«Откуда у нея взялось это чутье жизненной правды и простоты?»—подумалъ онъ.

Катя встала, закрыла тетрадь. Грудь ея сильно волновалась. Она хотѣла что-то сказать и не могла, взглянула на Марью Петровну и вдругъ упала передъ ней на колѣни и, наклонившись къ ея рукамъ, начала быстро и горячо цѣловать ихъ.

— Катя, что съ тобой?.. Катя!.. Дмитрій Павлычъ, что съ ней?.. Она плачетъ.—Но Катя такъ же быстро вскочила и убѣжала въ свою комнату. Тамъ она овладѣла слезами радости, но не волненьемъ. Стиснувъ холодныя руки, она обратилась къ маленькому образку, который висѣлъ надъ ея кроватью, и какимъ-то неслышнымъ шопотомъ, всѣмъ сердцемъ, всею мыслью прошептала:

— Ты далъ мнѣ талантъ и Тебѣ возвращу его, не какъ рабъ лѣнивый и лукавый! Пусть пройдетъ этотъ талантъ сквозь сердца людей, которымъ суждено мнѣ будетъ ска-

зать слово обновленья, укрѣпленья и возвратится къ Тебѣ, Господи, съ богатой жатвой!

Все время обѣда она улыбалась, нѣсколько разъ поцѣловала Варю и Лизу совсѣмъ не кстати, отвѣчала совсѣмъ невпопадъ и смѣялась сама надъ собой вмѣстѣ съ другими. Ей казалось, что сегодня какой-то праздникъ, большой праздникъ. Войдя въ дѣвичью, она неожиданно поцѣловала Пафнутьевну и даже Ваську, спавшаго на сундукѣ на мягкой подстилкѣ.

— Вѣдь ты меня любишь, Васька? Ты хорошій! — и она погладила его, а Васька мурлыкнулъ самымъ нѣжнымъ образомъ и вдругъ перевернулся всѣми четырьмя лапами кверху.

А Талыгинъ говорилъ съ ней о нѣкоторыхъ сценахъ. Онъ толковалъ, что это непосредственное наблюденіе надъ простыми типами весьма важно, и почему важно. Она слушала его разсѣянно и все-таки понимала. Въ такія минуты каждая мысль схватывается на лету и всегда кажется, что всѣ говорятъ какъ-то вяло, точно жуютъ.

Дорогой Талыгинъ все думалъ и доискивался, какимъ образомъ могъ возникнуть въ ней, сложиться этотъ талантъ писательницы, и какъ вообще складывается талантъ, и что онъ можетъ сдѣлать для человѣчества. «Одни слишкомъ идутъ впередъ,—думалъ онъ,—вонъ изъ среды, изъ вѣка, и тогда только становятся понятны, когда ихъ работа уже дѣлается ненужной (онъ подумалъ о Шекспирѣ). Другіе двигаютъ толпой и ведутъ ее... куда?—сами не знаютъ. И все-таки дѣйствуютъ на чувства, а потомъ уже черезъ него на умъ, на убѣжденіе, и все-таки не вся масса двинется за ними. Эта масса, инертная, неповоротливая, не пойдетъ за убѣжденіемъ, для нея нужно чудо, какой-то грубый мистицизмъ...

«Что же,—подумалъ онъ,—если эта восторженная дѣ-

вушка и поведетъ за собой только извѣстный слой, все равно и это дѣло»!

И опять передъ нимъ встала, какъ живая, эта умная, пылкая головка, которая теперь, именно теперь, была для него дороже, чѣмъ когда-либо...

«И я хотѣлъ связать эти пѣвучія силы!»—подумалъ онъ.

XVII.

Настала весна, ранняя и дружная. Почти вездѣ снѣгъ согнало съ полей, но на нихъ еще торчали засохшіе стебли какъ будто поминки по прошломъ лѣтѣ. И деревья стояли, еще съ набухшими почками, готовыми, по первому призыву теплаго луча, лопнуть и развернуться мелкими, яркими, пахучими листиками.

По настоянію Кати, въ столовой было уже выставлено одно окно, а сама она сидѣла въ залѣ и, пользуясь послѣдними лучами еще рано заходящаго весенняго солнца, вся была погружена въ работу. Передъ ней стоялъ мольбертъ и небольшое полотно, на которомъ была головка Мадонны. Катѣ захотѣлось дать этой головкѣ другое выраженіе. Долго пробившись съ масляными красками, она отложила ихъ въ сторону и, не снимая фартука, принялась выдѣлывать карандашомъ на бумагѣ то, что ей не удавалось на полотнѣ. Вся проникнутая волненіемъ, она быстро чертила, добиваясь жадно той минуты, когда это волненіе покажетъ ей рельефно, какъ въ стекла стереоскопа, именно то лицо, которое въ ея представленіи убѣгало постоянно въ какой-то туманъ.

И не слыхала Катя, какъ въ передней отворилась дверь и тихо вошелъ гость, въ Мельтюковкѣ еще не виданный, стройный молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-трехъ, въ легкой

собольей шубкѣ, пестромъ кашемировомъ кашне и круглой, черной войлочной шляпѣ. Онъ подошелъ къ растворенным дверямъ столовой и, приподнявъ шляпу, тихимъ, мягкимъ голосомъ спросилъ у изумленной, быстроглазой Даши:

— Дома Марья Петровна? Могутъ онѣ принять меня?

— Дома-съ!—отвѣчала нерѣшительно Даша.

— Вотъ потрудитесь передать имъ мою карточку.—И гость протянулъ къ ней визитную матовую карточку, на которой тонкимъ шрифтомъ было напечатано: «Михаилъ Ивановичъ Ратищевъ».

— Это имъ, что-ли, отдать?—недоумѣвала Даша.

— Да, передайте Марьѣ Петровнѣ и скажите, что я ихъ желаю видѣть.

Даша отнесла карточку и почти тотчасъ же на задней половинѣ поднялась суетня. Всѣ дѣвушки, одна за другой, поперемѣнно выскакивали въ столовую. Заглянула въ нее и Пафнутьевна. Толстая Настя пронеслась съ какимъ-то платьемъ. Послышался шопотъ: «проси въ гостиную!»

А гость какъ-то конфузливо, снявъ шляпу, стоялъ посреди передней.

— Пожалуйте, васъ просятъ туда, въ гостиную!—проговорила жеманно Даша, указывая на дверь. И Ратищевъ быстро сбросилъ шубку, кашне, галоши и остался въ черномъ рэйдъ-фракѣ, который неуклюже сидѣлъ на немъ.

Это былъ брюнетъ, средняго роста, съ лицомъ довольно правильнымъ и красивымъ, но всѣ черты котораго были слегка изогнуты. Разрѣзы небольшихъ карихъ глазъ спускались немного наружными углами внизъ, а брови, едва замѣтно переломленныя, были слегка сдвинуты. Небольшой, но совершенно прямой лобъ выдавался надъ глазами и надъ нимъ слегка свѣшивались довольно коротко обстриженные, прямые и не гладко лежащіе волосы. Прямой носъ былъ нѣсколько нагнутъ къ верхней губѣ, которая была

плотно прижата къ нижней, ярко-красной и презрительно выдававшейся впередъ. Едва замѣтные усы и бородка окаймляли правильный овалъ его матоваго, съ желтоватыми тонами и легкимъ румянцемъ лица.

Ратищевъ дошелъ до половины залы и, остановясь, быстро надѣлъ pince-nez въ золотой оправѣ, которое висѣло у него на черномъ тонкомъ шнуркѣ. Онъ былъ близорукъ и теперь только разглядѣлъ, что передъ нимъ стоитъ дѣвушка около мольберта и должно быть эта дѣвушка рисуетъ.

«Въ Мельтюковкѣ барышня рисуетъ,—подумалъ онъ,—и притомъ масляными красками!... Значитъ, здѣсь еще не совсѣмъ глушь».

Поклонившись довольно развязно Катѣ, онъ мягкою, неслышною поступью прямо подошелъ къ ней. А Катя вся переконфузилась, не зная, остаться ей или бѣжать. Ее засталъ врасплохъ незнакомый человѣкъ за дѣломъ, которое она до времени никому не хотѣла бы показывать.

— Вѣроятно, я имѣю честь видѣть дочь Марьи Петровны?—спросилъ Ратищевъ и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ.—Позвольте представиться: я—Ратищевъ... Если не ошибаюсь, мы разъ съ вами встрѣтились, хоть и давно, еще дѣтьми, у моего покойнаго батюшки.

Какъ ни безпорядочно вертѣлись отрывочныя мысли и представленія въ головкѣ Кати, но она, дѣйствительно, вспомнила, что лѣтъ семь тому назадъ мать ея была за какимъ-то дѣломъ у губернскаго предводителя Ратищева и возила ее съ собой, и тамъ она видѣла какого-то юношу, который держалъ голову кверху и помянутую оглядывалъ ее съ головы до ногъ, что ее страшно смущало. Теперь этотъ юноша, самъ слегка смущенный, стоялъ передъ ней, и она, протянувъ ему руку, крѣпко пожала его небольшую и жесткую руку, проговоривъ:

— Очень рада! Вы, вѣрно, къ моей мамѣ?

— Да. А вы рисуете?—спрашивалъ Ратищевъ, приглядываясь къ ея работѣ.

— Учусь только. Начинаю и не знаю даже, какъ начать. Не клеится.

— Отчего же? Для начала очень не дурно... Только вамъ бы необходимо больше смѣлости, сочности,—говорилъ онъ, смотря на полотно.—У васъ слаба подмалевка, а потому приходится много работать мазкомъ. Этотъ тонъ мнѣ кажется неестественнымъ, онъ, знаете... какъ-то,—и онъ повертѣлъ пальцемъ,—il est par trop terreux.

И Катѣ вдругъ тонъ, дѣйствительно, показался неестественнымъ, хотя на самомъ дѣлѣ былъ весьма естественъ и вовсе не былъ terreux.

— А потомъ глаза, если позволите замѣтить,—продолжалъ Ратищевъ,—не совсѣмъ прямо поставлены. Если вы намѣтите une ligne normale de deux tiers, то она такъ пойдетъ,—и онъ показалъ мизинцемъ въ сѣрой перчаткѣ,—и пройдетъ мимо зрачка лѣваго глаза. Не правда ли? А относительно волосъ... Извините, что я вмѣшиваюсь?...

— Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, я очень рада!—подхватила Катя, совершенно оправившись и радуясь этимъ замѣчаніямъ знатока, какъ она думала. И Ратищевъ указалъ, что и волосы совершенно плоски, въ нихъ нѣтъ рельефа.

— Конечно, они еще не выработаны,—смягчилъ онъ свой приговоръ,—но въ нихъ нѣтъ натуры, они просто накрашены.

Потомъ онъ указалъ на недостатки въ тѣняхъ, въ контурѣ лица, такъ что, наконецъ, отъ картины ничего не осталось нетронутымъ и всю ее приходилось начинать съ начала. У Кати опустилось сердце. Она вспомнила и ту картину, которую похвалилъ нерѣшительно Талыгинъ, но и въ той были тѣ же, или почти тѣ же недостатки.

Въ это время тихо вошла переодѣтая и пріодѣтая Марья Петровна. Ратищевъ раскланялся.

— Я рада, очень рада видѣть васъ,— проговорила Марья Петровна нервно-усталымъ голосомъ, подавая ему неловко руку и по чертамъ лица его вспоминая черты его матери, когда-то любимой и почти забытой подруги ея молодости.

Они вошли въ гостиную. Марья Петровна усадила гостя на кресло.

— Я пріѣхалъ передать вамъ одну вещь... Извините, что поздно. Я недавно нашелъ ее въ бумагахъ отца.—И онъ развернулъ небольшой свертокъ и передалъ что-то въ родѣ книжечки, тщательно завернутой въ бумагу и завязанной на-крестъ черной ленточкой, изъ-за которой виднѣлась надпись уже пожелтѣвшими чернилами: «милому другу моему Машѣ Мельтюковой на память отъ несчастной Саши Ратищевой».

Марья Петровна быстро, нервно сдернула ленточку и развернула бумагу. Глаза ея замигали, лѣвая половина лица начала сильно подергиваться. Въ бумагѣ былъ маленькій, очень хорошо знакомый Марьѣ Петровнѣ, альбомъ въ красномъ сафьяномъ переплетѣ, пансіонскій альбомъ матери Ратищева, въ которомъ было вписано рукой Марьи Петровны криво и безграмотно: «Я люблю милую Сашу всѣмъ сердцемъ и душой, никогда ее не забуду и желаю ей много счастья и хорошей доли». Лицо Марьи Петровны потемнѣло при этомъ листкѣ изъ какого-то далекаго, беззаботнаго времени. Передъ нею быстро промелькнула ея жизнь и жизнь ея подруги, и она еще сильнѣе замигала, вынула платокъ, торопливо отерла побѣжавшія слезинки и высморкалась.

— Благодарю васъ,—сказала она измѣнившимся голосомъ.—Мнѣ очень жаль вашу матушку! Мы были такъ хороши съ нею (дружны, хотѣла она сказать).

Ратищевъ помолчалъ нѣсколько минутъ ради приличія и потомъ началъ болѣе мягкимъ и слегка смущеннымъ голосомъ:

— У меня есть до васъ небольшая просьба или, правильнѣе, предложеніе. Я желалъ бы съ вами помѣняться участками. Вамъ, вѣроятно, извѣстно, что ваши владѣнія входятъ въ мои черезполосицей. Лѣсъ по Межихѣ клиномъ вошелъ въ мои поля.—Онъ помолчалъ, какъ будто ожидая подтвержденія, и не дождавшись, опять продолжалъ.—Если бы вы согласились уступить этотъ клинъ мнѣ, я предложилъ бы вамъ участокъ, что за нимъ лежитъ. Правда, въ этомъ участкѣ лѣсу нѣтъ, но земля, кажется хорошая... (онъ навѣрно зналъ, что на полѣ были мочежины).—А взамѣнъ лѣсу я отрѣзалъ бы вамъ отъ Лепихинской дачи поросли двѣ десятины, такъ что земли набралось бы больше: за ваши десять десятинъ я передалъ бы вамъ около двѣнадцати... Мнѣ только, вы понимаете, не хочется имѣть черезполосицы.

Марья Петровна уже забыла свое волненіе. Она усиливалась припомнить, сообразить, какой участокъ у нея просятъ и что ей предлагаютъ, и не могла вспомнить и понять. Только мигала глазами.

— Вы бы, Михаилъ Иванычъ,—начала она робко и ласково,—къ бурмистру Михеичу обратились бы, онъ лучше знаетъ, а я согласна. Вы ужъ навѣрно, меня, подругу вашей покойной матушки, не обидите.—Она кротко улыбнулась.

Михаила Ивановича слегка покоробило при этой надеждѣ.—«Чего-жъ ей, въ самомъ дѣлѣ, надо?—подумалъ онъ.—Кажется, я ей предлагаю хорошій обмѣнъ».

— Такъ я обращусь,—сказалъ онъ нерѣшительно,—къ вашему управляющему. Позвольте считать это дѣло покончennымъ?

— Да, да, покончennымъ.

— Акты вы подпишите?

— Съ удовольствіемъ подпишу.

Разговоръ прервался. Ратищевъ искоса оглянулся кругомъ. На столѣ передъ нимъ лежалъ развернутый томъ Gereau: «Essai sur la religion et la morale». Онъ приподнялъ брови и, какъ будто не довѣряя глазамъ, взялъ книгу.

— Это, вѣроятно, ваша дочь читаетъ?—спросилъ онъ.

— Да, она у меня все читаетъ. Нынче все какъ-то по ученому пошло. Я, право, ужъ и не знаю... Она еще что-то хотѣла прибавить, но посмотрѣла на него пристально, и остановилась.—Катя,—закричала она, какъ будто вдругъ что-то вспомнивъ.

А Катя была у себя въ комнатѣ передъ своими рисунками. Она разложила ихъ въ глубокомъ раздумьѣ и разсматривала.—«Неужели я ошибаюсь въ себѣ?! Да и онъ тоже (она подумала о Талыгинѣ)... Никто самъ себѣ не судья. Развѣ пойти показать ему? Онъ, очевидно, знатокъ». И чувство довѣрія къ авторитету, успокоительное, но часто обманчивое чувство, потянуло ее. Она сложила рисунки въ картонку.—«Неужели онъ все забракуетъ?—спрашивала она.—Что-жъ изъ этого. Не надо лжи и ошибокъ... нигдѣ». И, захвативъ картонку, она вошла въ гостиную.

Ратищевъ сидѣлъ развалясь, нѣсколько сгорбившись, и перелистывалъ книгу.

— Катя!—обратилась къ ней Марья Петровна и, вдругъ остановясь, почти съ ужасомъ посмотрѣла на нее. Катя была все въ томъ же темномъ холстинковомъ, клѣтчатомъ платьѣ и даже фартукъ позабыла снять, даже не поправила своихъ густыхъ черныхъ волосъ, такъ что тяжелая, толстая коса ея немного свалилась на сторону.—«Что онъ о ней подумаетъ?! — соображала Марья Петровна.—Вонъ онъ даже въ перчаткѣ сидитъ»—и она покосилась на Ратищева.

— А я къ вамъ съ просьбой,—обратилась къ нему Катя, слегка покраснѣвъ.—Посмотрите, пожалуйста, эти рисунки и скажите также объ нихъ ваше мнѣніе.

И она торопливо развернула картонку и показала ему то, что она уже показывала Талыгину, и еще нѣсколько новыхъ рисунковъ. Въ этихъ этюдахъ всего замѣчательнѣе было разнообразіе въ манерѣ рисовки. По нимъ знатокъ могъ бы ясно видѣть, какъ, шагъ за шагомъ, съ умнымъ, толковымъ разборомъ и терпѣніемъ Катя доходила до штриховъ самыхъ смѣлыхъ и обдуманныхъ. Но ничего этого не видалъ Ратищевъ. Онъ недовѣрчиво, съ худо скрытой небрежностью, молча пересмотрѣлъ эти рисунки. Катя пристально слѣдила за его лицомъ, стараясь прочесть на немъ свой приговоръ; но на этомъ лицѣ ничего не было, кромѣ неподвижной, какой-то неопредѣленной мины.

— Это все очень мило и недурно,—сказалъ онъ наконецъ...—для начинающаго. Можетъ быть, у васъ разовьется талантъ... Такихъ рисунковъ я видѣлъ много въ рисовальныхъ школахъ... Напримѣръ, въ Дюссельдорфѣ... Но знаете ли, можетъ быть я и ошибаюсь, но мнѣ кажется, талантъ, un vrai talent...—онъ остановился, пріискивая какое-нибудь сильное сравненіе, и не нашелъ его.—Талантъ не стѣсняется никакой школой, рутиной. Онъ самобытенъ. Вы его замѣтите въ каждомъ штрихѣ... Par exemple, возьмите Густава Дорэ: это—талантъ несомнѣнный. Я видѣлъ его рисунки, которые онъ дѣлалъ еще десятилѣтнимъ мальчишкой,—просто перомъ, чернилами набросаны. Что это за сила въ каждомъ штрихѣ!.. Впрочемъ,—прибавилъ онъ съ кислосладкой улыбкой, вглядываясь въ одинъ изъ рисунковъ,—я съ удовольствіемъ помѣстилъ бы вашу работу въ мой альбомъ... un croquis... у насъ какъ-то вообще женщины мало занимаются рисовкой.

Этотъ грубый комплиментъ окончательно отрезвилъ Ка-

тю.—«Значитъ, нѣтъ надежды,—подумала она,—если онъ хочетъ позолотить пилюлю». И она тихо, какъ бы нехотя, собрала рисунки и положила ихъ опять въ картонъ. Ей вдругъ сильно захотѣлось куда-нибудь швырнуть этотъ картонъ и заплакать.

— Катя, — сказала Марья Петровна нерѣшительно, — что-жъ чай?

— Чай готовъ,—отвѣтила она недовольнымъ тономъ.— Милости просимъ! — и она быстро подошла и порывисто распахнула обѣ половинки двери въ залу.

— Какъ же такъ?! — ужаснулась Марья Петровна. — Сюда надо!

— Сдѣлайте милость,—сказалъ, вставая, Ратищевъ,—пожалуйста, не стѣсняйтесь мной. Я пойду, куда позовете или прикажите. Притомъ мнѣ ужъ и пора. — Онъ быстро вынулъ толстые золотые часы съ эмалью и взглянулъ на нихъ.— Хотѣлось бы мнѣ засвѣтло добраться до Рагузина, къ одному знакомому.

— Да вы успѣете,—начала упрашивать Марья Петровна,— накушайтесь чаю... Тутъ всего верстъ пятнадцать будетъ, а дорога теперь, говорятъ, хорошая, песокъ размокъ, не вязнетъ.

Ратищевъ молча поклонился, и всѣ отправились въ столовую, гдѣ около самовара хлопотала уже ad interim Анна Гавриловна. Катя начала задумчиво доливать чайникъ. Ей все казалось, что онъ, этотъ незнакомый человѣкъ, затворилъ передъ ней одну половинку ставень въ ея свѣтломъ окошкѣ. «Что-жъ? Мнѣ остается другая половина», — утѣшала она себя.—«Полно, остается-ли?»—спрашивалъ ее изнутри строгій, смущающій голосъ.

— Какъ вамъ нравится эта книга Gereau?—спрашивалъ ее Ратищевъ, усѣвшись подлѣ нея на стулъ.

— Право, не знаю, какъ вамъ сказать, — отвѣчала она

съ едва замѣтной, грустной улыбкой.—Я не судья, я только учусь. Мнѣ кажется, онъ во многомъ правъ. Я только не знаю, почему часто авторы такихъ... какъ это сказать... разсужденій все пускаются въ какія-то отвлеченности. Мнѣ кажется, тутъ и разсуждать вовсе не слѣдуетъ (грѣшно — хотѣла она сказать)... Надо только стараться примѣнить все это къ жизни, ко всѣмъ ея сторонамъ, согласить, чтобы жизнь была лучше.

Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее. «Она неглупа и даже очень неглупа,—подумалъ онъ,—и такая хорошенькая». Онъ ее не понялъ.

— Вы правы,—сказалъ онъ.—Всякій культъ тогда только и держится прочно, когда онъ многостороненъ, широкъ, когда онъ удовлетворяетъ разные слои общества и вмѣстѣ съ тѣмъ не мѣшаетъ жизни. Но именно въ этомъ-то и задача.

Теперь она на него посмотрѣла съ недоумѣніемъ.

— Какъ это вы говорите, — слои, и чтобы не мѣшало жизни?—сказала она.

— Да, чтобы не связывать ее et du tout il faut la libertè de la conscience... comme vous savez. Культъ можетъ, въ грубомъ, простомъ его видѣ, держаться крѣпко chez un peuple, если онъ не стѣсняетъ обычаевъ, потому что они, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, держатся крѣпче всякаго культа... Et puis... можно встрѣтить въ низшихъ слояхъ какую-то амальгаму изъ стараго и новаго... Возьмите, напримѣръ, le Carnaval, ce boeuf gras... или нашъ семикъ.

Онъ говорилъ какъ-то вяло, какъ бы выдавливая каждое слово, но твердо, дидактически, тономъ, не допускавшимъ возраженій. Иногда онъ не вдругъ подбиралъ слово и при этомъ сосредоточенно хмурился, бѣгалъ глазками, дѣлалъ жестъ рукой, а въ крайнихъ случаяхъ даже притопывалъ небольшой ножкой, обутой въ лакированный ботинокъ.

— Притомъ вы согласитесь,—говорилъ онъ,—что культъ въ его первоначальномъ, нетронутомъ видѣ можетъ быть только въ грубомъ обществѣ, а то... vous concevez, il y a des differents couches... одинъ надъ другимъ они требуютъ разныхъ оттѣнковъ культа, il y a des degrés du developpement... развитія...

«Кто ихъ поймете!—думала Марья Петровна, усиленно хлопая глазами.—Какое-то развитіе...» У нея являлось представленіе о развивающемся клубкѣ.

— Однихъ удовлетворяетъ,—продолжалъ Ратищевъ,—только грубая внѣшность, обрядъ, суевѣріе. Другіе ищутъ символовъ и даже чего-то въ родѣ философіи, напримѣръ, эти духоборцы... А тамъ еще выше является уже культъ pour ainsi dire dépouillé et distillé... Возьмите, напримѣръ, этихъ унитаріевъ или (глазки его сильно забѣгали) этого Ренана... Онъ уже ведетъ къ деизму, пантеизму, а тамъ, дальше, начинается широкое поле всякихъ вѣрованій... ad libitum, которыя заканчиваются...

— Катя, вѣдь, чай-то простынетъ, что же ты?!—напомнила Марья Петровна.

И Катя вдругъ спустилась съ облаковъ. Она всѣми силами старалась вдуматься, понять Ратищева и... не понимала. Ей казалось только, что передъ ней открывается что-то совершенно новое.

— Я не читала Ренана,—призналась она.

— Не читали?!. Да, онъ недавно вышелъ... Онъ мнѣ кажется лучше Штрауса... il y a de la poésie... C'est un talent.

— Катя! — опять остановила ее Марья Петровна. — Ты точно спишь!..

Она окончательно проснулась, увидала, что наполнила свою чашку чуть не до-верху сахаромъ, улыбнулась, взглянула на Ратищева и принялась наливать ему стаканъ.

— Пажалуйста, не крѣпко, — попросилъ онъ, — а сахару я попросилъ бы больше.

— «Онъ, вѣрно, нервный, — подумала она, — и любитъ сладкое».

— Знаете ли, — началъ опять Ратищевъ, принимая съ легкимъ поклономъ стаканъ и видимо довольный тѣмъ, что произвелъ сенсацію. — Вы совершенно правы, здѣсь не надо разсужденій.

Lass die frommen Hypothesen,
Lass die heiligen Parabolen,

и не ищи никакихъ «verdammten Fragen!» и будешь счастливъ... A la fin... люди всегда ищутъ лучшаго... За неимѣніемъ чѣмъ удовлетвориться вблизи, они... идутъ за предѣлы видимаго... Всякій культъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ можетъ дать довольство, примирить съ окружающимъ или дать надежду въ будущемъ. Вспомните римскихъ рабовъ...

Катѣ вдругъ показалось что-то темное, отталкивающее въ этихъ словахъ.

— Я не знаю, — сказала она, — мнѣ кажется, вы ошибаетесь... Не религія даетъ довольство, а наши къ ней отношенія... И что-то еще... Вотъ у насъ есть мужикъ Степанъ, бобыль. Онъ очень доволенъ жизнью и счастливъ. И ѣстъ каждый день картофель съ масломъ, который онъ очень любитъ. А священника бранитъ, никогда не молится и въ церковь не ходитъ, говоритъ, тамъ ладономъ пахнетъ.

— Это точно, — подтвердила Марья Петровна, обрадовавшись, что, наконецъ, разговоръ попалъ на что-то понятное. — Но только вѣдь это и мужикъ какой-то полоумный, прости Господи! А счастіе, я вамъ скажу, это — кому Богъ пошлетъ. Иной и милліоны имѣетъ, а все не-

счастливъ, все какъ будто чего-то ему недостаетъ, а другой и бѣденъ, да благодаритъ Господа.

Татищевъ молча слушалъ, выпивая маленькими глотками чай. Катя подмѣтила у него при этомъ тонкую усмѣшку и не столько на губахъ, какъ въ прыгавшихъ, слегка прищуренныхъ, глазкахъ.

На дворѣ зазвенѣлъ колокольчикъ и къ крыльцу подъѣхалъ легкій тарантасикъ, въ видѣ коляски. Приземистый, неуклюжій смуглый лакей, въ теплой ливрейной шинели, соскочилъ съ козелъ и вошелъ въ переднюю.

— А гдѣ же были ваши лошади?—освѣдомилась Марья Петровна.

— Онѣ были на деревнѣ... Сломалось тутъ что-то, валекъ, что ли, такъ его чинили. — И онъ допилъ стаканъ, медленно всталъ и началъ раскланиваться.

— Что-жъ вы еще чаю?!—удивленно заговорила Марья Петровна. — Такъ торопитесь!..

— Мнѣ, право, пора, — сказалъ онъ какъ-то нерѣшительно и протянулъ руку Катѣ. — Очень радъ, что имѣлъ случай познакомиться съ вами, — сказалъ онъ, бѣгая глазами, и, слегка пожавъ ей руку, обратился къ Марьѣ Петровнѣ.

— Да вы не закусите ли чего-нибудь на дорогу? — попотчивала она, — легонькаго... грибочковъ?

— Нѣтъ, покорно благодарю, я никогда не закусываю.

— Милости просимъ въ другой разъ когда-нибудь къ намъ. Мы съ вашей матушкой очень, очень были хороши, когда она въ дѣвушкахъ была.

Ратищевъ уже надѣвалъ въ передней съ помощью лакея шубу, кашне и калоши.

— Добраго вечера! — сказалъ онъ, расшаркиваясь, и вышелъ на крыльцо.

«Синій чулокъ или просто une tête sérieuse?—подумалъ онъ, садясь въ тарантасъ. — А, право, прехорошенькая!»

И почти всю дорогу онъ думалъ о ней, вспоминая ея слова и движенія. «Съ умомъ и тактомъ, trés distinguée»— и онъ вспоминалъ ея оживленное, умное лицо и свѣжій ротикъ, и бѣлыя ручки съ длинными пальцами,—eine ächte psychische hand Каруса, — подумалъ онъ. — И этотъ стройный бюстъ съ сдержанно волнующейся грудью. Ces formes sveltes et gracieuses!.. На кого она похожа? — думалъ Ратищевъ и не могъ придумать...—Elle est tout à fait originale, и онъ пожалъ плечами,—une naturelle de Meltukoffka!..»

А лошадки несли тарантасикъ легкой рысцой и черезъ два часа подкатили его къ маленькому флигелю большого каменнаго дома, гдѣ жилъ товарищъ Ратищева по университету, богатый помѣщикъ, Пенязевъ. Онъ встрѣтилъ Ратищева шумно, какъ субъекта, съ которымъ можно болтать, оставилъ его ночевать и болталъ безъ умолку, вспоминая разные слухи, разныхъ Clemence и Hortense и разбирая до тонкости, гдѣ и въ чемъ собственно у нихъ, у каждой ess-bouquet сидитъ, а Ратищевъ слушалъ его разсѣянно и какъ-то недовольно.

— Да ты что?!—спросилъ его вдругъ Пенязевъ, наливая ему за ужиномъ замороженное шампанское въ плоскій бокалъ изъ тонкаго стекла, — влюбленъ, что-ли?

— А что? — торопливо отвѣтилъ Ратищевъ и выпилъ вдругъ залпомъ весь бокалъ.

А Катя по отъѣздѣ его взяла свою картонку и въ глубокомъ раздумьѣ снова пересмотрѣла всѣ рисунки.

— За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!.. Ну, а если и тамъ ничего?..—И сердце у нея замерло. Опять какая-то темная пустыня открывалась передъ ней.

— Да кто же онъ?—вдругъ спросила она. И, отбросивъ всѣ рисунки и картонку, она отправилась къ Марьѣ Петровнѣ.

— Мама, — сказала она, — кто это такой?.. Что такое онъ тебѣ привезъ?.. Ты была дружна съ его матерью?

— Ахъ, какой деликатный! — начала удивляться Анна Гавриловна!—Какой деликатный... Вѣдь ему, матушка, говорятъ, послѣ Ивана Тимоѳеича осталось четыре тысячи душъ!

— Нынче, Анна Гавриловна, не считаютъ на души! — остановила ее съ нетерпѣніемъ Катя. А Марья Петровна посмотрѣла на нее, на Анну Гавриловну, на чулокъ, который она вязала, и принялась разсказывать, иногда прерывая свои слова слезами, о томъ, что давно случилось и поросло уже забвеніемъ, какъ травой могильной.

XVIII.

Родъ Ратищевыхъ записанъ въ герольдіи въ четвертой книгѣ.

Иванъ Тимоѳеевичъ Ратищевъ изъ всѣхъ силъ пытался доказать свое происхожденіе отъ князей Варяжскихъ, но, истративъ на это болѣе тридцати тысячъ и не видя конца дѣлу, съ крайнимъ огорченіемъ бросилъ его. Впрочемъ, въ видѣ утѣшенія, онъ повѣсилъ въ одной изъ парадныхъ залъ своихъ, въ золотой рамѣ, огромную карту родословнаго древа древняго рода Ратищевыхъ съ кружкомъ у корня, въ которомъ было вписано: «Радунъ, князь Варяжскій». Съ тридцатаго года онъ безсмѣнно, по закону инерціи, каждое трехлѣтіе былъ избираемъ с... дворянскимъ губернскимъ предводителемъ.

Вся колоссальная фигура Ивана Тимофеевича поражала грандіозною, монументальною неподвижностью. На его одноцвѣтномъ сѣро-желтомъ лицѣ, съ гладко выбритымъ, вывыдавшимся подбородкомъ, съ большимъ, убѣгавшимъ на-

задъ, лбомъ, съ тусклыми сѣрыми глазами, съ толстой нижней губой и съ неизмѣнной, какой-то благосклонной, точно окристаллизованной улыбкой, ничего нельзя было прочесть, кромѣ спокойствія и безграничнаго величія. Онъ постоянно носилъ бѣлый жилетъ и галстухъ, умѣлъ кланяться, не сгибая головы, и если поворачивался, то всегда всѣмъ корпусомъ, какъ будто шея у него была вовсе неподвижна, умѣлъ говорить, почти не оборачиваясь къ слушателю, какимъ-то изысканно-учтивымъ, но твердымъ, безапелляціоннымъ голосомъ. Въ дворянскомъ собраніи онъ завелъ что-то въ родѣ тронной залы, гдѣ предсѣдательствовалъ на высокомъ, обитомъ бархатомъ, креслѣ съ золотыми кистями. Губернскіе остряки звали его втихомолку «высокостульнымъ высочествомъ», но явно, точно также какъ и всѣ, преклонялись передъ нимъ, передъ его богатствомъ, связями. Даже самый законъ нѣмѣлъ передъ нимъ, хотя онъ и былъ строгимъ законникомъ... тамъ, гдѣ дѣло не касалось лично его. Онъ женился рано, на старой, безцвѣтной дѣвѣ, также изъ древняго рода князей Опокчиныхъ. Овдовѣвъ послѣ пятилѣтней женатой жизни, онъ завелъ какую-то интрижку, которую тщательно пряталъ въ одномъ изъ своихъ отдаленныхъ помѣстій. Никто не зналъ о ней или не смѣлъ говорить. Сорока-восьми лѣтъ, онъ, въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и въ новомъ камергерскомъ мундирѣ, съ огромнымъ ключомъ, собирался ѣхать ко дворцу—представляться. Къ этому представленію онъ приготовлялся какъ къ какому-то таинству, и вдругъ на одномъ дворянскомъ балу былъ пораженъ замѣчательною красотой. Правда, на нее, на эту молоденькую, семнадцатилѣтнюю дѣвушку засматривались почти всѣ и многіе увивались около нея. Стройная, высокая, она преклоняла предъ собою всѣхъ этою царственною стройностью, роскошью бѣло-розоваго бюста, правильными, почти античными чертами свѣжаго

личика. Иванъ Тимоѳеевичъ и просіялъ, и потемнѣлъ въ одно время, увидавъ эту Венеру. Ему вдругъ представилось, какой бы блестящій эффектъ она произвела при Дворѣ. Ему даже живо представилось, какъ всѣ замѣчательныя дипломатическія лица обернутся на нее и, не отрывая глазъ, начнутъ допытываться, кто это, кто это?!—C'est m-me de Ratischteff» — слышался ему одобрительный, восторженный шопотъ, и благосклонная улыбка его губъ при этомъ дѣлалась еще благосклоннѣе.

Не далѣе, какъ черезъ недѣлю онъ подкатилъ, четверней съ двумя лакеями, къ сѣренькому скромному домику той бѣдной семьи, къ которой принадлежала будущая m-me de Ratischteff. Отецъ, владѣтель шестидесяти пяти перезаложенныхъ душъ, оторопѣвъ и растерявшись, самъ не зная почему, напялилъ въ попыхахъ потертый дворянскій мундирчикъ и выскочилъ въ залу принять высокую особу, сказочнаго принца. Низко кланяясь и не осмѣливаясь даже пожать милостиво протянутыхъ трехъ пальцевъ, онъ усадилъ Ратищева на диванъ. А тотъ, развалясь, заговорилъ о какомъ-то дѣлѣ, давно завалявшемся въ его канцеляріи, о какихъ-то пяти черезполосныхъ десятинахъ, которыя оспаривалъ будущій его тесть у такого же, какъ онъ, мелкопомѣстнаго сосѣда. Ратищевъ обѣщалъ содѣйствіе, покровительство, и будущій тесть постоянно кланялся. Онъ вызвалъ и жену, точно также надѣвшую какой-то праздничный парадный мундиръ. И она тоже кланялась и благодарила, сама не зная за что. Вывели, наконецъ, и дочь, одѣтую точно на-показъ, по-купечески, декольте. Она конфузилась и краснѣла не менѣе отца и матери, но тѣмъ болѣе было поводовъ любоваться ею, ея стыдливымъ яркимъ румянцемъ, который разливался по всему роскошному, трепетно колыхавшемуся, бюсту. Сдержанно, пѣвучимъ голосомъ отвѣчала она на милостивые, слегка заигрывающіе, вопросы покро-

вителя и будущаго супруга. А онъ все съ тою же благосклонной улыбкой довѣрчиво посматривалъ на отца и мать, какъ будто говоря: видите, какой еще она добрый, невинный ребенокъ.

Черезъ пять дней онъ прислалъ письмо съ формальнымъ предложеніемъ. Не согласиться на него было бы, конечно, безуміемъ, уголовнымъ преступленіемъ. Отецъ, прочитавъ его, и захохоталъ, и зарыдалъ, и тотчасъ же бросился служить молебенъ какой-то чудотворной иконѣ. Мать, вся ликующая, расцѣловала у дочери и лобъ, и глаза, и руки въ экстазѣ художника, довольнаго и гордаго своимъ произведеніемъ. Даже маленькій братъ гимназистъ съ уваженіемъ посмотрѣлъ на сестру и съ важностью обдернулъ свой мундирчикъ передъ зеркаломъ. А она не понимала хорошенько, что съ ней дѣлалось и что хотятъ съ нею дѣлать. Она чувствовала только испугъ, рыдала долго, сосредоточенно, сама не зная отчего. Мать поила ее съ уголька... Няня опрыскивала настоемъ изъ плакунъ-травы и читала надъ ней наговоръ отъ переполоха. Слезы, наконецъ, унялись. Женихъ прислалъ ей богатое collier и пять кусковъ шелковыхъ матерій на платья. Все это какъ-то немного успокоило, утѣшило ее, какъ игрушка, новинка ребенка. Вѣдь еще такъ недавно, прошлымъ лѣтомъ, бѣгала она въ деревнѣ, совершенно по-дѣтски, въ перегонки съ дворовыми дѣвушками. Эта деревня, блаженные «Задворчики», съ свѣтлымъ, уютнымъ домикомъ, съ садомъ изъ яблонь и густыхъ старыхъ липъ, съ тихой тинистой рѣчкой и съ тихой, доброй подругой Машей Мельтюковой, представлялась ей теперь какимъ-то мирнымъ, надежнымъ пріютомъ, куда она могла спастись, убѣжать—отъ чего?—она сама не знала. Женихъ ей казался чѣмъ-то въ родѣ статуи командора въ Донъ-Жуанѣ, и каждый разъ она крестилась прежде, чѣмъ выходила къ нему въ гостиную. А онъ обращался съ ней съ такою

обязательною снисходительностью, иногда полушутливо давалъ ей совѣты въ духѣ религіозно-нравственномъ, или дѣлалъ ей что-то вродѣ экзамена изъ французскаго языка, причемъ она должна была, краснѣя и заикаясь, выкладывать передъ нимъ весь свой весьма скудный запасъ свѣдѣній въ этомъ діалектѣ, пріобрѣтенный ею въ теченіе двухлѣтняго пребыванія въ пансіонѣ. «Плохо!—думалъ Иванъ Тимоѳеевичъ.—Надо будетъ нанять ей учителя!» И дѣйствительно, впослѣдствіи онъ ей нанялъ учителя изъ поляковъ, пана Бржесневскаго.

Черезъ три недѣли ее, блѣдную и трепещущую, обвѣнчали, и стала она—изъ простой Саши Меркуновой—Александрой Павловной Ратищевой.

Иванъ Тимоѳеевичъ свозилъ ее какъ куклу на показъ ко всей своей многочисленной роднѣ. Всѣ приняли ее съ изысканнымъ, приторнымъ радушіемъ и даже подобострастіемъ; одна только княгиня Алалова сказала Ивану Тимоѳеевичу: «Что это, батюшка, ты на старости лѣтъ бѣса въ ребро пустилъ, связался съ младенцемъ! Откуда соблазнилъ этакого ребенка? Вѣдь она тебѣ во внучки годится!» Представилъ онъ и ко Двору, но при Дворѣ на Александру Павловну почти никакого вниманія не обратили.

Чуть ли не съ перваго медоваго мѣсяца она почувствовала безотчетный ужасъ безпощадной, пожизненной тюрьмы въ великолѣпныхъ, раззолоченныхъ, бѣло-мраморныхъ залахъ среди атласа, бархата и роскошныхъ пальмъ, которыя гордо развертывали свои вѣерные листы. Иванъ Тимоѳеевичъ медленно, какъ удавъ, сдавливалъ ее постоянно замѣчаніями и наставленіями. Она боялась и безотчетно ненавидѣла его тусклые глаза, и благосклонную улыбку, и любезно-твердый говоръ. Все кругомъ ее было монотонно, этикетно, величественно, все такъ чуждо всему, къ чему привыкло съ дѣтства ея сердце. Нерѣдко ей представлялся

въ мечтахъ или во снѣ ея тихій деревенскій уголокъ (на яву Иванъ Тимоѳеевичъ не пускалъ ее туда), представлялась ей простая жизнь, ласковыя лица, добрый, тихій говоръ, звонкій, искренній смѣхъ и глубокая искренняя любовь, которая качала ее съ колыбели въ своихъ теплыхъ, сердечныхъ объятіяхъ. И вдругъ просыпалась она посреди ея громадной спальни, подъ великолѣпнымъ балдахиномъ, подлѣ ея величаваго мужа-господина, окруженная всѣмъ холодомъ роскоши, и думала, думала, что съ ней сталось, и, наконецъ, рѣшила, поняла, что надъ молодою ея жизнью крышка захлопнулась.

XIX.

Черезъ годъ у нея родился сынъ. Медики, осмотрѣвъ ее, рѣшили, что другихъ родовъ она не перенесетъ, что она poitrinaire. Иванъ Тимоѳеевичъ поморщился и отвелъ ей особую половину.

Когда она пришла въ себя и ей поднесли ея ребенка, ея сына, ей показалось, что передъ ней раскрылись двери темницы. Тихое, такъ давно не ласкавшее ее чувство любви обхватило ея сердце. Все, чѣмъ было полно оно до замужества, всѣ тихіе восторги семейной жизни и весь пылъ, трепетъ женской страсти снова воскресли передъ ней въ ея сынѣ. «Ты—моя радость, счастье, все!»—шептала она, восторженно цѣлуя его. Теперь весь пустынный дворецъ Ивана Тимоѳеевича вдругъ наполнился для нея чѣмъ-то неопредѣленнымъ, но милымъ, жизненнымъ. Теперь, когда порой она просыпалась среди ночи, подъ тѣмъ же еще привычнымъ тяжелымъ чувствомъ пустоты, вдругъ мгновенно это чувство исчезало. «А сынъ?»—вспоминалось ей и она, приподнявшись, смотрѣла, какъ спалъ подлѣ нея этотъ

сынъ.—«Ты моя друга, жизнь!»—шептала она и крестила его.

Иванъ Тимоѳеевичъ далъ ему имя Михаилъ, въ честь заочнаго крестнаго отца его, генерала отъ инфантеріи, графа С... Онъ выписалъ ребенку изъ деревни здоровую, породистую кормилицу, находя, вопреки совѣтамъ медиковъ, что его женѣ, Ратищевой, неприлично кормить самой своего сына. Не прошло и года, какъ бѣдная мать съ ужасомъ убѣдилась, что власть Ивана Тимоѳеевича надъ ея сыномъ такъ же сильна, какъ и надъ ней самой.

Порой, когда она ходила по одной изъ бѣло-мраморныхъ залъ, укачивая своего сына, ей казалось, что она несла сокровище цѣлаго міра на своихъ рукахъ, что жизнь ея и всѣхъ была вся тутъ въ немъ, въ этомъ одномъ хорошенькомъ мальчикѣ, херувимѣ. «Никто, никакія силы не отнимутъ его у меня,—думала она.—Никакія муки не одолѣютъ меня» (ей представлялись пытки, раскаленныя клещи). «Все перенесу!»—думала она, и глаза ея сверкали и все лицо дышало непреклонной силой мучениковъ... И вдругъ въ сосѣдней залѣ раздавались знакомые ей, негромкіе, но твердые, тяжелые шаги. Отворялась дверь и, являлся онъ во всемъ колоссальномъ величіи... Восторженныя струны ея вдругъ опускались, точно съ плохо навернутыхъ колковъ. На лицѣ быстро появлялись утомленіе и испугъ.

— Зачѣмъ вы вынесли его сюда? Здѣсь сыро,—замѣчалъ Иванъ Тимоѳеевичъ, пристально смотря на нее своими тусклыми, не мигающими глазами, точно магнетизируя ее.—И зачѣмъ вы сами укачиваете ребенка? На это есть нянька. Все это безпорядокъ!

Ей хотѣлось что-нибудь возразить, отвѣтить, но слова не вязались, а мысли шли въ ту сторону, куда онъ повернулъ ихъ. «Что же, онъ правъ,—думала она.—Тамъ теплѣе, и это не порядокъ, и во всемъ онъ правъ». И оскор-

бленное самолюбіе еще болѣе раздражало въ ней ненависть къ нему.

Мальчикъ выросталъ. Иванъ Тимоѳеевичъ требовалъ отъ нея, чтобы она постоянно говорила съ сыномъ по-французски. «Не будете пріучать его,—объяснялъ онъ,—съ этихъ поръ, то на всю жизнь онъ останется такимъ же косноязычнымъ, какъ и вы сами».

Разъ Мишѣ нездоровилось. Иванъ Тимоѳеевичъ тоже былъ не въ духѣ. Онъ требовалъ, чтобы ребенокъ подошелъ къ нему и по обыкновенію пролепеталъ: bonjour, cher papa! Но ребенокъ изподлобья поглядывалъ на отца, не хотѣлъ подходить къ нему, несмотря на уговоры и увѣщанія матери, и крѣпко держался за ея платье.

— Я вижу очень хорошо, je vois très bien,—началъ Иванъ Тимоѳеевичъ по французски своимъ любезнымъ и на этотъ разъ какимъ-то шипящимъ голосомъ,—что ребенка вооружаютъ противъ его законнаго отца... Я долженъ вамъ замѣтить, что если это продолжится, то я, къ сожалѣнію, найдусь вынужденнымъ отдать его на воспитаніе другой женщинѣ, которая лучше, чѣмъ его родная мать, съумѣетъ внушить ему, чѣмъ онъ мнѣ обязанъ.

Александра Павловна поблѣднѣла при этой угрозѣ; она схватила сына и поднесла его къ отцу, но мальчикъ неистово закричалъ и началъ рваться изъ всѣхъ силъ.

— Assez, madame, épargniez moi cette drame,—сказалъ Иванъ Тимоѳеевичъ.—Пощадите сердце отца и унесите мальчишку въ дѣтскую. Я вижу,—прибавилъ онъ,—что я долженъ принять свои мѣры...

Вся перепуганная неопредѣленностью этой угрозы, Александра Павловна ушла съ сыномъ на свою половину. Тамъ, въ своемъ будуарѣ, она нѣсколько мгновеній стояла, не двигаясь, почти не дыша. Она смотрѣла машинально на пестрый узоръ бархатнаго ковра, на блескъ позолоченныхъ обоевъ

и голова кружилась у нея. «Свои мѣры, свои мѣры, свои мѣры!»—раздавалось у нея гдѣ-то въ ушахъ или въ сердцѣ, среди царственной, мертвой тишины молчаливыхъ залъ огромнаго дома. А Миша уже забылъ обо всей сценѣ. Онъ занялся раскладываніемъ на кушеткѣ носового платка, который взялъ со столика.

Черезъ полчаса Иванъ Тимоѳеевичъ вспомнилъ, что теперь долженъ быть урокъ Миши у Бржесневскаго. «Пожалуй, она вздумаетъ отказать, по прихоти мальчишки!»—подумалъ онъ и отправился на ея половину. Войдя въ будуаръ, онъ подозрительно, поворачиваясь всѣмъ корпусомъ, оглянулъ комнату. На кушеткѣ, на бархатной подушкѣ, лежалъ полуразостланный платокъ и на углу его крупными буквами было вышито: «Jean Brzesnewsky». Иванъ Тимоѳеевичъ подался на шагъ впередъ, какъ будто не вѣря своимъ глазамъ, и пошатнулся. «Она,—представилось ему вдругъ въ какомъ-то кровавомъ туманѣ,—его жена, Ратищева, съ какимъ-то проходимцемъ, полячишкой, Бржесневскимъ!.. А!» Все лицо его вдругъ измѣнилось, осунулось, какъ у мертваго, всѣ мелкія вены его налились. Неизмѣнявшая ему до сихъ поръ улыбка вдругъ улетѣла, углы рта опустились, нижняя толстая губа задрожала, въ тусклыхъ глазахъ засверкали зеленоватые огоньки. «Не можетъ быть!» —успокаивалъ онъ себя. И, стараясь призвать на помощь все свое величавое спокойствіе, онъ подошелъ къ кушеткѣ, съ чувствомъ отвращенія, гадливости взялъ платокъ и сунулъ его въ боковой карманъ. Потомъ, тяжело дыша, неслышными шагами, по ковру, онъ подошелъ къ дверямъ дѣтской и тихо приподнялъ портьеру. Ему представилась слѣдующая сцена. Миша на его высокомъ стульчикѣ спалъ, положивъ голову на книгу. Жена съ Бржесневскимъ сидѣли сзади его. Онъ держалъ ея руку въ своей рукѣ и прямо смотрѣлъ въ ея заплаканные глаза. Все лицо его пре-

образилось. Это былъ не обыкновенный, будничный Бржесневскій, который постоянно и смиренно прятался отъ всѣхъ, въ своей внутренней кельѣ. Теперь въ каждой чертѣ его, обыкновенно соннаго, задумчиваго, лица, въ его блестящихъ глазахъ была жизнь, сила, отвага. Онъ говорилъ съ жаромъ, но тихо, мягкимъ, задушевнымъ голосомъ, и рѣчь его, восторженная, одушевленная, лилась, несмотря на то, что онъ говорилъ по-французски съ легкимъ польскимъ акцентомъ: «Il faut de résignation,—говорилъ онъ,—мужайтесь и терпите. Они теперь сильны, эти люди мрака, грубой черной силы. Но всѣ, которые глухо и тихо стонутъ подъ ихъ гнетомъ, наконецъ, будутъ первыми изъ послѣднихъ. Онъ придетъ: Dies ira, dies illa,—желанный день воскресенія! Чистое, человѣчное, святое явится во всемъ его блескѣ мученической, лучистой правды...»

Иванъ Тимоѳеевичъ тихо отдѣлился отъ портьеры и всталъ противъ него. Бржесневскій и Александра Павловна вскочили, какъ дѣти, захваченныя врасплохъ строгимъ учителемъ на невинной, но запрещенной игрѣ. Ратищевъ силился что-то сказать и не могъ. «Вонъ!—закричалъ онъ неистовымъ, прерывающимся голосомъ.—Вонъ, оборвышъ, гадина, ляхъ!»—и съ монументальнымъ величіемъ онъ показалъ ему на дверь. Лицо Бржесневскаго вспыхнуло, жилы у него на шеѣ и на лбу налились кровью, усы ощетинились, глаза засверкали. Онъ схватилъ лежавшую на столѣ аспидную доску и изъ всѣхъ силъ пустилъ ее въ Ивана Тимоѳеевича. Доска со свистомъ пролетѣла мимо и, запутавшись въ складкахъ тяжелой портьеры, неслышно спустилась на мягкій коверъ. Бржесневскій бросился къ Ивану Тимоѳеевичу, но какъ разъ на дорогѣ стояла, ухватившись за стулъ обѣими руками, Александра Павловна. Онъ взглянулъ на ея блѣдное, помертвѣлое лицо и вдругъ потухъ,

опустилъ глаза, сгорбился и, что-то бормоча, быстро повернулся и вышелъ вонъ.

— Сударыня, — сказалъ Иванъ Тимоѳеевичъ, обратясь къ женѣ и стараясь найти свою прежнюю, благосклонную улыбку,—позвольте вручить вамъ вещь, которая, вѣроятно, вамъ дорога, а мнѣ внушаетъ омерзеніе и къ вамъ, развратной женщинѣ, и къ этому негодяю, вашему любовнику,— и онъ дрожащею рукою подалъ ей платокъ Бржеснев-ского.

Александра Павловна взяла этотъ платокъ, не понимая, что ей даютъ и для чего она беретъ; въ глазахъ у нея вертѣлись зеленыя кольца, полъ качался подъ ея ногами. Она что-то хотѣла сказать мужу, который величественно повернулся и вышелъ изъ комнаты; она силилась произнести хоть одно слово и не могла. Глухой стонъ вырвался изъ ея сдавленной груди и она безъ чувствъ рухнулась на бархатный коверъ... Миша проснулся и съ пронзительнымъ крикомъ бросился къ ней...

XX.

Горничная и экономка, Татьяна Ѳедоровна, привели въ себя Александру Павловну. Черезъ нѣсколько часовъ она сидѣла на кушеткѣ и съ тихою дрожью въ сердцѣ цѣловала горячими губами Мишу, который въ жару спалъ у нея на колѣняхъ. Портьера приподнялась, и Лука Ѳедосѣичъ, камердинеръ ея мужа, человѣкъ толстый и весьма солидный, въ черномъ фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ почтительнымъ поклономъ подалъ ей, на серебряномъ подносикѣ, письмо его превосходительства Ивана Тимоѳеевича. Въ этомъ письмѣ, написанномъ, по-

русски, твердымъ канцелярскимъ почеркомъ, было изображено слѣдующее:

«Милостивая Государыня!»

«Послѣ того, какъ вы, поправъ всѣ священныя обязанности законной супруги и матери, унизили ваши чувствованія и запятнали честь моего стариннаго дворянскаго дома, я не нахожу болѣе для себя достойнымъ жить съ вами въ одномъ домѣ, а равно и вліяніе ваше на моего сына, единственнаго потомка и наслѣдника древняго дома Ратищевыхъ, считаю крайне вреднымъ, а посему покорнѣйше прошу васъ, по полученіи сего письма, немедленно изготовиться къ отъѣзду въ имѣнье къ моей двоюродной сестрѣ, Аннѣ Петровнѣ Корнепольской. Я уповаю, что совѣты ея и наставленія, вмѣстѣ съ добродѣтельною жизнью, направятъ васъ на путь нравственности и личнаго достоинства, на который тщетно я указывалъ вамъ, какъ любящій и законный, нынѣ скорбящій супругъ вашъ.

«Имѣю честь именоваться покорнѣйшимъ слугою вашимъ

«Иванъ Ратищевъ».

Передавъ это письмо, Лука Ѳедосѣичъ опять съ почтительнымъ поклономъ удалился. Александра Павловна распечатала дрожащими руками конвертъ, прочла письмо и тихо положила его на кушетку. Она не поняла, она не хотѣла его понять. Мысль о разлукѣ съ сыномъ была до того страшна, безобразна, что при этой одной мысли ея руки холодѣли, она чувствовала, какъ останавливалось ея сердце, какъ снова начинала кружиться ея голова и передъ глазами опять вертѣлись зеленыя кольца. Она старалась ни о чемъ не думать и, чтобы заглушить всякую мысль, усиленно, сосредоточенно повторяла вслѣдъ за ударами маятника въ сосѣдней залѣ: разъ — два, разъ — два! Порой, когда какой-нибудь шорохъ, тихій, отрывистый говоръ въ далекой ком-

натѣ будили ее, ей представлялось, что вотъ кто-нибудь придетъ, что все это вдругъ кончится, улетитъ, какъ тяжелый сонъ, и все пойдетъ опять по прежнему. Но время шло, маятникъ мѣрно стучалъ и тяжелый сонъ тянулся и давилъ ее невыносимо. Наконецъ, она тихо поднялась съ кушетки и переложила на нее Мишу. «Не можетъ быть,— шептала она.— Это не можетъ быть, — вѣдь я ни въ чемъ не виновата... Онъ не можетъ разлучить меня съ сыномъ,— этого нельзя... Я буду просить, умолять». И она съ твердою рѣшимостью пошла на половину Ивана Тимоѳеевича. Человѣкъ, сидѣвшій у дверей парадной залы, всталъ и доложилъ Александрѣ Павловнѣ, что ихъ превосходительства нѣтъ у себя, что они съ часъ тому назадъ, какъ уѣхавши въ Воскресенское (это была одна изъ дальнихъ деревень его), а когда вернутся—неизвѣстно. «Что же, я напишу къ нему»,—подумала она. Но что и какъ она могла написать? Вѣдь во всю свою жизнь она писала съ трудомъ, безсвязныя записки къ роднымъ и подругамъ. И все-таки она написала, и притомъ длинное письмо, полное глубокой, задушевной и наивной мольбы. Она клялась Ивану Тимоѳеевичу всѣмъ святымъ для нея въ жизни, что платокъ, который онъ нашелъ въ ея будуарѣ, попалъ туда случайно, по ошибкѣ горничной, поднявшей его съ полу въ дѣтской. Она увѣряла, что никогда не измѣняла своимъ обязанностямъ къ Ивану Тимоѳеевичу, что она считала и считаетъ это ужаснымъ грѣхомъ. Она умоляла мужа позволить жить ей здѣсь, въ городѣ, чтобы хоть одинъ разъ въ день или даже въ недѣлю видѣться съ Мишей, а безъ этого, писала она, «я просто жить не могу!»

Одну изъ горничныхъ она просила послать кого-нибудь нарочнымъ съ этимъ письмомъ къ Ивану Тимоѳеевичу. — Черезъ полчаса это самое письмо и на томъ же серебряномъ подносикѣ подалъ ей Лука Ѳедосѣичъ все съ тѣмъ

же почтительнымъ поклономъ и объявилъ ей при этомъ, что «его превосходительство строжайше изволили приказать: никакихъ распоряженій ея превосходительства относительно посылки куда-нибудь, съ какимъ бы то ни было письмомъ или запиской не исполнять, и повторили этотъ приказъ трижды, со всею строгостью. А относительно отъѣзда ея превосходительства изволили приказать распорядиться, чтобы былъ готовъ большой возокъ съ шестеркой лошадей къ завтрашнему утру и что ея превосходительство, въ этомъ случаѣ, будутъ сопровождать Григорій Безпаловъ и горничная Дашка въ Глухово, къ Аннѣ Петровнѣ Корнепольской. Другихъ же приказаній онъ, Лука Ѳедосѣичъ, не получалъ». Затѣмъ, еще разъ поклонясь почтительно, онъ вышелъ.

Что-то похожее на порывъ отчаяннаго протеста вспыхнуло при этомъ насиліи у Александры Павловны. Кровь бросилась ей въ лицо. «Убить себя и его, родного моего Мишу!»—подумала она. Но эта вспышка такъ же быстро погасла, какъ и вспыхнула. «Къ кому обратиться, у кого искать защиты и помощи?»—думала она, сдавливая обѣими руками голову. Отца и матери уже не было въ живыхъ, а всѣ ея родные и знакомые были такъ свѣтски любезны, такъ недоступно холодны и такъ преклонялись передъ ея мужемъ, что даже утопающій не могъ ухватиться за нихъ. О Бржесневскомъ она боялась, не смѣла думать. Одна мысль о немъ ей казалась уже преступленіемъ. Она не знала что Бржесневскій самъ былъ въ затрудненіи и хлопотахъ. Онъ получилъ предписаніе оставить въ двадцать-четыре часа С... и выѣхать на жительство въ В.

Она тихо подошла къ мальчику. Миша спалъ крѣпко, разметавшись, весь въ поту. Она смотрѣла на его покраснѣвшее личико, раскрытый ротикъ, черные, длинные волосы, слегка спустившіеся на лобъ. «Сиротинка моя родная!»—

подсказалъ ей какой-то голосъ въ сердцѣ, и вдругъ слезы подступили къ горлу. Она бросилась въ подушку и зарыдала истерически.

Когда стихъ этотъ пароксизмъ плача, она опять обернулась къ мальчику.—«Надо насмотрѣться на него надолго, можетъ-быть навсегда!»—подумала она. И она смотрѣла на него, то поправляя, разглаживая его шелковистые волосы, то припадая къ его ручкамъ и цѣлуя ихъ тихо, беззвучно, съ такимъ же свинцовымъ, безвыходнымъ чувствомъ, съ какимъ прощаются съ мертвыми... А время шло незамѣтно, часы уплывали и тонкая синева поздняго утра уже разливалась холоднымъ свѣтомъ по большой комнатѣ сквозь затянутыя ледяными узорами зеркальныя стекла большихъ оконъ.

Въ десять часовъ горничная, которая должна была ее сопровождать, степенная Даша, съ высокимъ выпуклымъ лбомъ и угрюмымъ взглядомъ, вошла и спросила: «что̀ угодно барынѣ приказать къ отъѣзду и что̀ взять съ собою?» Она спросила два и три раза. Барыня сидѣла неподвижно, не отрывая большихъ, остолбенѣлыхъ глазъ отъ сына. Она спала на-яву. Даша позвала Татьяну Ѳедоровну и онѣ вмѣстѣ разбудили ее и растолковали, что надо ѣхать, что возокъ уже давно ждетъ и что надо укладываться. Но всѣ ихъ усилія добиться отъ нея какихъ-нибудь приказаній остались напрасными. Она только махала рукой и говорила несвязно, какъ во снѣ: «Все хорошо!» Она чувствовала нестерпимую боль въ головѣ, тяжелый камень въ груди и все-таки смутно понимала, что ее увозятъ или ведутъ куда-то,—«на казнь»—думала она. Ее одѣли и всѣ остановились. Миша крѣпко спалъ, улыбаясь сквозь сонъ. «Проститесь съ Мишей-то,—подсказала ей шепотомъ Татьяна Ѳедоровна,—авось скоро увидитесь. А ждать некогда, лошади на морозѣ застоялись, пожалуй, еще бить начнутъ.

Упаси Господи!» Александра Павловна молча обернулась. Она чувствовала, какъ полъ снова закачался подъ ея ногами; быстро подошла она къ сыну, приложилась къ его ручкѣ и рванулась вонъ изъ комнаты. «Скорѣе!»—пролепетала она. Въ парадной залѣ она пошатнулась и ее почтительно поддержали Даша и Татьяна Ѳедоровна и подъ руки свели съ лѣстницы, уставленной цѣлымъ садомъ роскошныхъ растеній. Въ передней вдругъ она остановилась, провела рукой по лбу и упала на колѣни передъ Татьяной Ѳедоровной.—«Матушка, барыня, что съ вами!»—бормотала съ испугомъ Татьяна Ѳедоровна, силясь поднять ее.—«Татьяна Ѳедоровна,—молила она надорваннымъ шепотомъ,—не оставьте его, онъ сирота теперь, а я буду молиться за васъ, какъ за мою благодѣтельницу!» — «Будьте покойны, матушка! Будьте покойны, все сдѣлаю, какъ передъ Богомъ!» И Татьяна Ѳедоровна всхлипывала и крестилась. Потомъ Александру Павловну подняли, вывели на крыльцо, уложили въ возокъ. Даша сѣла подлѣ. Григорій Безпалый въ высокой папахѣ и въ новой дубленкѣ вскочилъ на козлы и оправилъ ремень съ кремневымъ пистолетомъ въ чушкѣ и кожанную сумку на груди съ барскими деньгами. Кучеръ Панкратій крикнулъ на лошадей, возокъ тронулся и полозья завизжали по снѣгу.

Деревня, въ которую сослалъ жену свою Иванъ Тимоѳеевичъ, была глухой уголъ, принадлежавшій одной древней дѣвѣ, поселившейся безвыѣздно въ этомъ углу уже лѣтъ тридцать. Одни разсказывали, что она схоронилась туда отъ какого-то грѣха юности, другіе шептали, что она была католичка и что даже у нея въ Глуховѣ тайно жилъ какой-то переодѣтый патеръ или ксендзъ. Вся насквозь пропитанная черствой pruderie и ладаномъ, высокая, по-

стоянно вся въ черномъ, съ желто-коричневымъ, сморщеннымъ лицомъ, точно покрытымъ какимъ-то непроницаемымъ лакомъ, она походила на мумію, которую позабыли схоронить.

— Въ тихомъ уединеніи могутъ улечься всѣ страсти бурнаго житейскаго моря, моя милая,—сказала она глухимъ шепотомъ Александрѣ Павловнѣ. La pénitence c'est l'échelle dens le ciel!—прибавила она въ видѣ утѣшенія и подняла палецъ къ потолку.

Александра Павловна дичилась и боялась ея. Нѣсколько разъ она пыталась просить и молить ее, на колѣняхъ, быть посредницей между ею и мужемъ и возвратить ей сына. Но на всѣ разсказы и доводы ея Анна Петровна говорила, что все это—испытаніе Господа, и что онъ знаетъ, когда положить мѣру.

И наконецъ эта мѣра исполнилась. У Александры Павловны развилось что-то въ родѣ меланхоліи. Никто бы не узналъ теперь въ сгорбленной женщинѣ, съ осунувшимся пожелтѣлымъ лицомъ, съ дикими задумчивыми глазами, обведенными темной синевой, прежней веселой красавицы. Одинъ только разъ, въ теченіе своего заключенія, она встрепенулась. Иванъ Тимоѳеевичъ на Пасху прислалъ ей дагеротипный портретъ Миши. Когда она вглядѣлась въ этотъ портретъ и смутно поняла, что̀ это такое, съ ней сдѣлался нервный, истерическій припадокъ. И съ этихъ поръ она уже не разставалась съ портретомъ и угасала тихо, незамѣтно даже для самой себя. Къ концу второго года ея пребыванія въ глуховской тюрьмѣ у нея быстро развернулась скоротечная чахотка. Когда небыло уже ни какой надежды на спасеніе, Анна Петровна сочла за христіанскій долгъ обманывать ее и увѣрять, что Иванъ Тимофеевичъ рѣшился отпустить къ ней Мишу на свиданіе, только бы она не тревожилась. По цѣлымъ днямъ бѣдная мать сидѣла у окна и смотрѣла, и ждала, подавляя судорожный кашель въ груди, чтобы не

проглядѣть издали того, кто сталъ для нея давно уже единственною приманкой къ жизни. Разъ вдали зазвенѣлъ колокольчикъ, ближе и ближе. «Ѣдетъ! *Онъ* ѣдетъ!»—хотѣла закричать она и не могла. Какая-то артерія порвалась у нея въ груди и, захлебнувшись собственною кровью, она упала мертвая на полъ.

Иванъ Тимоѳеевичъ, узнавъ объ ея смерти, выхлопоталъ разрѣшеніе перевезти ея тѣло въ Воскресенское и положилъ его съ полною торжественностью въ фамильномъ склепѣ. На похоронахъ онъ усердно молился «за упокой души и объ отпущеніи грѣховъ рабы Божіей, болярыны Александры!»

«Грѣха тяжкаго!» — невольно подумалъ онъ при этомъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Смотрѣть за Мишей и воспитывать его было приставлено разомъ трое: гувернеръ французъ, m-r Порро, гувернеръ англичанинъ, мистеръ Смиссъ и старая швейцарка, изъ кантона Ури, frau Фицъ. Первыхъ двухъ Иванъ Тимоѳеевичъ выписалъ изъ Петербурга, швейцарка же нашлась подъ бокомъ. Она была уже не молода, подслѣповата, шамшила и вообще весьма походила на стараго альпійскаго сурка въ чепчикѣ; но имѣла свидѣтельство о воспитаніи нѣсколькихъ юношей и дѣвицъ, – разумѣется, россійскаго дворянства. Французъ былъ тоже не молодъ, съ черными баками и усами и длиннымъ краснымъ носомъ; онъ выдавалъ себя за фабриканта мармеладу, но собственно былъ приказчикомъ въ одномъ изъ марсельскихъ бакалейныхъ магазиновъ. Кто былъ англичанинъ—неизвѣстно. Онъ обыкновенно молчалъ, вставалъ въ величественныя позы и говорилъ съ удивительною флегматичною важностью. Ивану Тимоѳеевичу онъ очень нравился.

— Вы, надѣюсь,—сказалъ онъ, — укрѣпите въ сынѣ моемъ чувства долга и чести, соотвѣтственно его происхожденію?

— О, Yes, Sir!—отвѣчалъ глубокомысленно мистеръ Смиссъ.

И они всѣ трое тащили мальчика въ три разныхъ стороны. Англичанинъ наводилъ на него сплинъ постоянною флегмой. M-r Порро кричалъ на него и обращался съ нимъ comme avec un gamin. Постоянно пустая, порхающая натура француза, не стѣсняясь, отпускала какія-нибудь сальныя шуточки, но этихъ шуточекъ, грубыхъ и двусмысленныхъ, не понималъ мальчикъ и еще болѣе дичился и смотрѣлъ букой на своего наставника. Швейцарка была добра и даже слезно-чувствительна, но у нея сложились убѣжденія, что для дѣтей должна быть строгая выправка, въ особенности высокорожденныхъ — hochwohlgeborene. Вслѣдствіе этого она постоянно водила Мишу на уздечкѣ и поминутно дергала эту уздечку. Порой, когда она шепелявымъ голосомъ читала ему какую-нибудь нравоучительную повѣсть и у нея невольно навертывались на глазахъ слезинки, все подмѣчавшій и наблюдавшій мальчикъ подмѣчалъ и эти слезинки и ему становилось грустно.

— Meine liebe, Августа Францевна,—хотѣлъ сказать онъ,—warum veinen Sie? Jch liebe Ihnen.

Но Августа Францевна при этомъ тотчасъ же овладѣвала собой, дѣлая строгую, даже злобную мину и, дергая мальчика за рукавъ, кричала ни къ селу ни къ городу:

— Höhren Sie mal, seyen Sie artig, seyen Sie artig!

И мальчикъ опять уходилъ въ себя, подавивъ волненіе и сдвинувъ уныло брови.

Иногда онъ прокрадывался въ переднюю или даже въ людскую. Тамъ былъ веселый народъ, съ которымъ можно было сказать слово по душѣ. Но если на такомъ ужасномъ преступленіи его накрывалъ кто-нибудь изъ педагоговъ, то доставалось жестоко и ему и людямъ. Въ особенности англичанинъ въ этомъ случаѣ возмущался и съ обычною

флегмой, но рѣзкимъ, отривистымъ басомъ, сквозь зубы, читалъ ему длинное наставленіе: on the selfhumillation and tendency to vile passions.

Такъ онъ росъ безъ ласки, безъ нѣги, безъ любви скучно, однообразно, подъ постояннымъ неусыпнымъ надзоромъ трехъ аргусовъ.

Самолюбивый и раздражительный по натурѣ, онъ краснѣлъ и блѣднѣлъ при каждой оскорбительной замѣткѣ его менторовъ, и въ то же время трусливый и запуганный, какъ его мать, онъ постоянно уходилъ въ себя, прятался и прижимался. За все отвѣчали игрушки, которыя онъ ломалъ безъ милосердія. Страдали также и тѣ бѣдныя существа, которыя были ему подъ силу. Онъ съ наслажденіемъ обрывалъ крылья у мухъ или прикалывалъ ихъ къ подоконникамъ и внутренно хохоталъ, когда несчастная муха силилась улетѣть и жалобно жужжала. Иногда дѣтское любопытство просыпалось въ немъ. Его интересовало заглянуть, что у мухъ внутри, чѣмъ онѣ движутся, и онъ разрывалъ ихъ на части. Одинъ разъ какимъ-то случаемъ онъ нашелъ въ саду мертвую кошку. Онъ тихонько утащилъ ее въ дальній, глухой уголъ сада и тамъ, весь дрожа, поминутно оглядываясь и прислушиваясь, всю ее разрѣзалъ перочиннымъ ножикомъ. Его въ особенности поразилъ видъ черной крови, тихо вытекавшей изъ перерѣзанныхъ жилъ.

Когда ему минуло восемь лѣтъ, то Иванъ Тимоѳеевичъ нанялъ ему еще педагога, длинноволосаго семинариста, который задавалъ Мишѣ ариѳметическія задачи и проходилъ съ нимъ грамматику, по Гречу, исторію, по Смарагдову, и географію, по Арсеньеву. Кромѣ того, Иванъ Тимоѳеевичъ счелъ долгомъ пригласить къ нему соборнаго протоіерея, отца Іакова для внушенія, какъ онъ говорилъ, «внутренняго божественнаго закона правды и милости». И отецъ Іаковъ, высокій, плотный, съ большой черной бородой съ

просѣдью, усердно внушалъ мальчику этотъ законъ. Иванъ Тимоѳеевичъ нарочно, всегда при Мишѣ, съ почтеніемъ подходилъ подъ благословеніе отца Іакова.

Прошло еще пять лѣтъ и изъ всѣхъ трехъ педагоговъ остался одинъ, все тотъ же англичанинъ. Французъ попался въ весьма скандальной уголовной исторіи, а frau Фицъ совершенно оглохла и ослѣпла. Мистеръ Смиссъ не могъ достаточно нахвалиться Мишей и гордился имъ. Мальчикъ отлично учился, держалъ себя гордо, степенно, настоящимъ англичаниномъ. Иванъ Тимоѳеевичъ пригласилъ къ нему лучшихъ учителей изъ губернской гимназіи, находя, что его сыну неприлично сидѣть на одной скамьѣ съ разночинцами и заражаться отъ нихъ всякими дурными наклонностями.

Въ это самое время въ первый разъ Миша увидѣлъ Катю. Мать ее привезла къ Ивану Тимоѳеевичу съ просьбой о какомъ-то дѣлѣ. Миша также былъ при этомъ въ кабинетѣ отца и гордо осматривалъ эту дѣвочку, которая конфузилась передъ нимъ.

У Ивана Тимоѳеевича была очень большая библіотека, изъ которой, впрочемъ, онъ читалъ немного. Онъ завелъ ее собственно для того, чтобы имѣть библіотеку, а при ней библіотекаря, и сказать при случаѣ, что у него есть такое-то и такое-то очень дорогія изданія. Мишѣ позволялось читать все, за исключеніемъ одного шкафа, ключъ отъ котораго Иванъ Тимоѳеевичъ держалъ у себя. Мало-по-малу думающій мальчикъ въѣлся въ чтеніе. Все, что внушали ему такъ упорно съ дѣтства, начало шататься подъ вліяніемъ энциклопедистовъ, хотя онъ имѣлъ ихъ не всѣхъ,—часть была спрятана Иваномъ Тимоѳеевичемъ въ секретный шкафъ. Въ его сердцѣ шла упорная борьба двухъ діаметрально противуположныхъ сторонъ, но для этой борьбы уже не было въ этомъ сердцѣ того чистаго родника, который хотя разъ,

въ свѣтлой юности, журчитъ у самаго черстваго человѣка. Какая то черная плѣсень чопорнаго педантства, мелочного эгоизма и всякой гнили мало-по-малу наростала на этомъ сердцѣ толстой корой.

Только-что минуло ему шестнадцать лѣтъ, какъ онъ поступилъ въ университетъ по историко-филологическому факультету, какъ хотѣлъ его отецъ. Но тутъ случилось странное обстоятельство. Молодой Ратищевъ вдругъ получилъ какую-то пассію къ медицинѣ и преимущественно анатоміи. Вскрытіе труповъ, потемнѣвшихъ и полусгнившихъ, видъ холодной, почти черной крови, вытекающей изъ перерѣзанныхъ жилъ, какъ-то раздражали и притягивали его. Онъ изучалъ строеніе тѣла человѣка съ какою-то внутреннею дрожью и наслажденіемъ и просилъ у отца позволенія перейти на медицинскій факультетъ. Но Иванъ Тимоѳеевичъ написалъ ему строгое письмо, въ которомъ объявлялъ о глубокомъ своемъ огорченіи: «Я никогда не думалъ,— писалъ онъ, — что сынъ мой, Ратищевъ, будетъ питать привязанность къ какому-нибудь ремеслу, хотя бы самому полезному. Во всякомъ случаѣ,—прибавилъ онъ,—тебѣ надо сперва получить образованіе, быть гуманистомъ, а потомъ можешь копаться въ какой хочешь дряни».

Ратищевъ жилъ студентомъ, совершенно отдаляясь отъ всѣхъ товарищей, — жилъ онъ грязно, въ скромной квартиркѣ, и довольно большую сумму, которую посылалъ ему отецъ, тратилъ на книги. Въ театръ онъ ходилъ рѣдко. На какіе-нибудь круговые студенческіе сборы подписывался скупо и нехотя. Товарищи терпѣть его не могли и звали «черствой коркой».

Онъ пробылъ только два года въ университетѣ, когда получилъ телеграмму, что отецъ зоветъ его, что онъ лежитъ при смерти. Полипъ, выросшій въ лобныя пазухи, задушилъ его. Ратищевъ прискакалъ въ то время, когда Иванъ Ти-

моѳеевичъ лежалъ уже на столѣ. Онъ посмотрѣлъ съ какимъ-то трепетомъ на его похудѣвшее, восковое лицо, съ высоко приподнятыми бровями, и въ сердце его шевельнулась все та же страсть: «хорошо было бы вскрыть его», подумалъ онъ и тутъ же у сумрачнаго и тоже похудѣвшаго Ѳедосѣича спросилъ: «опечатаны ли всѣ дѣла и бумаги, и кто назначенъ душеприказчикомъ?»

Похоронивъ отца подлѣ матери, Ратищевъ снова отправился въ университетскій городъ «доучиваться», какъ думалъ онъ, и перешелъ на медицинскій факультетъ. Но собственно доучиваться ему не было никакой надобности. Къ наукѣ онъ относился съ тою же внутреннею холодностью, какъ и ко всему въ мірѣ. Онъ смотрѣлъ на нее педантически и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ диллетантъ. Удовлетворившись весьма скоро своими знаніями, онъ, движимый ненасытнымъ самолюбіемъ, пожелалъ быть выше всѣхъ своихъ товарищей и на третьемъ курсѣ достигъ того, что зналъ нѣкоторыя науки далеко лучше профессоровъ. Но тутъ натолкнулся онъ на одного изъ нихъ, у котораго педантское самолюбіе было еще сильнѣе. На экзаменѣ онъ придрался къ какой-то мелочи, срѣзалъ Ратищева и поставилъ ему двойку: «высоко летать хочешь,—не больно еще топчи насъ въ грязь», подумалъ онъ. Ратищевъ, озлобленный, бросилъ книги и вышелъ изъ университета. Наскоро привелъ онъ въ порядокъ дѣла по имѣнью и уѣхалъ въ Петербургъ.

Тамъ онъ встрѣтился съ Пенязевымъ, товарищемъ по университету. Пенязевъ былъ совершенно безалаберный, хотя и не глупый малый. Онъ сходился со всѣми, сорилъ деньгами. Въ Петербургѣ онъ встрѣтилъ Ратищева съ распростертыми объятіями и завертѣлъ его въ омутѣ холостой, клубничной жизни. Ратищевъ какъ-то невольно отдался этому верченію. Его замкнутое сердце почувствовало какую-то нѣгу и ширь среди женскихъ ласкъ, хотя и покупныхъ,

этого демимонда, среди балетной и хоровой клубники. Онъ даже влюбился въ одну актрису, Берту Рамье, и совершенно не зналъ, какъ посадилъ въ нее десять тысячъ.

Къ счастію или несчастію, актриса, француженка, не выдержала и убѣжала за границу съ кавалергардомъ. Это былъ послѣдній coup de grâce его характеру. Нѣсколько дней онъ ходилъ злобный, желтый, и воспоминаніе о Бертѣ осталось на всю жизнь. Онъ вернулся въ имѣнье. Дѣлать ему было нечего. Перебралъ онъ всѣ книги отца и перечиталъ снова секретный шкафъ. Тоска душила его.

Нѣсколько мѣсяцевъ онъ жилъ затворникомъ и былъ на дорогѣ къ полной мизантропіи. Въ это время, въ тишинѣ зимнихъ, долгихъ вечеровъ, въ немъ сложились тѣ убѣжденія; тѣ взгляды, которые не могла поколебать вся послѣдующая жизнь. «Между людьми есть градаціи,—думалъ онъ.—Сэнъ-Симонъ правъ. Высшій типъ—это люди съ развитыми нервами, съ тонко работающимъ мозгомъ, съ понятіемъ объ искусствахъ, это и есть высшая передовая раса. Между нами (т.-е. дворянами) есть, разумѣется, и дураки, (въ семьѣ не безъ урода), есть одичалые — это заблудившіеся. А тамъ, внизу, масса—ce bon peuple, изъ котораго все можно лѣпить... Мы дѣлаемъ исторію, мы ведемъ человѣчество впередъ. Nous sommes la noblesse de la civilisation. Мы стоимъ на-сторожѣ государственныхъ интересовъ, и горе тому государству, въ которомъ стремленія грубыхъ массъ выдвинулись впередъ и овладѣли всѣмъ. Въ немъ все грубо, ибо въ немъ властвуютъ тѣ, для которыхъ необходимы только...

... изъ роды въ роды
Ярмо съ гремушкою и бичъ!
. . . . . .

Прошло нѣсколько лѣтъ. Ратищевъ давно уже оставилъ свою берлогу. Пространствовавъ два года за границей и

вернувшись, онъ принялся за хозяйство, какъ вдругъ получилъ письмо отъ Пенязева, который писалъ ему, что «...la question est décidée!—Nous sommes à la veille de l'abolition et du carnage... Реформа уже готова, пишутъ только манифестъ...»

Это извѣстіе перевернуло Ратищева.

«Все это православное человѣчество,—думалъ онъ,—примется теперь за топоры и колья и начнетъ насъ скальпировать. И къ чему имъ понадобилось выпустить на свободу эти демократическія волны? Это значитъ отдать насъ всѣхъ, передовыхъ людей, cette fine fleur de la civilisation, въ жертву этимъ животнымъ. Qu'est ce que c'est que la démocratie, даже въ Америкѣ; c'est une синагога, балаганъ страстей! Только мы, стоящіе на высотѣ, видимъ всѣ стороны жизни... Ну, разумѣется Ломоносовъ или—cet encore, какъ его, Кулибинъ, но все это окончательно развилось же подъ вліяніемъ Запада, его цивилизаціи. Конечно, il y a des nationalités, но вѣдь развѣ можно о нихъ что-нибудь сказать? Это какая-то конкуренція расъ, c'est le moyen, mais non pas le but...»

Позднѣе, когда все успокоилось и вошло въ обычную колею, онъ поступилъ въ губернскій комитетъ... pour défendre la cause de la civilisation,—какъ онъ выражался..

Разъ вечеромъ, перебирая бумаги отца, онъ нашелъ миніатюрный портретъ своей матери. «Хороша была»!—подумалъ онъ, отодвигая портретъ и любуясь имъ. Стекло на портретѣ было разбито, какъ будто кто-то ударилъ съ силой его о что-то жесткое. «Можетъ-быть она того и стоила,— подумалъ онъ, вспоминая свою любовницу актрису — Да и всѣ онѣ стоятъ того же,—подумалъ онъ съ желчью,— и дуракъ тотъ, кто думаетъ, что женщина можетъ стоять на уровнѣ мужчины. Женщина—это просто un animal, qui s'habille, babille et se deshabille...»

Разбирая межевые планы, онъ увидѣлъ, что клочокъ лѣсу, прилежавшій къ его лѣсной дачѣ, входилъ въ Мельтюковскую дачу. Его управляющій, нѣмецъ, Карлъ Ѳедоровичъ Клаге, доказывалъ ему, какъ важно прирѣзать этотъ клочокъ къ его дачѣ, «а не то,—говорилъ онъ,—mit diese dummen Kerle der Meltükoffka ist nichts zu thun. Alle sind die Diebe!»

Ратищевъ подумалъ: «не съѣздить ли въ Мельтюковку и предложить мнѣ этой барынѣ обмѣнъ?», а тутъ кстати попался ему альбомъ. Онъ отправился осмотрѣть свою лѣсную дачу и нашелъ, что нѣмецъ правъ. Но когда сталъ подъѣзжать къ Мельтюковкѣ, то взяло его раздумьѣ. «Что за барыня?! Il y aura, пожалуй, du scandal, вѣдь навѣрно это изъ одичалыхъ», и сильная нерѣшимость напала на него.

«Если лошади хорошо спустятъ съ горки и ничего не задержитъ, лучше проѣду мимо»—подумалъ онъ.

Но лошади понесли. Кучеръ едва сдержалъ и на поворотѣ, какъ разъ пристяжная оборвалась въ канаву, а валекъ треснулъ и переломился.

Ратищевъ вышелъ изъ коляски, какъ-то кисло выбранилъ кучера и, распорядившись, чтобы какъ можно скорѣе было все поправлено, пѣшкомъ, одинъ, отправился въ Мельтюковку.

«Пожалуй, еще собаки оборвутъ'»—подумалъ онъ. Но собакъ въ Мельтюковкѣ не было.

II.

Съ осмотра лѣсной дачи, какъ называлъ свою поѣздку Ратищевъ, или, правильнѣе говоря, изъ Мельтюковки—онъ вернулся совсѣмъ не въ своей тарелкѣ. Во-первыхъ, здѣсь дѣло шло объ одномъ изъ его убѣжденій, а всѣ свои

убѣжденія, весь кодексъ ихъ, онъ считалъ непогрѣшимымъ, чуть не святымъ. Во-вторыхъ, онъ самъ не могъ понять, что съ нимъ дѣлалось. Какая-то легкая истома или лихорадочное состояніе не давали ему ничѣмъ заняться.

«Вѣрно нервы»—подумалъ онъ и даже принялъ сперва лавровишневыхъ капель, а потомъ фосфорной кислоты; но ни капли; ни кислота не помогли.

«Все это творитъ деревенская скука! Развѣ не отправиться ли къ Фелицатѣ Францевнѣ?..» И онъ посмотрѣлъ на часы. Фелицата Францевна была сосѣдка, вдовушка, уже не первой молодости, но еще хорошо сохранившаяся и весьма бойкая, моложавая, курносая бабенка.

И Ратищевъ отправился къ ней и пробылъ тамъ до поздней ночи... Но и это фармацевтическое средство не помогло.

«Чортъ знаетъ, какая чепуха!»—думалъ онъ съ досадой и усиленно читалъ. Но всякое слово, какой-нибудь намекъ даже самой серьезной книги вдругъ вызывали передъ нимъ все тотъ же загадочный для него образъ.

Прочтетъ онъ «волнистые» и вдругъ ему представятся волнистые волоски на шеѣ, подъ черной, какъ смоль, и тяжелой косой. «Славные волосы, до пятокъ достанутъ!»—подумаетъ онъ. Прочтетъ онъ «упорный» и вдругъ подумаетъ: «А должно быть она упряма и горда! За то вѣрно и стойка,—не подастся. А впрочемъ... если попытаться?..»

И вдругъ онъ бросилъ книгу на персидскій коверъ и началъ ходить какъ-то быстро, неровно шагая и перекачиваясь.

«Вѣдь мнѣ въ городъ надо! — рѣшилъ онъ наконецъ, остановившись (Мельтюковка была на дорогѣ).— Отвезу я ей Ренана.—И онъ принялся рыться на столѣ, гдѣ была навалена груда всякихъ книгъ.—А если попадешься?—вдругъ остановился онъ.—Ну, нѣтъ, не выдастъ!... А то вѣдь и отпереться можно; да и времена не тѣ.

Это было на Ѳоминой недѣлѣ. Погода стояла праздничная, отвсюду дышало тепломъ, нѣгой, смолистыми почками, свѣжей зеленою травой. Раннимъ утромъ выѣхалъ Ратищевъ, какъ-то улыбаясь и хмурясь въ одно время. «Какое славное утро!»—думалъ онъ, смотря по сторонамъ на озими, серебрившіяся подъ утренней росой, на рощицы, только-что начавшія распускать нѣжные, благоухающіе листики.

Черезъ нѣсколько часовъ онъ былъ въ Мельтюковкѣ. Его встрѣтили, какъ стараго знакомаго, потому что въ деревнѣ гость, являющійся во второй разъ, считается уже старымъ знакомымъ. Въ особенности обрадовалась ему Катя.

Все это время она была сама не своя: возьмется за кисть, порисуетъ—и кисть выпадетъ изъ рукъ; съ карандашемъ—та же исторія.

«И что такое культъ? — думаетъ она. — Неужели онъ правъ?.. Нѣтъ, это что-то не наше, не отъ насъ зависитъ: это—гдѣ-то тамъ, въ этихъ сіяющихъ облакахъ, въ этихъ торжественныхъ, ликующихъ пѣсняхъ всей природы, что-то широкое, необъятное, непостижимое!»

Ей хотѣлось поспорить съ нимъ и поучиться у него. «Онъ, вѣроятно, много читалъ и много знаетъ» — думала она. И онъ явился.

Она какъ-то восторженно, крѣпко пожала ему руку и сіяющими глазами посмотрѣла прямо въ его глаза. Онъ смутился и съ легкою дрожью въ голосѣ освѣдомился о здоровьѣ Марьи Петровны.

Но Марья Петровна сама вышла на-встрѣчу, — вышла просто по-домашнему, въ простой лѣтней блузѣ.

— А я сегодня во снѣ видѣла, что вы у насъ будете,— сказала она весело, подавая ему руку.—Право!..

И его безъ церемоніи ввели въ столовую и такъ радушно предложили чаю, что Ратищевъ съ удовольствіемъ принялъ предложеніе. Онъ усѣлся и сбросилъ перчатки въ

низенькую войлочную шляпу. Онъ привезъ небольшую книжку въ желтой оберткѣ. Это былъ Ренанъ: «La vie de Jésu».

— Это я вамъ привезъ,—сказалъ онъ, подавая Катѣ книжку съ легкимъ поклономъ. — Вы, кажется, желали прочесть.

— Ахъ, merci!—вскричала Катя, слегка покраснѣвъ и начала перелистывать книгу.

«Ну, и этотъ началъ возить книги, — подумала Марья Петровна.—Зачитаютъ они у меня Катю».

— Знаете ли, я много думала, о чемъ мы говорили,— начала Катя;—но мы лучше послѣ поговоримъ о томъ,— послѣ, когда я прочту это,—и она указала на Ренана.—А теперь... Видите ли, я должна вамъ сказать, что мнѣ скучно жить безъ дѣла.

Она посмотрѣла на него съ дѣтской откровенной улыбкой, думая, что и онъ улыбнется этому признанью, но Ратищевъ серьезно слушалъ ее.

— Вѣдь у всѣхъ есть какое-нибудь дѣло, занятіе, обязанности... Только мы, несчастные, осуждены жить праздно, — не жить, а мучиться среди деревенской скуки.

— Вотъ выйдешь замужъ — и будетъ для тебя дѣло, не будешь скучать...—вмѣшалась Марья Петровна, но тутъ же замолкла и покраснѣла. «А что, если онъ приметъ это за намекъ?»—испугалась она и быстро замигала глазами.

— Ахъ, мама! — нетерпѣливо перебила ее Катя,—да я вовсе не о томъ...

Внесли шумѣвшій самоваръ и поставили передъ ней. Она принялась доливать чайникъ.

— Что же,—спросилъ Ратищевъ, — развѣ въ деревнѣ нельзя найти занятіе?.. Чтеніе, изученіе и затѣмъ столько развлеченій, въ особенности лѣтомъ.

— Ахъ, нѣтъ, вы меня не понимаете!—заволновалась

Катя. — Я... я не хочу пустой жизни. Я не хочу также знать... для того только, чтобы знать... Я хочу дѣла, настоящаго дѣла!.. Хочу участвовать въ общей умственной жизни...

Она налила и подала Ратищеву стаканъ.

— Я хочу что-нибудь «творить»! — прибавила она съ улыбкой.

Онъ молча мѣшалъ чай въ стаканѣ и вопросительно смотрѣлъ на нее.

— Видите ли, я показывала вамъ, въ прошлый разъ, мои рисунки. Я, глупая, думала, что у меня есть талантъ къ рисовкѣ, къ живописи... Вы меня въ этомъ разочаровали. Вы закрыли одну половину въ моемъ свѣтломъ окошечкѣ... Вѣдь я такъ сильно мечтала, надѣялась...

Ратищевъ сдѣлалъ неопредѣленное движеніе. Катя остановилась, но онъ ничего не возразилъ, не поправилъ, и она снова продолжала:

— Но я должна признаться, что у меня есть еще другая половина въ томъ завѣтномъ окошечкѣ... И вотъ мнѣ хочется теперь показать вамъ эту половинку... Вы не откажетесь быть судьей, не правда ли?

— Съ удовольствіемъ! — поспѣшилъ отвѣтить Ратищевъ.—Не знаю только, могу ли?

— Я прочту вамъ, — продолжала Катя, — сценки деревенской жизни, и вы мнѣ скажете правду... Только одну правду, не правда ли?.. Я прошу васъ!..—серьезно добавила она и даже сложила и приподняла руки съ колѣнъ, какъ бы умоляя его.

— Повторяю: съ удовольствіемъ, съ большимъ удовольствіемъ!—сказалъ Ратищевъ.—Только мнѣ кажется...

Но Катя уже не слушала его. Она вскочила и быстро, почти бѣгомъ, бросилась къ себѣ въ комнату и тамъ, такъ же быстро, собрала свои тетради. На ходу она припоми-

нала набросанныя сцены. Онѣ мелькали въ ея воображеніи. «Кажется, не дурно и это,—думала она.—Неужели и тутъ полная неудача?»

Принеся тетради и усѣвшись передъ Ратищевымъ, она начала читать. Но прежней самоувѣренности въ ней уже не было. Легкія, игривыя сцены казались теперь ей самой тяжелыми и пошлыми. Глубокая правда, подмѣченная въ натурѣ и перенесенная во всей ея простотѣ, не имѣла теперь силы. Каждый разъ, послѣ каждой сцены, когда она обращалась къ Ратищеву, то встрѣчала его равнодушные глазки, какую-то худо скрытую улыбку, и еще больше конфузилась.

«Ну, теперь еще эту послѣднюю сцену,—подумала она.—Или панъ, или пропалъ!»—и она начала ее съ упавшимъ сердцемъ.

Кончила, и настало молчанье. Руки у нея дрожали, губы слегка поблѣднѣли.

— Она у меня писательница,—похвалилась Марья Петровна, и Катя подмѣтила, какъ при этихъ словахъ слегка дрогнули губы Ратищева.

— Сцены написаны очень бойко,—началъ онъ тихимъ голосомъ.—У васъ есть талантъ, наблюдательность... Но... собственно если вы желаете знать мое мнѣніе относительно вашихъ авторскихъ способностей, то я, право, не знаю... Мнѣ кажется, вы выбрали сюжетъ весьма легкій и пустой Вѣдь что могутъ представить автору, даже талантливому (тогда еще не было ни Успенскаго, ни Рѣшетникова, ни Слѣпцова) эти грубые, такъ сказать, элементарные типы, tous ces bonnes gens съ ихъ мелкими односторонними страстями, потребностями?.. Все это можетъ быть и интересно для натуралиста, если онъ задумаетъ изучать la vie privée de ces animaux съ какой-нибудь точки зрѣнія... Но для развитого, мыслящаго наблюдателя, съ точки моралиста, это—

пустая трата времени на описаніе какой-то безразличной, неопредѣленной массы... Посмотрите, напримѣръ, на комки глины, которые разбросаны гдѣ-нибудь на дорогѣ. Между ними вы найдете множество очень странной формы, даже смѣшной; но вѣдь эта глина тогда только хороша, когда изъ нея выработано quelque chose d'artistique, какая-нибудь ваза или статуэтка, когда матеріалъ грубый спрятанъ подъ эту изящную форму, эту поэтическую мысль художника...

Катя попробовала отстаивать свою работу съ точки зрѣнія Талыгина.

— Но если мы хотимъ сдѣлать что-нибудь изъ глины,— сказала она,—то вѣдь надо сперва изучить свойство ея,— свойство матеріала, изъ котораго хочешь работать. Если мы хотимъ устраивать общество, то надо изучить его психическія свойства, а въ простомъ народѣ они гораздо проще... Вы сами говорили, что это—элементарные типы.

— Да!... Но позвольте вамъ замѣтить, что можно во всемъ искать всего, что намъ нравится, и находить, хотя въ дѣйствительности оно и не существуетъ. Неужели вы думаете, что литература можетъ устроить какое бы то ни было общество, а въ особенности такое грубое, ces hordes de kosaks et de Tartares, — прибавилъ онъ тихо, — какъ наше православное общество?... Вѣдь это самообманъ литераторовъ...

— Какъ, вы отвергаете воспитательное вліяніе литературы на общество?—удивилась Катя.—А Гоголь, а Островскій?!...

— Tout ça ce ne sont que de pures illusions! — рѣшилъ онъ дидактически.—Неужели вы думаете, что взяточничество par exemple или грубость нравовъ могутъ быть исправлены изящной литературой? Общество читаетъ романы, какъ романы, смотритъ комедіи, драмы et tout ça..., смѣется, негодуетъ, восхищается, а привычки, ...les moeurs, les instincts,

остаются всѣ тѣ же. Онѣ измѣняются временемъ и воспитаніемъ, а не литературой... Укажите мнѣ, гдѣ, въ какой странѣ литература исправила общество?..

— Да у насъ! — сказала Катя. — Возьмите Бѣлинскаго. Развѣ его вліяніе не отразилось на обществѣ?..

Ратищевъ опять пожалъ плечами.

— Помилуйте,—сказалъ онъ,—кто же читалъ и кто понималъ Бѣлинскаго?.. Литераторы, ученые, люди интеллигенціи, тѣ, которые въ немъ не нуждались, для которыхъ онъ составлялъ высшее интеллигентное наслажденіе .. А общество, массы его не понимали и на нихъ онъ дѣйствовалъ весьма мало...

— Все равно, его понимало молодое учащееся поколѣніе. А это-то и главное,—возразила Катя съ одушевленіемъ.

— Въ этомъ позвольте вамъ не повѣрить,—сказалъ Ратищевъ, допивая стаканъ.—Молодое поколѣніе понимало то, что толковали ему тѣ, которые поучались прямо изъ источника. При этомъ и эти учителя, ces pauvres diables des maitres d'école, вы думаете, что они могли всесторонне понимать les questions sociales и толковать о нихъ въ школахъ?.. Повѣрьте, что истинное пониманіе этихъ вопросовъ принадлежитъ людямъ, которые воспитались цѣлымъ рядомъ поколѣній и унаслѣдовали, такъ-сказать, въ своей крови... многосторонніе общественные взгляды, эту, дѣйствительно можно сказать, race élevée... — Ратищевъ, даже покраснѣлъ отъ удовольствія при одной мысли объ этой race élevée.— Притомъ, à propos, всѣ лучшіе наши литераторы были изъ этой race élevée. Возьмите... Пушкинъ, Лермонтовъ, фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, князь Одоевскій, Достоевскій. Ceux— la appartiennent à la vraie noblesse de la société... C'est l'aristocratie de l'intelligence!...

— Катя!—сказала вдругъ Марья Петровна,—ты показала

бы Михайлу Ивановичу нашъ садъ... У насъ садъ небольшой,—прибавила она, обращаясь уже къ Ратищеву,—но теперь въ немъ точно рай...

«Пусть погуляютъ, — подумала она,— а у меня отъ ихъ учености даже вчуже голова заболѣла».

«Онъ очевидно аристократъ! — подумала Катя, быстро, машинально собирая свои тетради, и сложила ихъ на столъ.

— Что же,—спросила она, прямо смотря на Ратищева,— пойдемте?..

— Съ удовольствіемъ,—сказалъ, вставая, Ратищевъ. —Теперь дѣйствительно лучше на воздухѣ, нежели въ комнатѣ.

«Неужели это правда, что̀ онъ говоритъ?.. «А сцены очень бойко написаны», вспомнились ей слова Ратищева.— «Что-жъ, вѣдь и это талантъ»,—подумала она съ радостью

И они вошли въ залу. Но въ залѣ Ратищевъ неожиданно остановился передъ роялемъ,

— Вы играете?—спросилъ онъ Катю.

— Да... Только плохо, — призналась нерѣшительно Катя.—Съ трудными allegro я вовсе не могу сладить.

— Все-таки, какъ умѣете. Прошу васъ!—сказалъ Ратищевъ и выдвинулъ изъ-подъ рояля табуретку.

Онъ не любилъ музыки. Она съ самаго дѣтства была чужда ему. Но теперь, именно теперь, ему захотѣлось какихъ-нибудь нѣжущихъ звуковъ, въ присутствіи этой хорошенькой дѣвушки, съ яснымъ сердцемъ, подъ впечатлѣніемъ окружавшей его тихой, простой жизни, въ этомъ скромномъ, сельскомъ домикѣ, окна котораго были открыты. Притомъ въ эти окна врывался праздничный пиръ весны, въ воздухѣ звучали пѣсни птицъ, а въ окна протягивались вѣтки черемухи и акацій съ едва распустившимися листочками. И вездѣ на ломберныхъ столахъ залы стояли, въ большихъ бѣлыхъ кувшинахъ, пышные букеты сирени и ароматныхъ ландышей.

— Что же вамъ сыграть? — спросила Катя, усаживаясь и взглянувъ на развернутыя ноты. — Ахъ вотъ, что я вамъ сыграю: анданте изъ сонаты B-dur Бетховена.

— Пожалуйста!—попросилъ Ратищевъ.

— Это мое любимое andante,—продолжала Катя, прямо смотря на него.— Нѣкоторые находятъ его темнымъ, дикимъ... Но мнѣ, кажется, въ немъ именно та глубина чувства, которая можетъ свести съ ума.

Ратищевъ ничего не отвѣчалъ. Онъ только улыбнулся неопредѣленно, прищуривъ глаза, и ждалъ, облокотясь на рояль.

Катя принялась за игру съ тою страстностью, съ которой она отдавалась каждому дѣлу.

Она взяла первые, глубокіе, глухіе, какъ будто подземные, аккорды, которые дѣлали такой рѣзкій диссонансъ среди окружающаго весенняго праздника, и рояль запѣлъ дикую, могучую мелодію. Звуки, одни страннѣе другихъ, какъ будто боролись, и спорили, и молили о чемъ-то великомъ неземномъ. Она жадно прислушивалась къ нимъ. Для нея самой они казались теперь новыми и повелительными. Какъ будто кто то другой игралъ за нее и говорилъ ей о суетѣ и мимолетности этой весенней ликующей жизни, о чемъ-то величавомъ и вѣчномъ.

Она кончила и взглянула на Ратищева.

— Не правда ли, это хорошо? — хотѣла она спросить его и остановилась.

Его лицо перемѣнилось. Оно было грустно, задумчиво. Какая-то печаль, можетъ быть, печаль дѣтства, погибшаго въ страшной, уродливой ломкѣ, таинственно легла на него. Какъ будто эти таинственные, загадочные аккорды вызвали въ немъ гармоническій, отвѣтный строй.

— Сыграйте, пожалуйста, еще что-нибудь!— попросилъ онъ такъ искренно и просто, и въ голосѣ его звучала дѣйствительная просьба.

Катя быстро перелистывала переплетенную тетрадь и развернула анданте изъ другой сонаты F-moll. Струны опять зазвенѣли, зазвенѣли страстной, надрывающей мелодіей, какъ будто въ самомъ сердцѣ Ратищева.

Онъ снялъ руки съ фортепіано и быстро отвернулся.

«Съ музыкой нельзя шутить, — подумалъ онъ. — Она сильно бьетъ по нервамъ».

Онъ не понималъ, что эта музыка была въ самыхъ его нервахъ.

Катя кончила.

— Не правда ли, это хорошо?—спросила она Ратищева.

Ратищевъ овладѣлъ собой.

— Да!.. То-есть, въ этой музыкѣ есть что-то сильное, но...

Онъ хотѣлъ что-то возразить и ничего не могъ. Онъ только въ смущеніи улыбнулся, нахмурился и посмотрѣлъ на свои тонкіе, длинные пальцы.

— Что же?—спросила Катя...

— Нѣтъ, такъ... Что же, мы пойдемъ въ садъ? Если вы желаете...

Катя ничего не отвѣтила и быстро двинулась впередъ. Они прошли гостиную и вышли на низенькій балконъ, небольшой, въ родѣ террасы, огороженной перильцами, съ которой былъ сходъ въ садъ. Торжествующая весенняя природа, во всемъ ея блескѣ, обхватила ихъ со всѣхъ сторонъ и прежде всего къ нимъ бросилась стайка воробьевъ. Они сѣли на перильца, трепетали крылышками и вопросительно чирикали, повертывая головками.

— Это мои друзья! — пояснила Катя. — Они просятъ хлѣба. А вотъ впереди ихъ «смѣлый», посмотрите... Онъ сейчасъ прыгнетъ мнѣ на руку,—и она быстро поднесла къ нему руку. Но воробьи, испуганные этимъ быстрымъ движеніемъ, бросились вразсыпную и улетѣли.

«Точно Сандрильона!»—подумалъ Ратищевъ и зорко оглянулся кругомъ, жадно вдыхая теплый, влажный, благоухающій воздухъ, который несся изъ цвѣтника.

Они спустились въ садъ. Тѣнистыя липы, которыя садилъ еще отецъ Павла Лаврентьевича, полукругомъ тѣснились около балкона, а сквозь нихъ, на зеленомъ фонѣ, ярко блестѣли на солнцѣ бѣлорозовыя шапки только что расцвѣтавшихъ яблоней.

— Не правда ли, — спросила Катя, — въ природѣ есть что-то широкое, успокаивающее, родное?

Ратищевъ не вдругъ отвѣчалъ. Въ немъ еще не улеглась музыка нервовъ. Притомъ вся обстановка раздражала его. Онъ даже съ ужасомъ почувствовалъ приливъ того волненія, которое когда-то обхватило его при первомъ сближеніи его съ Бертой.

— Это такъ только кажется, — проговорилъ онъ, нахмурясь, и тутъ же пустился анализировать, какъ и почему природа дѣйствуетъ на человѣка. Подъ этимъ анализомъ все приняло какіе-то грубые, слишкомъ прозаическіе, реальные оттѣнки.

— Все, какъ видите, это обманъ, опьянѣніе чувствъ,— закончилъ онъ.

— Но неужели же вы не признаете обаянія красоты, изящнаго? Вѣдь это что-то неразъясненное... Положимъ, все, что вы говорили, совершенно вѣрно. Я охотно допускаю и дѣйствіе озона, и эфирныхъ маслъ, и сочетаніе пигментовъ... Но форма?... И зачѣмъ это все вмѣстѣ какъ будто нарочно соединяется и такъ сильно дѣйствуетъ на насъ!?..

Онъ хотѣлъ отвѣчать, но взглянулъ на нее и замолкъ.

Она была такъ хороша на этомъ фонѣ изъ блѣдной серебристой зелени. Легкій теплый вѣтерокъ тихо развѣвалъ маленькія пряди волосъ, выбившіяся изъ ея косы. Ея ожив-

ленный вопрошающій взглядъ и эти сіяющіе, дѣтскіе, любопытные глаза, которые, казалось, были дверью, а за ней не было ничего скрытнаго, завѣтнаго...

— Да, можетъ-быть, что-нибудь и есть,—пробормоталъ онъ, нахмурясь, чтобы сказать что-нибудь.

«Я, кажется, положительно влюбляюсь,—подумалъ онъ. —Надо бѣжать отъ всей этой опьяняющей чепухи...»

III.

— Катя!—позвала Марья Петровна съ балкона.

— Пойдемте, насъ зовутъ! — сказала Катя и быстро пошла впередъ.

— Михаилъ Иванычъ! — заговорила Марья Петровна, когда они подошли къ балкону. — Мы рано обѣдаемъ... Милости просимъ, чѣмъ Богъ послалъ!

Ратищевъ посмотрѣлъ на часы. Былъ второй часъ.

«Я не прывыкъ такъ рано обѣдать,—хотѣлъ онъ сказать, но ничего не сказалъ и медленно поднялся на балконъ.

Катя прошла въ комнаты.

— У насъ теперь хорошо въ саду,—проговорила томно Марья Петровна,—да и вездѣ хорошо. Красота Божья!..

— Да,—согласился Ратищевъ, нервно вертя ключикомъ отъ часовъ.—«Божья идиллія!»—подумалъ онъ со злобой.

Но эта идиллія незамѣтно и полновластно утягивала его въ свой простой, ласкающій міръ, который былъ до сихъ поръ совершенно ему чуждъ. Тѣ струны, которыя звучали въ его сердцѣ въ далекомъ, самомъ раннемъ дѣтствѣ, еще при жизни матери и подъ ея горячею любовью,—эти струну вдругъ проснулись теперь, запыленныя, разстроенныя, и снова зазвучали какъ-то робко и отрывисто.

«Накормятъ меня какою-нибудь гадостью!» — подумалъ

онъ, идя въ столовую, вслѣдъ за Марьей Петровной, и подозрительно осматривая простую, но чистую сервировку стола.

Его усадили между Марьей Петровной и Катей, которая разливала крапивныя щи. Нѣсколько дѣвушекъ въ новенькихъ платьяхъ, съ праздничными, улыбающимися лицами, немного суетясь и толкаясь, наперерывъ старались услужить ему. Марья Петровна то потчивала его, то разсказывала ему эпизоды изъ своей прежней жизни. Между прочимъ, она завела разговоръ и объ исторіи его матери.

«Какъ это безтактно!» — подумалъ онъ и уткнулъ въ тарелку носъ, какъ будто не слушая.

— Конечно, — сказала Марья Петровна, — Богъ всѣхъ разсудитъ... Иванъ Тимоѳеичъ — царство ему небесное! — принялъ грѣхъ на душу... Но вѣдь и то сказать: гдѣ же ему было знать все, что было. Вѣдь онъ никого не разспрашивалъ. — И она разсказала все, что всѣ знали, кромѣ Ивана Тимоѳеевича и его сына.

Передъ Ратищевымъ отецъ вдругъ предсталъ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ. «Да еслибъ и была виновата она, мать моя, —подумалъ онъ,—то развѣ отецъ былъ святой?»

И въ первый разъ среди этой мирной, простой обстановки чуждой ему семьи въ немъ проснулось это дѣтское, нѣжущее чувство сознанія семейнаго кружка. Онъ искоса взглянулъ на Катю. Ему показалось, что въ ней есть что-то сходное съ его матерью.

Послѣ обѣда онъ тотчасъ же простился и уѣхалъ, отказавшись на отрѣзъ отъ кофе, который такъ радушно предлагала ему Марья Петровна. Въ головѣ и сердцѣ его поднялся такой сумбуръ, что ему хотѣлось непремѣнно быть совершенно одному.

А Катя, проводивъ его, съ жадностью набросилась на Ренана. Она читала съ лихорадочною страстностью, пере-

брасывала страницы и съ ужасомъ, съ замираніемъ сердца останавливалась на тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ сила эрудиціи подавляла легендарную силу преданія. Часто она оставляла книгу отъ волненія и быстро ходила по комнатѣ, стиснувъ ладонями виски, какъ будто желая остановить въ нихъ стучавшую кровь.

Нѣсколько разъ Пафнутьевна или Марья Петровна входили къ ней съ вопросами.

— Ахъ, оставьте меня, пожалуйста, оставьте!—кричала она чуть не со слезами.—Дайте покой!..

Наконецъ, она дошла до послѣдней главы и прочла ее. Она поняла книгу. Мало того, она съ ужасомъ чувствовала, какъ она переходила въ ея убѣжденія. Что-то тяжелое надавило ей грудь: какъ будто она осталась одна, совершенно одна среди громаднаго, чужого міра.

Она бросила книгу и выбѣжала въ садъ.

Тихій теплый вечеръ спускался на деревья. Нѣсколько разъ она прошлась по аллейкѣ, съ ужасомъ, порывисто останавливаясь.

«Неужели?.. Неужели?»—шептала она, нервно перебирая пальцы холодныхъ рукъ и глядя прямо въ глубину потемнѣвшаго неба. Тамъ, въ самой темной вершинѣ безоблачнаго купола, ярко сверкала блестящими искорками стайка кружившихся голубей. Она поднималась выше, выше и, наконецъ, исчезла, потонула въ темной синевѣ неба...

IV.

Всю дорогу вплоть до города Ратищевъ не могъ оторвать думы все отъ одного и того же вопроса, который всталъ ему поперекъ сердца. «Не нужно было ѣздить, вотъ что!—догадался онъ.—Ne touchez pas à la hache?.. Да развѣ

она топоръ?—усмѣхнулся онъ.—Просто хорошенькая, умненькая дѣвчонка и больше ничего, и просто можно съ ней сблизиться...»

Но именно при этой мысли онъ чувствовалъ, какъ какая-то перегородка вставала между нимъ и Катей, и эту перегородку онъ никакъ не могъ опрокинуть, и злился.

Поздно вечеромъ подъѣхалъ онъ къ своему большому дому-дворцу. Въ этомъ домѣ было все пусто, заперто. Никто не ждалъ его. Какъ огромныя могилы, угрюмо и величаво, приняли его громадныя, роскошныя залы. Онъ велѣлъ приготовить себѣ постель въ кабинетѣ. Тамъ, на столѣ, лежала новая посылка съ книгами.

«Буду читать,—подумалъ онъ. — Завтра порѣшу дѣла... Проѣду въ деревню, а туда—ни ногой .. Надо дѣло дѣлать, а то, пожалуй, какъ разъ обабишься».

И онъ сгоряча принялся съ жадностью рыться въ новыхъ книгахъ. Нѣкоторыя дѣйствительно его заняли, но не надолго. Опять каждое совершенно чуждое слово начало будить и вызывать въ немъ воспоминанія и наталкивать все на тѣ же мысли и мечты.

«Лучше спать!»—рѣшилъ онъ и, притворно зѣвнувъ, сбросилъ халатъ и потушилъ лампу.

Но среди ночной тишины вдругъ зазвучала музыка. Это заиграла гдѣ-то запоздавшая шарманка. И мысль снова встрепенулась, и чувство, еще болѣе томительное, среди теплой весенней ночи, потянуло его все въ ту же сторону.

Онъ усиленно закрылъ глаза и стиснулъ зубы. Но и сквозь закрытые глаза передъ нимъ вставалъ тотъ же образъ, во всей чистой, нетронутой красѣ. Ему чудилось теплое дыханье и какія-то дѣтскія, простыя и вмѣстѣ нѣжныя ласки, какихъ онъ никогда не знавалъ. Онъ со злобой сбросилъ одѣяло, порывисто вскочилъ съ постели и началъ ходить около стола. Большой, длинногорлый, глиняный кувшинъ, какой-

то археологическій и цѣнный, поставленный здѣсь еще Иваномъ Тимоѳеевичемъ, попался ему подъ ноги. Отъ сильнаго толчка онъ съ глухимъ гуломъ закачался на своемъ пьедесталѣ. Ратищевъ схватилъ его и со всего размаха ударилъ объ полъ. Громкій гулъ пошелъ далеко, по всѣмъ пустымъ громаднымъ заламъ. Ратищевъ началъ ходить снова взадъ и впередъ по комнатѣ, отбрасывая осколки, попадавшіеся ему подъ ноги.

— Ухъ!—вырвалось у него, наконецъ, изъ груди.—Правда говорятъ, что весной щепка къ щепкѣ льнетъ!

Въ большой залѣ, что была подлѣ кабинета, раздался какой-то неопредѣленный звукъ. Точно тихій, протяжный вздохъ пронесся и замеръ. У Ратищева морозъ пробѣжалъ по кожѣ... Онъ тихо подошелъ къ дверямъ залы и съ замираніемъ сердца растворилъ ихъ. Сквозь большія окна, цѣлые потоки луннаго свѣта лились на потемнѣвшій паркетъ и что-то въ родѣ тумана, какъ показалось Ратищеву, пронеслось по этимъ полосамъ. Съ дрожью въ сердцѣ и на зубахъ онъ захлопнулъ дверь.

— Чортъ знаетъ, что такое!—прошепталъ онъ.—Еще галлюцинаціи начнутся...—и онъ быстро подошелъ къ окну, какъ-то судорожно отдернулъ задвижки, распахнулъ его съ шумомъ и вдохнулъ всею грудью ночной воздухъ. Но воздухъ былъ тепелъ, въ немъ была нѣга, ароматы весенніхъ почекъ. Полный мѣсяцъ стоялъ высоко надъ крышами. Гдѣ-то медленно и отчетливо-звонко часы пробили два раза. Большой мотылекъ быстро влетѣлъ и съ тихимъ, сухимъ журчаньемъ началъ биться о потолокъ.

Ратищевъ снова легъ, но не покрылся одѣяломъ. И опять какія-то любовныя, ласковыя рѣчи, точно рѣчи его матери, ясно послышались ему. Онъ чувствовалъ, какъ подъ ихъ теплымъ привѣтомъ что-то таяло въ его сердцѣ. Невольно вставалъ вопросъ за вопросомъ изъ его системы, какъ будто

темные призраки являлись на судъ и улетали, какъ призраки. Какъ-то легко, свободно становилось въ этой кривой и связанной натурѣ. Онъ опять поднялся, вздохнулъ глубоко и опустилъ голову. И въ первый разъ, послѣ многихъ лѣтъ черствой, заскорузлой жизни, какое-то трепетное, робкое умиленіе спустилось въ его сухое сердце.

Тихій разсвѣтъ засинѣлъ въ окнахъ, когда онъ снова легъ утомленный и тотчасъ же крѣпко заснулъ.

А на другой день онъ всталъ съ какимъ-то томленіемъ въ сердцѣ, и въ первый разъ въ жизни онъ былъ не озлобленъ, а тихъ и грустенъ.

Онъ отправился въ губернскій комитетъ, гдѣ засѣданіе уже началось. Предводитель, толстенькій человѣкъ, сѣдой, съ небольшой лысиной и звѣздой на фракѣ, всталъ и пошелъ къ нему на встрѣчу.

— Nous vous attendons!—сказалъ онъ многозначительно, пожимая ему руку и слегка обнявъ его за талію.—C'est le jour décisive, il y aura des débats уже окончательные.

Ратищевъ посмотрѣлъ на него какъ-то неопредѣленно. А когда начались пренія, онъ предложилъ усиленный надѣлъ, и въ первый разъ въ этомъ собраніи голосъ его звучалъ какъ-то нерѣшительно, какъ будто онъ шелъ въ потьмахъ, не зная, куда ступить.

Всѣ изумились и посмотрѣли на него.

«D'où vient ce renégat! — подумалъ предводитель, приподнявъ брови.—Онъ всегда мнѣ казался подозрительнымъ и темнымъ. Il nous vend à présent, улучивъ удобную минуту».

Голоса раздѣлились почти пополамъ. Голосъ Ратищева перевѣсилъ.

До слѣдующаго утра Ратищевъ оставался въ городѣ. Цѣлый вечеръ онъ провелъ, противъ обыкновенія, дома и долго ходилъ взадъ и впередъ по большимъ, роскошнымъ заламъ.

«Она, вѣроятно, не видѣла такой роскоши,—вдругъ подумалъ онъ.—И я окружу ее этимъ блескомъ; среди него она будетъ хороша. Она увидитъ и пойметъ, что значитъ искусство». — И онъ прищурилъ глаза, поднявъ голову, и обернулся въ полъ-оборота. Подбородокъ его съ нижнею губой выдвинулся впередъ и лицо его вдругъ напомнило лицо Ивана Тимоѳеевича въ тѣ минуты, когда тотъ мечталъ о представленіи ко двору своей жены, m-me de Ratischteff.

Но эта мысль или мечта овладѣла Ратищевымъ только на одну минуту. Онъ сдвинулъ брови, махнулъ рукой и снова началъ ходить по комнатѣ. «Все это пустяки и глупости!»—подумалъ онъ.

На другой день утромъ, часу въ двѣнадцатомъ, онъ проѣзжалъ опять мимо Мельтюковки. Томленіе снова охватило его. Онъ сдвинулъ брови. «Надо бѣжать и работать»!—подумалъ онъ. Кучеръ остановилъ на поворотѣ лошадей и соскочилъ съ козелъ.

— Что же ты сталъ?—закричалъ на него съ нерѣшительной злобой Ратищевъ.

— А что, въ Мельтюковку не заѣдете?

— Пошелъ, дуракъ, пошелъ! — закричалъ уже, выйдя изъ себя, Ратищевъ. И кучеръ вскочилъ быстро на козлы и погналъ лошадей. Ратищевъ глубоко вздохнулъ и улыбнулся.

«Все-таки побѣда!»—подумалъ онъ.

Но въ деревнѣ его опять охватила все та же внутренняя борьба. Онъ нашелъ опять портретъ матери и посмотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ.

«Надо заказать на него новую рамку, а стекло перемѣнить, — подумалъ онъ, — и сдѣлать большую фотографію. Это было бы недурно». И онъ, отодвинувъ портретъ, щурился и любовался на него. Но вдругъ, нахмурясь, поло-

жилъ его на столъ и злобно усмѣхнулся. «Я, кажется, пускаюсь сентиментальничать даже съ мертвецами», подумалъ онъ.

Большой садъ, старый, тѣнистый и немного запущенный, стоялъ весь убранный благоухающей зеленью. Въ концѣ сада былъ небольшой сосновый боръ. Ратищевъ каждое утро, послѣ завтрака, гулялъ въ этомъ саду и бору. Теперь ему казалось, что все это полно какой-то общей дружною жизнью, и только онъ, одинъ онъ, стоялъ внѣ этого міра совершенно чужимъ. Въ бору пара зябликовъ, играя и щебеча, выпорхнула изъ кустовъ. Самецъ гонялся за самкой.

«И мнѣ тоже надо самку!»—съ желчной усмѣшкой подумалъ онъ, но тутъ же эта мысль упала. Тутъ же передъ нимъ живо всталъ все тотъ же образъ—дѣтскій, чистый, задумчивый, съ ясною открытою мыслью въ добрыхъ глазахъ, и посмотрѣлъ на него съ строгимъ укоромъ.

Ратищевъ провелъ рукой по лицу, опустилъ голову и быстро пошелъ домой.

Чувство одиночества, бездомности и тяжелой, безцѣльной жизни давило его со всѣхъ сторонъ.

V.

Въ это время въ умѣ и сердцѣ Кати тоже бушевала буря.

Маленькая книжечка раскрыла передъ нею безконечный рядъ вопросовъ. Легендарный міръ, дѣтскія упованія, беззавѣтная вѣра въ силу и правду преданія—все, казалось, становилось обманчивымъ туманомъ и тихо расплывалось неосязаемое, неуловимое...

«Что же такое истина?... Что добро?.. Для чего же

жить?»—спрашивала она, съ отчаяніемъ ломая холодныя руки и быстро пробѣгая по аллейкамъ ликующаго сада.

— Катя!—говорила Марья Петровна,—да брось ты, голубка, думать-то... Посмотри: похудѣла, поблѣднѣла... Ничего не ѣшь!..

— Ахъ, оставьте меня! Ради Бога, оставьте меня!—умоляла она и забивалась въ самую глушь сада, въ маленькую бесѣдку изъ акацій, въ которой было темно и сыро.

Но самыя мучительныя минуты были тѣ, когда она поздно вечеромъ, передъ сномъ, по старой привычкѣ, останавливалась передъ кроватью, надъ которой висѣлъ образокъ Спасителя.

Она падала на колѣни передъ кроватью и, стиснувъ зубы и закрывъ глаза, неподвижно по цѣлымъ часамъ, лежала на подушкѣ.

— Тамъ пусто, глухо!... Тамъ тьма!... О, хоть бы одна искорка утѣшенія, примиренія... откуда-нибудь.

И она кусала горячія, сохнувшія губы.

Одинъ разъ, среди солнечнаго дня, она сидѣла на скамейкѣ передъ прудомъ. Кругомъ нея все было полно бойкой, неугомонной жизни. Весь садъ одѣлся густой листвой. Лужайки запестрѣли цвѣтами, загудѣли пчелами.

«Гдѣ же мой медъ? Неужели я безсильнѣе пчелы?—думала она.—Онѣ работаютъ, потому что любятъ трудъ... Что же мнѣ любить?..»

«Все и всѣхъ!» —подсказало сердце. «Люби природу, людей... Люби добрыхъ, угнетенныхъ, страдающихъ... Люби ради любви и не думай ни о чемъ, кромѣ того, что велитъ тебѣ дѣлать твое любящее сердце».

И эта мысль, простая, широкая, вдругъ навѣяла миръ, тишину на ея угнетенное, испуганное сердце. Легкая краска залила ей лицо, грудь заволновалась. На глазахъ выступили слезы. Она быстро, порывисто поднялась со скамейки и обернулась.

Передъ нею стоялъ Ратищевъ.

Онъ былъ блѣденъ, желтъ, какъ будто похудѣлъ немного. За то волосы его были удивительно гладко причесаны. Весь лѣтній, свѣтло-сѣрый, костюмъ сидѣлъ такъ элегантно. Отложные воротнички и сѣрая батистовая фуражка придавали свѣжесть и дѣтскость его лицу, серьезному и немного грустному.

Катя слегка, удивленно, вскрикнула и радостно протянула ему руку.

— Какъ вы подкрались... незамѣтно!

— Я ужъ минутъ пять смотрю на васъ («и любуюсь»— хотѣлъ онъ сказать, но не сказалъ)... Вы такъ задумались... Марья Петровна сказала, что вы въ саду, и... немножко жаловалась на васъ.

— Что я хандрю и ничего не ѣмъ?—спросила Катя и улыбнулась.

— Да!—признался Ратищевъ и задумчиво посмотрѣлъ кругомъ.

Они двинулись по аллейкѣ.

— Я много думала,—призналась Катя,— надъ Ренаномъ. Мнѣ кажется, что человѣкъ, такъ много изучавшій, такъ долго писавшій эту книгу, не можетъ ошибаться, не правда ли.

Ратищевъ медленно кивнулъ головой.

— Но вѣдь эта книга,—продолжала Катя,—ведетъ невольно дальше... Она заставляетъ усомниться во многомъ, во всемъ... Неужели?..

— Что?— быстро спросилъ онъ и забѣгалъ глазами.

— Ахъ, неужели все это правда?.. И ничего нѣтъ, кромѣ этой природы?.. Для чего же жить?!

— Какъ для чего жить?.. Оглянитесь кругомъ... Для чего живетъ все это—деревья, птицы, цвѣты... parce que la vie ordonne vivre. Cela se comprend par soi-même. Въ этой

жизни все обаяніе, tout le prestige de la vie. Спросите par exemple, старика, который еле движется, для котораго жизнь—бремя, и онъ скажетъ вамъ, что не хочетъ смерти... Вспомните cette fable du bonhomme La Fontaine: le paysan et la mort...

— Вотъ жизнь!—сказала вдругъ Катя.—Посмотрите!—и она остановилась передъ двумя липами-близнецами, между которыми большой паукъ выткалъ громадную сѣть-паутину и на этой паутинѣ весьма ловко расправлялся съ несчастной мухой, которая отчаянно билась и жужжала во всю голову.—Вотъ, видите, она всегда такъ, всегда въ ней борьба, всегда одинъ долженъ жертвовать для другого... «Да развѣ жертвовать собой непріятно?»—прибавила она про себя.

Они снова подошли къ берегу пруда, къ скамейкѣ, на которой Катя сидѣла прежде.

— Сядемте здѣсь,—сказала она.—Здѣсь такъ хорошо, въ тѣни, подлѣ воды!

И дѣйствительно тамъ было хорошо. Свѣжая зелень деревьевъ серебрилась на солнцѣ. Множество маленькихъ птичекъ свистѣло и перелетало съ мѣста на мѣсто. Отъ широкаго блестящаго пруда вѣяло освѣжительною прохладой.

Ратищевъ присѣлъ на кончикъ скамейки и закурилъ папироску.

— Посмотрите, — говорила Катя, — какъ хорошо тамъ, на томъ берегу, въ тѣни этихъ развѣсистыхъ ивъ: маленькія, свѣтлыя, ярко-зеленыя мѣстечки... И какой нѣжный, пріятный оттѣнокъ кругомъ на всѣхъ этихъ деревьяхъ!

Ратищевъ посмотрѣлъ и согласился, что это дѣйствительно хорошо.

«И я буду все это любить,—подумала Катя,—любить

какъ прекрасное, какъ добро... Буду жить и... пусть что будетъ, то будетъ! Можетъ быть, буду жертвой... Можетъ быть, онъ будетъ паукъ, а я—муха...» И она вдругъ невольно покраснѣла отъ этой неожиданной мысли.

— Катерина Львовна!—началъ Ратищевъ какимъ-то глухимъ, нерѣшительнымъ голосомъ, который тотчасъ же оборвался. Онъ съ досадой улыбнулся и слегка притопнулъ свѣтло-сѣрой ботинкой.

Катя быстро обернулась къ нему.

— Вы, вѣроятно, потому не цѣните жизни,—снова началъ онъ,—что вамъ не приводилось, какъ мнѣ, быть въ ея темницѣ.— Онъ затянулся, но папироса вдругъ съ трескомъ вспыхнула, онъ съ испугомъ отдернулъ руку и со злобой далеко отбросилъ папиросу.—Я не помню,—продолжалъ онъ,—своей матери, я не знавалъ никогда ничьихъ ласкъ... Toute mon éducation était pervertie. Меня воспитали чужіе люди, гувернеры...

Катя съ изумленіемъ смотрѣла на него. Онъ говорилъ совсѣмъ не такъ, какъ обыкновенно. И лицо его было какое-то особенное—грустное, задумчивое. Онъ не смотрѣлъ на нее и усиленно вертѣлъ большой часовой ключикъ съ головкой левретки.

— Мой отецъ,—продолжалъ Ратищевъ,—былъ для меня un portrait de famille... въ старинныхъ золотыхъ рамахъ, и смотрѣлъ на меня, чтобы я велъ себя... прилично и былъ величавъ, какъ онъ... Ни друзей, ни товарищей... Я росъ одинокимъ и постоянно прятался, врасталъ внутрь...

Онъ вдругъ замолкъ, вытянулъ ноги и какъ-то судорожно повелъ плечами. Его дрожащія руки покрылись холоднымъ потомъ. Въ первый разъ въ жизни онъ высказывался другому человѣку, а не себѣ, тогда, какъ до сихъ поръ, онъ прятался отъ всѣхъ и даже отъ себя самого. Онъ покосился: не улыбается ли она?.. Но она такъ

серьезно, съ недоумѣніемъ и глубокимъ участіемъ смотрѣла на него. Ея прямое сердце вдругъ почувствовало себя легко, свободно, подлѣ другого сердца, которое, хотя и скупо, но довѣрчиво открывалось передъ нимъ.

— Катерина Львовна! — снова онъ началъ тихо. — Въ мою темницу, dans ma prison intérieure, упалъ на-дняхъ какой-то свѣтлый лучъ, и я увидалъ другую, лучшую сторону жизни, отъ которой отворачивался до сихъ поръ... Въ жизни есть много чего-то хорошаго, чего мы еще не можемъ объяснить... il y a une harmonie... когда чувствуешь полноту, довольство жизнью отъ сознанія, что у тебя есть отвѣтъ въ другомъ *я*, которое полно къ тебѣ глубокимъ... глубокимъ участіемъ.

Онъ говорилъ все тише и тише, отрывистѣе и вдругъ замолкъ на нѣсколько секундъ. Затѣмъ быстро всталъ и принужденно зѣвнулъ.

— А знаете,—сказалъ онъ, стараясь придать своему дрожащему голосу равнодушный тонъ,—у васъ здѣсь дѣйствительно хорошо! Недостаетъ только лодки.—И онъ посмотрѣлъ на часы.

Катя также приподнялась со скамейки и съ недоумѣніемъ смотрѣла на него. Она не могла еще прійти въ себя отъ удивленія: какъ можно было такъ рѣзко и такъ неуклюже, грубо повернуть въ сторону. Въ ея сердце еще дрожали тѣ струны, до которыхъ онъ коснулся, не вѣдая, какая могучая сила скрыта въ нихъ.

— У насъ есть лодка,—сказала она.—Здѣсь... Хотите покататься?

И, не дожидаясь отвѣта, она быстро двинулась впередъ и пошла въ боковую аллейку, къ небольшому спуску, возлѣ котораго стояла привязанная лодка.

Она спустилась и быстро впрыгнула въ лодку, такъ что она закачалась и сама Катя покачнулась.

Ратищевъ протянулъ руку и поддержалъ ее.

— Садитесь въ весла... Вѣдь, вы умѣете грести?.. Я гребу но плохо,—и она сѣла къ рулю.

Ратищевъ не умѣлъ грести, при томъ на скамейкѣ, на которую она приглашала его сѣсть, было какое-то черное пятно.

«Вѣрно смола?—подумалъ онъ:—и что же за картина: барышня будетъ возить своего галантнаго кавалера въ лодкѣ?! Притомъ, пожалуй, потонешь. Лодка должно быть старая».

— Нѣтъ... Теперь жарко,—сказалъ онъ.—On se fatigue vite, притомъ мнѣ пора,—и онъ опять посмотрѣлъ на часы...

Катя быстро встала и опять покачнулась.

Ратищевъ подставилъ ей руку, и опираясь на нее, она вышла изъ лодки и подъ-руку съ нимъ поднялась на пригорокъ.

— Что же,—спросила она,—давече вы не досказали, не кончили вашу исповѣдь?

При словѣ исповѣдь его слегка передернуло.

Онъ пожалъ плечами.

— Въ другой разъ когда нибудь... я доскажу.

И онъ замолкъ и велъ ее подъ руку по аллейкѣ.

Отъ всего ея гибкаго тонкаго стана вѣяло благоуханіемъ молодости, красоты. Сердце его забилось сладкой истомой. —Но онъ вдругъ рѣзко отнялъ свою руку отъ ея руки. Ему представилось, что онъ уже связанъ съ нею на всю жизнь—и боязнь чего-то неопредѣленнаго, но непріятнаго до ужаса, быстро охладила поднимавшееся волненіе.

— Мнѣ пора,—сказалъ онъ слегка дрожавшимъ голосомъ.—Я къ вамъ только на минутку заѣхалъ... по пути... Au révoire!

И онъ протянулъ ей руку, которую она пожала крѣпко, какъ старому знакомому.

А Марья Петровна вся встрепенулась, когда онъ сталъ съ ней прощаться.

— Какъ! — вскричала она: — вы ужъ уѣзжаете? А у насъ сегодня будутъ раки... Вы, вѣрно, любите... И спаржа.

— Нѣтъ, не люблю!—сказалъ Ратищевъ.—Вѣдь они—красные, я терпѣть не могу грасныхъ...—И онъ улыбнулся...

Марья Петровна посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ.

«Развѣ велѣть не доварить ихъ?—подумала она.—Вѣдь, чай, жестки будутъ. Или это по модному... хорошо?..»

— Прощайте-съ!—сказалъ онъ Катѣ и опять протянулъ ей холодную руку и какъ-то пристально и грустно посмотрѣлъ на нее.

«Онъ должно быть очень несчастливъ!»—подумала Катя.

И эта искра сожалѣнія мало-по-малу начала разгораться въ ея сердцѣ. Ей живо представлялась его несчастная мать и онъ постоянно одинокій, то съ грустнымъ, то съ насмѣшливымъ взглядомъ, постоянно всѣмъ недовольный.

Она, какъ-то машинально чертя карандашомъ, набросала его лицо. На портретѣ выраженіе вышло еще грустнѣе и симпатичнѣе. Она спрятала портретъ.

«Ему тяжело жить,—думала она.—Жизнь его безцѣльна и пуста такъ-же, какъ моя. Онъ не можетъ работать, потому что для всякаго дѣла прежде всего необходимъ внутренній покой, довольство самимъ собой,—а этого ему недостаетъ. Вотъ Талыгинъ: у него миръ на душѣ, и онъ спокоенъ, и ясенъ, и работаетъ постоянно за троихъ».

И вдругъ нежданно, негаданно у нея явилась мысль. «А что, если *я* буду для него тѣмъ, чего недостаетъ ему въ жизни?—она смутилась и покраснѣла.—Это самообольщеніе,—подумала она.—Онъ изъ другой среды. Между нами—бездна. Захочетъ ли онъ перейти ее, достанетъ ли у него для того силъ? Вѣдь это все-таки жертва, пустяшная, но не для него. Онъ, вѣроятно, сжился съ этими предразсудками. Они вросли въ него съ дѣтства... Развѣ мнѣ, мнѣ самой быть жертвой...» Но въ чемъ собственно была бы

эта жертва, она не могла себѣ объяснить, только она не боялась, она желала ея и вмѣстѣ отталкивала прочь, какъ несбыточную мечту. Но эта мечта сама собой подвертывалась и обвивала ее теплыми, нѣжущими объятіями. Она и любила ее, и вѣрила ей, и надѣялась. Страсть проснулась, наконецъ, въ ея сердцѣ, и чѣмъ дальше она спала, чѣмъ долѣе сковывалъ ее умъ, тѣмъ бѣшенѣе, неприступнѣе вырвалась она теперь на свободу.

«Господи! неужели я ни о чемъ не могу больше думать!» —шептала она, протягивая, какъ прежде, руки къ образу, что висѣлъ надъ ея кроватью, и тутъ же вспоминала, что теперь нѣтъ у нея этой могучей поддержки, что тамъ все глухо. Все или почти все,—ничтожный дѣтскій обманъ!

Она принималась за музыку, но музыка еще сильнѣе раздражала ее, раздражала до слезъ.

«Хоть бы убѣжать куда нибудь!»—думала она въ отчаяніи и машинально шла въ садъ. Но цвѣтущій и поющій садъ еще болѣе наводилъ истому. И снова милая, свѣтлая мечта, незамѣтно для нея, закипала въ ея горячей головкѣ.

«Забудь все, — говоритъ она ему въ этой мечтѣ.—Забудь прошлое... Выходи вонъ изъ душной темницы. Трудись, работай на счастье и благо всѣхъ. Я поддержу тебя въ трудахъ. Я отдамъ за тебя все: послѣдній вздохъ, послѣдній трепетъ сердца».

И онъ счастливъ, доволенъ. Онъ дѣлается яснымъ, искреннимъ, любящимъ и умъ его становится сильнымъ, геніальнымъ.

«О, дорогой мой!—шепчетъ она.—Вѣрь, что существуютъ и красота, и добро, и свѣтъ истины! И все это отражается въ нашей глубокой любви и въ нашемъ полномъ счастьѣ!..»

— Барышня!—кричитъ красавица Параша съ балкона,— кушать подано... Пожалуйте кушать, барышня.

Она оглядывается кругомъ. Вся зелень уже потемнѣла. На ясномъ небѣ уже проглядываютъ звѣздочки.

Глубокій вздохъ вырывается изъ ея стѣсненной груди. И жаль, и стыдно ей мечты своей.

«Точно во снѣ я живу!»—шепчетъ она и проводитъ холодною рукой по горячему лбу.

И сонъ этотъ тянется и не даетъ ей покоя. Плывутъ ясные, теплые дни и мучительныя, душныя ночи. Среди нихъ еще сильнѣе, повелительнѣе обхватываетъ волненіе. И тоскуетъ сердце, и горитъ голова. Онѣ злы, онѣ куда-то влекутъ, что-то обѣщаютъ эти таинственныя безсонныя ночи, полныя раздражающаго аромата душистыхъ левкоевъ и розановъ. И сонъ бѣжитъ, и слезы не уносятъ раздраженія.

«Ахъ, что это за безуміе!—шепчетъ она, ломая руки.—Неужели это и есть любовь и нѣтъ выхода?.. Вѣдь я не знаю его, совсѣмъ не знаю. И все это—мечта и бредъ воображенія, глупость».

Но въ томъ-то именно, что она не знаетъ его, и была притягательная сила. Въ этой неопредѣленности и былъ идеалъ.

VI.

А у Талыгина было глубокое горе. Его мать, его «родная», лежала при смерти. И онъ дни и ночи просиживалъ у ея постели.

«Что это: эгоизмъ или нѣтъ?—думалъ онъ.—Зачѣмъ мнѣ нужна эта догорающая, усталая жизнь? Вѣдь она спѣла свою пѣсню. У нея были бурныя и тихія радости. Пусть задремлетъ и разрушится; пусть погаснетъ усталая лампадка».

Но при одной этой мысли у него сжимало горло и онъ не могъ съ ней помириться.

Иногда въ безсонную ночь, когда онъ смотрѣлъ на это спящее, сморщенно-блѣдное, но кроткое и какъ-то весело улыбающееся, лицо, ему вдругъ представлялся вопросъ:

«А что, еслибы пришлось помѣнять эту жизнь на ту молодую, бьющую свѣжимъ, многообѣщающимъ ключомъ,—на которую изъ двухъ привязанностей сильнѣе откликнулось бы сердце?.. Да, пусть живетъ,—думалъ онъ,—если въ ней дѣйствительно есть сила на общее благо. Но тогда я не прикоснусь къ ней никакою мыслью. Я не долженъ ее знать. Всякая мысль здѣсь была бы преступленіемъ».

Но тутъ же онъ встряхивалъ волосами и грустно улыбался.

«Какія глупыя мысли,—думалъ онъ,—приходятъ въ разстроенную безсонницей голову!»

На Пасху, ѣздивъ къ заутрени, Агнія Петровна простудилась. Тихая грусть, которая не оставляла ее со смерти Павла Наумовича, осложнила болѣзнь. Исходъ былъ весьма сомнительный. Просыпаясь среди ночи, она видѣла какъ ея Митя сидѣлъ возлѣ нея блѣдный, съ красными, воспаленными глазами.

— Ты что не ляжешь?—говорила она.—Полуношникъ!.. Мнѣ легче... Ничего не будетъ. И доктору ты не вѣрь... Хилое дерево долго скрипитъ, и я еще долго проскриплю.

И, какъ будто для оправданія этой поговорки, она оправилась. Можетъ быть, постоянный, неусыпный уходъ сына спасъ ее.

За то какой праздникъ былъ для него, когда она, улыбаясь, шла, въ первый разъ, къ раскрытому балкону, сквозь который ярко свѣтило солнце, и блестѣла зелень, и ворковали голуби!

— Ишь, напоилъ! Ишь, напоилъ, разбойникъ!—шептала

она, шатаясь. — Да пьяную еще ведетъ на Божій пиръ, на весенній праздникъ...

Въ этотъ же день (это было во второе воскресенье послѣ Пасхи) Талыгина ожидалъ другой праздникъ, который онъ дозволялъ себѣ каждое воскресенье.

На дворѣ ждала его цѣлая толпа дѣтей. Это была его пассія или, какъ говорилъ онъ, его «слабость». Для него было наслажденіемъ наблюдать надъ этою молодою, еще не сложившеюся, а потому болѣе простою, жизнью. Многіе мальчики приходили изъ школы, гдѣ были воскресные классы, послѣ обѣдни. Эта школа была заведена еще Павломъ Наумовичемъ.

Съ шумомъ и радостными возгласами вся эта крикливая ватага бросилась къ Талыгину.

— Шш... Кышш!..—махалъ онъ на нихъ руками, а они еще болѣе лѣзли къ нему съ хохотомъ.

Но одинъ, самый малый, курносый, быстроглазый мальчикъ продрался впередъ и обхватилъ его ногу.

— А ты наперво поцѣлуй меня, а потомъ и шугай!— пищалъ онъ, нахмурясь, визгливымъ голоскомъ.

Талыгинъ поднялъ его и поцѣловалъ.

— На что же тебѣ нужно, чтобы я поцѣловалъ? Развѣ вкусно?

— Вкусно!—сказалъ, улыбаясь, мальчикъ.

— Ну, а что вкуснѣе: поцѣлуй или пряникъ?

Мальчикъ задумался.

— Ха-ха-ха! — хохотала толпа.—Дай ему пряникъ, дай! Небойсь, онъ его любо сотретъ. Онъ надысь у Митки Тергубова трешный пряникъ схимкалъ.

— Пьяникъ лучше,—сказалъ мальчикъ съ самою серьезною миной.

— И я думаю то же. Онъ ближе къ цѣли, — и Талыгинъ вынулъ изъ кармана и далъ ему пряникъ.

— Ну, и всѣмъ дамъ! — закричалъ онъ. — Только вотъ что, ребятки! Посмотрите, да скажите: — придумайте какъ мнѣ вамъ дать такъ, чтобы никому не было ни завидно, ни обидно? А вотъ и пряники, — и онъ развернулъ передъ ними цѣлый свертокъ.—Вотъ тутъ большіе и малые, золоченые и простые. Вотъ есть и писанные, рисованные... Всякіе есть!

— Дядя-баринъ!—сказалъ одинъ,—ты мнѣ самый большой дай, да мотри—золотенькій.

— Погоди! А ты думай: ну, я тебѣ дамъ большой, а другимъ-то что?

Мальчикъ задумался и всѣ задумались, а Талыгинъ съ улыбкой вглядывался въ ихъ лица и наблюдалъ игру физіономій.

Вдругъ послышался топотъ и съ мягкимъ, едва слышнымъ, шумомъ къ крыльцу подкатила каретка. Нѣкоторые изъ мальчиковъ обернулись, другіе впились въ пряники. Талыгинъ и это подмѣтилъ.

Изъ кареты медленно вылѣзъ, потягиваясь и разминаясь, молодой человѣкъ, низенькій и толстый, съ большою головой, на которой была надѣта легкая широкополая панама. Сѣрое широкое пальто сидѣло на немъ мѣшкомъ,

— Принимаютъ, что ли?—лѣниво и медленно спросилъ онъ какимъ-то кисло-усталымъ голосомъ и приподнялъ шляпу. Затѣмъ такъ же лѣниво вытащилъ изъ кармана большой батистовый платокъ и обтеръ имъ круглую, слегка облысѣвшую, гладко обстриженную голову. Обтеръ и лицо, полное, румяное, съ небольшими умными глазками и кислой улыбкой на тонкихъ губахъ, надъ которыми едва пробивались свѣтло-русые усики.

— Принимаютъ! — сказалъ, весело улыбаясь, Талыгинъ, и гость медленно началъ подниматься по лѣстницѣ, молча и лѣниво размахивая направо и налѣво платкомъ и разго-

няя столпившихся дѣтей, которыя нехотя разступались передъ нимъ.

— Это Канючковскій баринъ,—прошептали нѣкоторые изъ нихъ.

— Что это у тебя тутъ?—спросилъ онъ.—Аѳинская гимназія, sous la belle étoile?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Талыгинъ, пожимая бѣлую, мягкую руку гостя, своего школьнаго товарища Канючкова.—Я вотъ имъ предложилъ задачу: раздѣлить эти пряники поровну.

— A-a!—протянулъ Канючковъ.—Une etude psychologique sur la nature сихъ малыхъ изъ малыхъ. Хорошее занятіе!

Канючковъ слылъ за остряка. Онъ былъ малоросъ и богатъ. Дѣдъ его, Остапъ Канючко, какими-то путями нажилъ большое состояніе. Канючковъ много читалъ и въ этомъ проходило почти все его время. Порой онъ пріѣзжалъ въ городъ или ѣздилъ по сосѣдямъ, въ томъ числѣ и къ Талыгину. Это онъ называлъ: встряхнуть брюшину. Онъ жилъ особнякомъ отъ его большой семьи, въ отдѣльномъ небольшомъ домикѣ, въ саду, и ходить за нимъ были приставлены хорошенькая горничная и казачокъ. Талыгинъ звалъ его малороссійскимъ Эпикуромъ и любилъ говорить съ нимъ, какъ съ умнымъ человѣкомъ, но принималъ его рѣдко, за недосугомъ, на что Канючковъ ни мало не претендовалъ и не обижался. Самъ себя онъ называлъ: un chenapan breveté avec la garantie du gonvernement. Зиму онъ проводилъ въ Петербургѣ, большею частью въ Англійскомъ клубѣ, гдѣ игралъ «по большой» и гдѣ его любили за его остроты и наивный характеръ. Этимъ остротамъ онъ былъ обязанъ успѣхомъ и удачей разныхъ дѣлишекъ и похожденій. Разъ онъ пришелъ въ почтамтъ пѣшкомъ, ради моціона, и подалъ письмо и стертый двугривенный. Экспедиторъ не принялъ двугривенный. «Гладкіе нынче не ходятъ!»—сказалъ

онъ грубо. Канючковъ, молча, раза два тихо перевернулся передъ нимъ и развелъ руками. — «Помилуйте, — сказалъ онъ,—чего же глаже, а хожу!» Экспедиторъ взглянулъ на его гладкую фигуру и лысую, круглую голову, расхохотался и принялъ двугривенный.

— Ну, что же, ребятки,—обратился Талыгинъ къ мальчуганамъ,—говорите, какъ же мы будемъ дѣлить!

Но «ребятки», смущенные присутствіемъ «чужого», дичились и молчали.

— Вотъ что,—выскочилъ одинъ бойкій и встряхнулъ волосами.—Ты, дяля, самъ дѣли,—какъ знашь, такъ и дѣли! Мы тѣ вѣримъ, пра, вѣримъ!

— Voilà une resolution philosophique et bien pratique!—рѣшилъ Канючковъ.—Не дѣлай того самъ, что за тебя могутъ сдѣлать другіе. Дѣли же скорѣй и пойдемъ въ комнаты. Здѣсь жарко.

Но Талыгинъ не бросилъ дѣла.

— Я могу раздѣлить, — сказалъ онъ, — да вѣдь развѣ это мое дѣло? Ваши пряники, вы и дѣлите! Вотъ они вамъ,—и онъ положилъ ихъ на крыльцо.

Изъ толпы вдругъ протиснулся впередъ блѣдный мальчикъ въ розовой рубашкѣ. Лицо его было грустно-задумчивое. Онъ сталъ передъ пряниками, обратился ко всѣмъ остальнымъ и началъ считать ихъ, говоря полушопотомъ: «первой, другой, третій...»

Талыгинъ и Канючковъ молча смотрѣли и улыбались.

Сосчитавъ всѣхъ (всѣхъ вышелъ чётъ), онъ вынулъ изъ кармана небольшой складной ножикъ и началъ дѣлить и рѣзать пряники такъ, чтобы каждому былъ равный кусокъ отъ большихъ пряниковъ. Мелкіе онъ раздѣлилъ поровну. Потомъ онъ все разложилъ въ кучки и молча смотрѣлъ, какъ всѣ подходили и брали каждый свою кучку. Всѣ разобрали, ему ничего не осталось: онъ забылъ сосчитать

себя. Талыгинъ молча вынулъ изъ кармана большой раззолоченный пряникъ и подалъ ему, но мальчикъ не бралъ и такъ же молча и вопросительно посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Бери!—закричали мальчуганы.—Ничего, Ванюха, бери, не препятствуемъ!..

Мальчикъ нерѣшительно взялъ пряникъ, потомъ, вдругъ, какъ будто спохватившись, досталъ изъ кармана какой-то обрывокъ клѣтчатаго платка и началъ завертывать пряникъ въ эту тряпку.

— Что же ты не ѣшь?—спросилъ Талыгинъ, видя, какъ всѣ другіе жевали и чавкали.

Мальчикъ посмотрѣлъ на него и улыбнулся.

— Сестричкѣ снесу,—сказалъ онъ мягкимъ, задушевнымъ шопотомъ, улыбнулся и покраснѣлъ.

— Ah, gredin!—сказалъ Канючковъ, поднявъ пальцемъ его подбородокъ кверху.—Tu aura de l'influence sur les masses,— и, подхвативъ Талыгина, потащилъ его въ комнаты.—«Фанатикъ будетъ», порѣшилъ онъ про себя.

«Свѣтлый будетъ», подумалъ Талыгинъ.

— А я къ тебѣ пріѣхалъ, — говорилъ Канючковъ на ходу,—галушки ѣсть.

— Да вѣдь ты ихъ каждый день дома ѣшь!

— Одна и таже пища вредна,—говорятъ доктора.

— Какъ одна и та же? Вѣдь и здѣсь будутъ галушки.

— Совсѣмъ нѣтъ; здѣсь будутъ другія. Il aura une difference dans l'idée du galoụsċhka, — понимаешь?.. Впрочемъ, я пріѣхалъ къ тебѣ съ своимъ виномъ. Ты не хлопочи. Вели только достать у меня изъ кареты бургонцу и ренвейнцу. Я знаю, что у тебя все питье — блаженная вода, не мутящая ума... А гдѣ же твоя голубка? — остановился онъ вдругъ.

Талыгина и Агнію Петровну онъ звалъ: les deux pigeons amoureux.

— А вотъ мы идемъ къ ней на балконъ. Посмотри, какая она стала.

Канючковъ посмотрѣлъ и удивился.

— Что это съ вами?.. Больны?

— Чуть не умерла.

Канючковъ покачалъ головой.

— Пожелали попасть въ списокъ умершихъ? Такое статическое самоотверженіе...

Онъ не договорилъ и посмотрѣлъ кругомъ.

— А у васъ здѣсь хорошо!—сказалъ онъ.

И дѣйствительно, было хорошо на этой широкой террасѣ. Она вся была уставлена гортензіями, вся убрана вьющимися растеніями. Передъ ней развертывалась клумба изъ розановъ, а далѣе полукругомъ поднималась рѣшетка изъ тѣхъ же вьющихся растеній: бріоній, вьюнчиковъ, турецкихъ бобовъ, хмѣлю. Густыя космы зелени ползли во всѣ стороны, разстилались по землѣ, свѣшивались сверху, цѣплялись за растрепанныя столѣтнія ели, которыя почти сплошною стѣной поднимались сзади. Множество насѣкомыхъ: бабочекъ, пчелъ, мухъ—толпилось на цвѣтахъ, грѣлось на солнцѣ, жужжало на всѣ лады.

Канючковъ тяжело опустился на широкую отоманку.

— Здѣсь что хорошо? — началъ анализировать онъ вслухъ.—Здѣсь чувствуешь, что природа сама себя любитъ и не мѣшаетъ сама себѣ, какъ многіе люди, въ томъ числѣ и ты,—указалъ онъ на Талыгина.—Потому здѣсь хорошо,—продолжалъ онъ, — что каждая травка, каждая мушка довольны, и ты чувствуешь это довольство. Нѣтъ ни порываній, ни стремленій; никто не торопится, а каждый дѣлаетъ свое дѣло съ наслажденіемъ, не замѣчая того. У людей дѣло составляетъ трудъ. Надо запречься въ хомутъ и тянуть лямку...

— Ну,—сказалъ Талыгинъ,—значитъ, ты совсѣмъ под-

ходишь подъ эту категорію растеній и насѣкомыхъ и можешь засѣсть въ середину клумбы, на какой-нибудь розанъ, и сидѣть цѣлое лѣто, но только все-таки никакого дѣла не высидишь.

— Я, душа моя,—сказалъ Канючковъ съ простодушнымъ видомъ, обтирая лысину и смотря изподлобья на Талыгина,—я полагаю, что я нѣсколько тяжелъ для сидѣнья на розахъ. Матерія перетянетъ.

За столомъ разговоръ опять попалъ на ту же тему.

— Вѣдь вотъ,—разсуждалъ Талыгинъ, указывая на Канючкова,—умный человѣкъ, со способностями, а ничего не дѣлаетъ... Ну, возможно ли это за-границей, въ западной Европѣ?

— Какъ ничего не дѣлаю?—оправдывался Канючковъ.—Каждый день, съ утра до вечера, не отдыхая, ношу три пуда собственнаго сала, а ты говоришь: ничего не дѣлаю!

— Вѣдь на тебя просто смѣшно и противно смотрѣть, —продолжалъ Талыгинъ.—Если бы дать тебя для анализа какому-нибудь психологу, то онъ крѣпко бы призадумался.

— Я полагаю,—возразилъ скромно Канючковъ, обглядывая телячью косточку,—что психологъ во мнѣ ничего не разберетъ. Тутъ дѣло салотопа...

— И развѣ можно теперь бездѣльничать?—продолжалъ Талыгинъ, не слушая его.—Теперь намъ нужны всѣ наличныя силы...

— Душа моя, я не наличная, а безличная сила. Я всю жизнь только и хлопочу о томъ, какъ бы обезличиться, потому что лицо, хотя бы и не высокопоставленное, стоитъ уже прямо на пути превращенія въ особу. Его замѣтятъ, отличатъ, превознесутъ и разнесутъ во всякихъ газетахъ и журналахъ. Если бы я добился до подобнаго скандала, то меня бы ругали, оплевали, прославляли, превозносили. А тамъ, глядишь, лѣтъ черезъ пятьдесятъ (вѣдь у насъ во

всемъ спѣшатъ медленно), воздвигли бы на городской площади монументъ для назиданія юношества. И поставили бы меня, въ видѣ мѣднаго болвана, съ открытою лысиной, на солнце и морозъ, а тутъ еще галки и вороны, которыя вообще народъ нецивилизованный и монументовъ не различаютъ...

Талыгинъ посмотрѣлъ на коротенькую, толстую фигуру Канючкова, подвязанную салфеткой, на его лысину, представилъ себѣ эту фигуру въ формѣ мѣднаго болвана и захохоталъ своимъ добрымъ, открытымъ смѣхомъ.

Къ концу обѣда раскраснѣвшійся Канючковъ больше поддакивалъ собесѣднику, чѣмъ его оспаривалъ. Послѣ обѣда онъ засѣлъ на мягкій турецкій диванъ, обложенный подушками, и когда Талыгинъ началъ развивать ему какую-то новую теорію, то черезъ пять минутъ Канючковъ испустилъ такой аппетитный храпъ, что Талыгинъ умолкъ, плюнулъ и, пожавъ плечами, отправился наверхъ.

— Этакое противное сало!—проговорилъ онъ и, захвативъ одну изъ своихъ записныхъ книжекъ, вышелъ на тотъ балконъ, который такъ любилъ его отецъ.

Съ этого балкона, вдали, виднѣлась дорога въ Мельтюковку.

«Ждетъ ли она меня?.. Хорошая дѣвушка!.. И надъ чѣмъ теперь работаетъ ея пылкая головка?..» И онъ пристально посмотрѣлъ въ даль, туда, гдѣ дорога терялась въ кустахъ, подернутыхъ мглистымъ туманомъ.

VII.

Въ это самое время съ «хорошей дѣвушкой» совершались нехорошія вещи. Сила безнадежной любви дѣлала свое дѣло. Катя чаще и чаще начала останавливаться передъ

тѣмъ мѣстомъ пруда, гдѣ она привыкла купаться. Она дѣлала это совершенно безсознательно. Она бродила по саду, по дому, какъ бы во снѣ, стараясь только объ одномъ, чтобы не думать, не вспоминать о «немъ», чтобы милый образъ, идеалъ, къ которому она прежде такъ сильно стремилась, не нарушилъ бы теперь ея насильственнаго покоя. Она давно сожгла всѣ свои тетради, рисунки, сожгла портретъ «его», и теперь всею силой воли искала одного забвенія, безчувствія. Среди этихъ поисковъ чаще, повелительнѣе являлась у нея мысль объ уничтоженіи. Какое-то страстное, томительное желаніе влекло ее туда, въ эту таинственную бездну. Вѣра, привязанности, мечты, думы—все было разбито, похоронено, и впереди манилъ неудержимо только одинъ этотъ желанный покой смерти.

Одинъ разъ она очнулась надъ самымъ прудомъ. Еще одно мгновенье—и она выпустила бы изъ рукъ стволъ ивы, нависшій надъ водой. Она бросилась бы съ наслажденіемъ въ это темное пространство тихой воды, изъ котораго таинственно смотрѣли какіе-то странные, уродливые образы: травы, заплетавшіеся сучья, упавшія каржи. Она очнулась, встала и снова начала свою отчаянную, бездумную прогулку.

Въ другой разъ она очнулась уже въ самой водѣ на аршинъ отъ берега. Сырой холодъ привелъ ее въ себя; она вышла на берегъ, вся дрожа и не понимая, какая сила завлекла ее въ воду. Въ домѣ она сказала, что оборвалась, стараясь достать бѣлую лилію. И Марья Петровна, и Пафнутьевна стали слѣдить за ней еще сильнѣе. Всѣ онѣ давно уже съ ужасомъ поняли, что съ ихъ Катей творится что-то нехорошее.

Пафнутьевна клала ей подъ подушку чертополохъ съ ладономъ и постоянно ворожила на картахъ.

— Онъ околдовалъ!—докладывала она шопотомъ Марьѣ Петровнѣ, и обѣ съ ужасомъ крестились.

— Вѣдь какая была богомольная!—продолжала Пафнутьевна.—Подумайте-ка!.. Ни всенощной, ни обѣдни не пропуститъ... А теперь поди-ка на!.. Подумайте-ка: «Не хочу! Не надо!..»

Марья Петровна плакала.

Наконецъ, обѣ надумали позвать священника на домъ и отслужить молебенъ матушкѣ «Неутолимыя Печали». Но и это средство не помогло. Катя заперлась въ своей комнатѣ и не отвѣчала на стуки и зовы во все время молебна. Анна Гавриловна и Пафнутьевна пригласили окропить двери ея комнаты святой водой, что тотъ и исполнилъ весьма добросовѣстно, примолвивъ при этомъ шопотомъ:

— Видно, сердце окаменѣло, не ощущаетъ благостыни.

Одинъ разъ вечеромъ, когда Катя лежала у себя на постели, не двигаясь и стараясь, по обыкновенію, ни о чемъ не думать, дверь тихо скрипнула и вошла нерѣшительно Марья Петровна, постояла, подошла къ постели и вдругъ упала на колѣни и, протягивая къ Катѣ руки, заговорила быстрымъ, сердечнымъ шопотомъ:

— Катя!.. Голубка моя родная, что съ тобой?..—Слезы полились и не дали ей докончить.

Катя быстро вскочила и заговорила нетерпѣливо, съ дрожью въ голосѣ:

— Мама, я еще люблю тебя!.. Не тронь меня, не тронь! Ничего не поможетъ...

И она быстро, порывисто выбѣжала изъ комнаты въ садъ и до поздней ночи сидѣла, опустивъ голову, передъ темнымъ прудомъ. А сквозь деревья слѣдили за нею и сторожили ее, чередуясь, красавица Параша, бѣловолосая Ѳеня и бойкая Даша.

На другой день вечеромъ, когда со всѣхъ сторонъ нашли тучки, мелкій дождь шелъ, не переставая, тихо и грустно барабаня въ ветхую крышу Мелтюковскаго домика, Катя

вдругъ быстро поднялась съ постели. Она тихо подошла къ зеркалу, посмотрѣла безучастно на свое исхудалое, изжелта-блѣдное лицо, на свои большіе, потухшіе глаза, поправила волосы, затѣмъ какъ-то быстро, отрывисто выдвинула комодъ, нашла какую-то заброшенную работу и тихо пошла въ спальню, къ Марьѣ Петровнѣ.

«Надо встряхнуться, взять себя въ руки и... жить скотской жизнью!... Другого выхода нѣтъ»—подумала она.

Но стиснутые зубы ея стучали, исхудалыя руки тряслись и все прыгало и ныло внутри ея.

Марья Петровна обрадовалась и удивилась, когда она сѣла подлѣ нея, на кресло, и принялась за работу. Она молча переглянулась съ Анной Гавриловной и, взглянувъ на образа, радостно перекрестилась. Частыя слезинки побѣжали изъ ея глазъ.

Катя пристально работала, не глядя ни на кого, съ тѣмъ упорнымъ, лихорадочнымъ напряженіемъ, которое сродни безумію. Она быстро дѣлала стежки и чуть не вслухъ считала ихъ, мѣрно постукивая каблукомъ и стараясь ни о чемъ не думать. «Я мертвая, мертвая, мертвая!»—повторялось у нея мысленно гдѣ-то въ мозгу.

Анна Гавриловна молча встала съ дивана и тихо удалилась въ дѣвичью пересказать, что, дескать, барышнѣ лучше стало.

Марья Петровна нагнулась къ Катѣ.

— Послушай меня, Катюночка моя! — зашептала она.— Я только два слова тебѣ, два слова, и больше не буду... Вѣдь сердце все выболѣло!.. Послушай, родная моя, ты о «немъ» не думай, не мечтай... Вѣдь три тысячи душъ... За него тамъ всякая хватается... Видишь, полебезилъ и—пропалъ...

— Да я, мама...—начала вдругъ Катя какимъ-то глухимъ неестественнымъ голосомъ и не кончила.

Ея лѣвую руку и голову вдругъ дернуло, какъ у Марьи Петровны.

— Что это?.. Господь съ тобою! — вскричала съ испугомъ Марья Петровна и, быстро поднявшись съ дивана, перекрестила ее.

А въ это время къ домику кто-то тихо подъѣхалъ. Какой-то чужой голосъ спросилъ: «дома?»—и черезъ нѣсколько секундъ кто-то мягко, почти неслышно прошелъ залу, прошелъ въ гостиную и остановился на порогѣ диванной.

Это былъ Ратищевъ.

Катя взглянула на него и слабо вскрикнула. Работа выпала изъ ея рукъ. Краска радости залила ей лицо, и въ то же мгновенье она вскочила съ кресла и опрометью бросилась въ свою комнату.

Но радость такъ же быстро сбѣжала съ ея лица и улетѣла изъ сердца. Она поблѣднѣла и крѣпко ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть.

«Зачѣмъ онъ пріѣхалъ?!» Подумала она и при этомъ вопросѣ въ сердцѣ ея вдругъ вспыхнуло странное ожесточеніе противъ него. — «Я просто и прямо скажу ему, подумала она, сдвинувъ брови, чтобы онъ не ѣздилъ къ намъ. Чтобы онъ не тревожилъ меня его странными полупризнаніями, недоговоренными словами... Да!.. Потомъ я отдамъ ему книгу... Надо отдать».

Но она чувствовала при этомъ, что если она выпуститъ изъ рукъ спинку стула, то она упадетъ. Голова ея кружилась, сердце нестерпимо стучало и не въ груди, а гдѣ-то въ головѣ, въ горлѣ.

Она довольно долго, минутъ пять, десять стояла неподвижно, зажмуривъ глаза и стараясь ни о чемъ не думать.

«Ахъ! какой онъ блѣдный, худой! Его узнать нельзя», вдругъ вспомнилось ей, и въ сердцѣ ея снова поднялась, заговорила жалость, на глазахъ выступили слезы. Она отняла

руки отъ стула, съ дрожью въ сердцѣ, взяла Ренана и пошла въ диванную, гдѣ сидѣла Марья Петровна съ Ратищевымъ.

Онъ былъ какой-то зелено-блѣдный, глаза ввалились. На шеѣ его былъ повязанъ наглухо большой черный платокъ. Онъ долго съ ожесточеніемъ боролся противъ страсти, которая такъ нежданно и серьезно захватила его. Онъ и бѣсился, и любилъ, и ненавидѣлъ. Порой, среди ночи онъ вдругъ вскакивалъ съ глухимъ стономъ съ постели, начиналъ дико хохотать, такъ что старый Ѳедосѣичъ прибѣгалъ къ нему въ испугѣ и съ недоумѣніемъ останавливался на порогѣ спальни. Наконецъ, когда баринъ совсѣмъ пересталъ ѣсть и не вставалъ уже съ постели, весь желтый, съ дикими, воспаленными глазами, онъ догадался пригласить доктора.

Оправившись отъ болѣзни, Ратищевъ разъ поздно вечеромъ, исхудалый и желтый, какъ лимонъ, сидѣлъ на балконѣ въ своемъ китайскомъ халатѣ и въ первый разъ въ жизни почувствовалъ ея тягость. Голова его тихо кружилась и сердце ныло, но каждый разъ при мысли о «ней» оно радостно сжималось и чувство довольства, покоя разливалось по всему существу.

«Ба, будетъ бороться!—подумалъ онъ.—Gouttons la noce! Чортъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ... Притомъ вѣдь и отецъ женился на бѣдной дворяночкѣ... Видно ужъ такова судьба de notre ancienne maison».

И сердце забилось тихо и покойно-радостно, точно его выпустили на свободу послѣ долгой неволи. И онъ отправился въ Мельтюковку.

Марья Петровна, увидавъ его, какъ-то оторопѣла и сконфузилась. «Вотъ легокъ на поминѣ»,—подумала она и протянула ему руку.

— Что это васъ такъ давно не видно?—сказала она съ кислой улыбкой.

— Я былъ боленъ,—сказалъ онъ, садясь на кресло.

— Чѣмъ же вы были больны?—спросила его участливо Марья Петровна.

— Такъ!.. Нервы разстроились...

— Простудились вѣрно. Нынче все простуды ходятъ. У насъ тоже въ деревнѣ много больныхъ.—И она замолкла.

Ратищевъ машинально вертѣлъ шляпу. Лѣвую руку Марьи Петровны сильно дергало и она придерживала ее правою рукой.

— Марья Петровна,—заговорилъ вдругъ Ратищевъ какимъ-то нерѣшительнымъ голосомъ, положивъ шляпу на стоявшій рядомъ стулъ.—Я... я пріѣхалъ къ вамъ съ предложеніемъ...—Онъ откашлянулся.—Я пріѣхалъ просить руки Катерины Львовны.—И онъ повелъ плечами, какъ будто морозъ пробѣжалъ по его спинѣ.

Одна рука его крѣпко сжимала ручку кресла, другая дрожала за жилетомъ. Онъ весь скосился и какъ-то смиренно склонилъ голову на сторону.

Марья Петровна всплеснула руками и посмотрѣла пристально на него. Изъ глазъ ея побѣжали слезы.

— Да вы любите ли ее, Михаилъ Ивановичъ?— спросила она дрожащимъ голосомъ.—Вѣдь она у меня... добрая!..

Ратищевъ скорчилъ гримасу въ родѣ улыбки.

— Еслибъ я не любилъ ее,—сказалъ онъ,—то не сдѣлалъ бы предложенія.

Марья Петровна опять посмотрѣла нерѣшительно. «Что-жъ,—подумала она,—можетъ быть, Катюша съ нимъ и будетъ счастлива. Вѣдь онъ околдовалъ ее».

— Она не богатая дѣвушка, Михаилъ Ивановичъ,—сказала она.—Конечно, я дамъ за ней... тысячъ тридцать, это еще бабка ей накопила, да еще двадцать семь тысячъ, что осталось отъ продажи съ имѣній Льва Никитича, да послѣ смерти моей Мельтюковка ей.—Она не договорила, всхлипнула и закрыла глаза платкомъ.

Ратищевъ молча сидѣлъ все въ той же позѣ, не поднимая глазъ.

— Вѣдь у васъ родня богатая, да знатная,—снова заговорила Марья Петровна, основательно высморкавшись.— Какъ-то примутъ ее? Она расла у меня въ любви.

— Я для себя женюсь на Катеринѣ Львовнѣ, а не для родни,—возразилъ Ратищевъ внушительно и желчно усмѣхнулся.

Прошло нѣсколько мгновеній молча. Ратищевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

«Старая дура вздумала ломаться,—подумалъ онъ.—Мужицкіе нравы!.. Она, кажется, хочетъ что-то выторговать».

— Я право не знаю, что сказать,—начала опять робко Марья Петровна.—Благодарю за честь... Я рада... Не знаю только... Катя...—и она робко оглянулась на дверь.

Въ это время какъ-то порывисто-быстро вошла Катя. Въ ея дрожавшей рукѣ была книга.

— Катя! — сказала Марья Петровна, смотря на нее пристально и грустно. — Вотъ Михаилъ Ивановичъ проситъ твоей руки... Я благодарила за честь... Что ты скажешь?..

Брови Кати слегка дрогнули. Краска вдругъ разлилась по ея лицу и опять сбѣжала. Она быстро подошла къ Ратищеву, крѣпко схватила его за руку и потянула за собой въ гостиную.

— Идемте сюда!—проговорила она чуть слышно.

Войдя въ гостинную, она рѣзко остановилась противъ него и, смотря прямо въ его тусклые ввалившіеся глаза, тихо спросила.

— Вы любите меня?

«И она тоже спрашиваетъ!»—подумалъ онъ.

— Катерина Львовна!—заговорилъ онъ, слегка дрожащимъ, искреннимъ голосомъ,—вы видите, какой я теперь...

Это оттого, что я долго боролся съ любовью къ вамъ... И не осилилъ... Любовь побѣдила.

Она пристально посмотрѣла на его исхудалое, блѣдное лицо и снова повелительное чувство нестерпимой жалости, любви поднялось, закипѣло въ ея сердцѣ. Она вдругъ крѣпко обхватила его, припала къ его груди и зарыдала.

А его испугалъ этотъ сильный, страстный порывъ, такъ же какъ въ дѣтствѣ пугало его все стремительное, живое, шумное. При томъ боль въ боку, гдѣ у него была фонтанель, рѣзанула его, какъ ножомъ. Онъ поблѣднѣлъ, но тотчасъ же овладѣлъ собой; сердце его забилось трепетно и сладко. Онъ взялъ руку Кати, отнялъ ее отъ груди и съ глубокимъ чувствомъ нѣсколько разъ поцѣловалъ эту маленькую, горячую ручку.

VIII.

Мельтюковка расцвѣла и запѣла. Въ дѣвичьей составился постоянный хоръ, подъ управленіемъ непремѣннаго регента Пафнутьевны. Тѣ дѣвушки выкрикивали, визгливыми голосами, аллегро:

Брякнули, брякнули!
Брякнули кони во широки ворота.
Брякнули кони во рѣшетчатыя.
Дрогнуло, дрогнуло!
Дрогнуло сердце Катеринушки,
Дрогнуло сердце нашей Львовны души.

Или затягивали онѣ заунывное анданте:

Какъ у ласточки, у касаточки
На лету крылья подломилися;
Какъ у душечки красной дѣвицы
Не въ умѣ было во замужъ идти...

Вся деревня ликовала. Бабы—и старыя, и молодыя—наперерывъ несли «доброй барышнѣ» и яицъ, и холста, и масла, и куриц. Все удѣлялось отъ скуднаго, отъ семьи.

— Да на что это мнѣ?—отказывалась Катя.

— А ты не обидь! Прими, родная наша! Вѣдь мы те на счастье—отъ сердца... Вотъ какъ!

И Катя махала рукой, а Пафнутьевна все припрятывала въ чуланъ.

— И-и, матушка!—ворчала она.—Береги яичко да ниточку, будетъ курочка да рубашечка!

Женихъ ѣздилъ каждый день и каждый день привозилъ раззолоченную бомбоньерку конфектъ. Катя раздавала ее въ дѣвичьей, такъ что всѣ дѣвушки узнали «скусъ» питерскихъ конфектъ.

Жизнь ея теперь дѣлилась на двѣ половины: на время съ нимъ и безъ него. Съ нимъ былъ какой-то туманъ. Сердце трепетало и таяло... Безъ него была тишина, миръ, обдумываніе всего, что было пережито, перечувствовано съ нимъ. Каждое слово, каждая мелочь вспоминалась и разбиралась.

«А это я напрасно сказала, — припоминалась ей. — Ему было очевидно непріятно... А почему же онъ, когда разсердится, начинаетъ тяжело дышать?.. Впрочемъ, онъ весь ломанный, дѣланный... Много, много надо времени и труда, чтобы переломить, пересилить натуру, съ дѣтства изуродованную. И я это сдѣлаю. И онъ будетъ добръ, ласковъ и свѣтелъ! Онъ уже и теперь свѣтлѣетъ». И она вспоминала минуты, когда дѣйствительно внутри Ратищева свѣтлѣло, когда довольство своимъ чувствомъ, довольство вѣрой въ другое *я*, близкое, родное, уносило всю ложь, всю связанность дѣланной, изуродованной натуры.

Въ особенности вспоминала она первые дни, когда обаяніе новизны чувства охватило ихъ обоихъ полною волной,

подняло и закружило, когда по цѣлымъ часамъ они смотрѣли другъ другу въ глаза, не замѣчая, какъ летятъ эти часы, когда все было такъ ново и такъ обаятельно, какъ будто для обоихъ началась новая жизнь.

— Послушайте, Michel,—говорила она,—знаете, мнѣ кажется теперь все другое, и этотъ садъ совсѣмъ другой. И этотъ прудъ, и мама, и всѣ, всѣ—другіе. Я какъ будто теперь только проснулась или начала жить, и все это потому, что вы...

— Ты!—подсказалъ онъ ей полушепотомъ.

— Что *ты*...—продолжала она храбро, но тутъ же остановилась и отвернулась. На глазахъ у нея выступили слезы.— О, Michel!—вскричала она,—мнѣ кажется, нѣтъ ничего полнѣе, выше жизни вдвоемъ, другъ для друга, душа въ душу. Отчего это такъ мало счастливыхъ людей на свѣтѣ?.. И неужели же мы будемъ несчастны?.. Michel! отвѣчай мнѣ прямо, неужели мы будемъ несчастны, неужели ты когда-нибудь разлюбишь, бросишь меня?..

Она схватила его за руку; она смотрѣла прямо на него своими блестящими, страстными глазами.

Его глаза прищурились, запрыгали, губы искривились въ улыбку. Онъ протянулъ торжественно руку къ небу и началъ декламировать съ комической важностью:

— Je jure de mon salut, du ciel et de la terre!..

— Нѣтъ, Michel, перестань, я серьезно прошу тебя!

— Я серьезно люблю тебя; но какъ же я могу ручаться за свое чувство?.. Развѣ я знаю, какъ я буду чувствовать черезъ двадцать лѣтъ, черезъ два года, черезъ два мѣсяца, que sais-je?!

— Нѣтъ, Michel, — вскричала она, проводя рукой по лбу,—это чувствуется здѣсь, внутри!—и она постучала пальцемъ по своей, тяжело вздымавшейся, груди.—Я это чувствую, знаю. Я знаю, что никогда, никогда не разлюблю тебя!..

— А ты никого никогда не любила?

— Никого никогда!...

— Такъ какъ же ты можешь ручаться, что не полюбишь опять, если кто-нибудь тебѣ понравится?..

— Ахъ, Michel—вскричала она и поднялась со скамейки,—какъ ты можешь такъ думать, такъ говорить!

— Да потому, что я опытнѣе и... старше тебя (онъ хотѣлъ сказать—умнѣе).

Она опять сѣла подлѣ него и взяла его руку.

— Здѣсь не опытъ нуженъ,—сказала она,—а вѣра... Понимаешь-ли—она стиснула ему руку,—вѣра въ силу сердца, въ силу чувства.

Онъ тихо высвободилъ руку и пожалъ плечами.

Пролетѣло нѣсколько дней и первый пылъ сердца прошелъ. И для нея теперь эти дни казались такъ далеко, давно прошли. А для него выступили всѣ мелочи, съ которыми онъ прежде мирился, которыхъ не замѣчалъ и которыя теперь кололи ему глаза чуть не на каждомъ шагу. Уютная жизнь, которая такъ обаятельно дѣйствовала на него незнакомой ему стороной семейной жизни, теперь снова стала чужой, отталкивающей. Мельтюковскій домикъ напоминалъ ему «хижину убогу». Простые, некрашенные полы, устланные половиками, и эти плетеные, хромые стулья, или эта мебель, обитая полуштофомъ, матеріей съ огромными разводами, и этотъ ветхій портретъ—смотрѣли черезъчуръ просто, элементарно. Притомъ ему приходилось ѣздить въ этотъ домикъ изъ-за тридцати верстъ.

— А вы останьтесь ночевать у насъ,—предложила ему разъ Марья Петровна, когда онъ долго засидѣлся вечеромъ. — Мы вамъ въ гостиной на свѣжемъ сѣнѣ постелемъ.

Онъ нахмурился и рѣзко отказался. Ему показалось противнымъ и смѣшнымъ это спанье въ Мельтюковкѣ, на

свѣжемъ сѣнѣ, подъ одной кровлей съ своей Дульцинеей. «Par trop rustique!»—прошепталъ онъ.

Одинъ разъ передъ праздникомъ онъ засталъ бабу, которая, подоткнувъ юбку выше колѣнъ, въ рубашкѣ, безъ платка, усердно мыла маленькое крыльцо Мельтюковскаго домика. Со всего крыльца вода бѣжала цѣлыми потоками. Увидавъ его, баба растерялась.

— Какъ же это?!—вскричала она, поправляя платокъ на головѣ, съ огромными, выпущенными концами, которые, какъ рога, торчали въ разныя стороны.—А мы до те торопились обрядить-то, да не поспѣли... Погоди, батюшко родимый, вотъ я те постелю рогожку, а ты и пройди по рогожкѣ-то.

И онъ прошелъ по рогожкѣ, кисло встрѣтилъ Катю, цѣлое утро преслѣдовалъ ее замѣчаніями и долго вспоминалъ потомъ le deluge de Meltjukowka.

— Что это ты какъ нынче одѣта?—спрашивалъ онъ Катю.

— А что?—спрашивала Катя, оглядывая свое простенькое кисейное платье.

— Да такъ, comme une bourgeoise de Faubourg.

— Я думала, что ты меня не для нарядовъ любишь.

Онъ началъ пыхтѣть.

— Et moi, je supposais,—началъ онъ тѣмъ же мягкимъ шопотомъ, которымъ въ оно время Иванъ Тимоѳеевичъ дѣлалъ замѣчанія Александрѣ Павловнѣ,—et moi, je supposais, que. tu desires à me plaire... И потомъ всѣ твои костюмы—какое-то удивительное безвкусіе, c'est le goût du temps du bon roi d'Ivetot...

И онъ подумалъ: «ей просто надо выписать костюмы пока хоть изъ Москвы отъ m-lle Fanny или Bibra».

И онъ послалъ въ Москву къ теткѣ просьбу о костюмахъ, послалъ также и старинное collier его матери, ко-

торое еще подарилъ Иванъ Тимоѳеевичъ, съ просьбой передѣлать его у Fulda по-модному. При этомъ онъ подумалъ, что collier стоитъ ровно столько, сколько онъ посадилъ на свою Берту, ровно десять тысячъ рублей.

Когда черезъ двѣ недѣли онъ привезъ ей это collier въ бархатномъ футлярѣ, торжественно раскрылъ передъ ней и поднесъ съ поклономъ, Катя нахмурилась.

— Для чего это?!—изумилась она.—Вѣдь я знаю, что ты богатъ, а я бѣдна... Но что-жъ общаго между этими брилліантами и моей любовью къ тебѣ, Michel?!. Вѣдь это цѣлое состояніе для бѣдной семьи... Подари ихъ тѣмъ, которымъ нечѣмъ жить, ихъ такъ много! А я... у меня богатство выше, дороже всѣхъ сокровищъ всего міра... Сказать тебѣ, гдѣ оно,... сказать?—И она нагнулась къ его уху и страстно прошептала:—Въ твоемъ сердцѣ... Да, да!

— Я вижу, что ты не понимаешь и не цѣнишь изящнаго,—сказалъ онъ съ кислой миной, заклопнувъ крышку экрана.—Но все-таки... это ты должна принять отъ меня и для меня.

И онъ тутъ жъ объявилъ, что завтра не будетъ у нея цѣлый день, что ему надо ѣхать въ городъ, дѣлать закупки и визиты. Въ сущности, эти закупки, а тѣмъ болѣе визиты ему вовсе не нужно было дѣлать, но онъ хотѣлъ немножко освѣжиться, подышать чистымъ городскимъ воздухомъ; «а здѣсь, dans l'atmosphére de Meltjukowka, tu te sens absolument depaysé и, пожалуй, совсѣмъ одичаешь».

Но собственно его тянуло пощеголять своимъ новымъ положеніемъ, пофигурировать въ качествѣ жениха.

Прежде всего онъ заѣхалъ къ княгинѣ Завольской-Бѣлокопытцевой, которая приходилась ему троюродной теткой и была его крестною матерью. Княгиня и лѣто, и зиму жила въ городѣ, въ большомъ домѣ, убранномъ старинной позолоченною мебелью. Она окружила себя маленькимъ дво-

ромъ изъ дальнихъ родственниковъ и приживалокъ. Толпа слугъ въ ливреяхъ постоянно торчала въ ея передней. Ратищевъ, зная ея привычки, постарался попасть къ ея большому выходу, который совершался въ два часа. Впереди обыкновенно шелъ мажоръ-домъ, толстый, сѣдой лысый Якимычъ, въ красной ливреѣ, въ чулкахъ и башмакахъ; онъ держалъ въ рукахъ нѣчто въ родѣ булавы швейцара. За нимъ слѣдовали приживалки и дальніе родственники. Кто несъ подушечку, кто скамеечку, кто щетку, кто моську, кто лото, кто книгу. Послѣ всѣхъ шла сама княгиня въ черномъ платьѣ, застегнутомъ до подбородка, въ огромномъ чепцѣ, шла, сгорбившись, вытягивая длинную шею и посматривая изъ-подъ нависшихъ бровей своими маленькими, блестящими, холодными глазами. Ея сгорбленный, большой носъ нависъ надъ ввалившимися губами, которыми она постоянно жевала, причемъ дрожалъ и прыгалъ ея длинный, выдавшійся подбородокъ и двигались впавшія щеки. Цвѣтъ лица у нея былъ темной охры. Она выходила въ большую, парадную гостиную, всю увѣшанную фамильными портретами, и усаживалась на диванъ, причемъ ей подкладывали подушечки, подставляли скамеечку, сажали моську и кота, а одинъ изъ дальнихъ родственниковъ, служившій въ качествѣ домашняго чтеца, развертывалъ французскій романъ и начиналъ читать съ «толкомъ и разстановкой».

За такимъ занятіемъ засталъ ее Ратищевъ.

— Bonjour, maman! (весь разговоръ шелъ по-французски).

— Bonjour, mon fils!—и она подставила свою сухую, ввалившуюся щеку подъ его поцѣлуй, а затѣмъ вытянула костлявую, словно у скелета, руку и дала ему поцѣловать.—Садись!

Чтецъ, который сидѣлъ на креслѣ подлѣ княгини, почтительно всталъ и уступилъ свое мѣсто.

— Какъ ваше здоровье?

— Плохо. Стара стала. Плохо можется.

— А я собираюсь новую жизнь начать... Je commence a me rajeunir, — сказалъ онъ съ нервной дрожью и косясь по сторонамъ.

— Что говоришь? Не слышу! Глуха стала.

— Собираюсь жениться.

— На комъ это?—и она посмотрѣла на него, тряхнувъ головой (она уже слышала—на комъ).

— На одной помѣщицѣ. Дѣвушка очень миленькая, très gentille et très distinguée.

— А какъ по фамиліи?

— Карбагаева.

— Ка-акъ?—и она повернула къ нему ухо, приподнявъ чепецъ.

— M-lle Karbagaeff...

— Корбаева, Каргаева, quel diable de noms ils sont en Russie!.. Должно-быть, изъ татаръ... Не слыхала, не слыхала! Корга, Karbaga... Dieu, Dieu, c'ést á s'estropier la langue!

Ратищевъ вытянулъ ноги и снова убралъ ихъ.

— Elle est très distinguée, très distinguée... Вы меня простите, милая maman,—началъ онъ тихо,—что я не спросилъ у васъ совѣта и... позволенія...

Она молча оглядывала коллекцію фамильныхъ портретовъ и шептала: «Karba, Karbaga», и вдругъ вскричала:

— Kabarga!.. N'est ce pas, qu'il y a un animal, qui se nomme Kabarga... Каббарга... As tu remarquè ce portrait,—и она показала на портретъ красиваго мужчины въ кафтанѣ Петровскихъ временъ. — C'est le prince Toulouguin, твой троюродный дѣдъ .. Какъ онъ тебѣ нравится? А эта дама,— и она показала на портретъ красивой дамы съ мушкой, въ платьѣ съ фижками. Она нюхала табакъ. — C'est la princesse Туракина. Elle était un peu parente (comme on dit) à la maison Hohen-Zerbein. Et ce portrait du comte Roumja-

noff. C'est votre aieul... Penses y un peu... Это все кровные, добрые предки. C'est une race distinguée, trés distingée!—Она посмотрѣла на него нѣсколько секундъ и затѣмъ отвернулась и быстро начала перебирать въ огромномъ ридикюлѣ, на которомъ бисеромъ были вышиты два голубка, и зашептала!—Карба, Карбага... Каргоба.—Наконецъ вытащила пузастую табакерку, осыпанную брилліантами, съ портретомъ великаго князя.

— Tous ces gens, mon ami, — начала она, — уважали своихъ предковъ и не портили крови благородной, une noble race... Они презирали mésaillance... une mésaillance!!. —И она сдѣлала такую гримасу, что даже Ратищеву сдѣлалось противно.

«Чортъ бы тебя взялъ,—подумалъ онъ,—съ твоей noble race!..» (Съ самимъ собой онъ не стѣснялся въ выраженіяхъ). Но тутъ же ужаснулся своего преступленія и, опустивъ глаза, началъ усиленно гладить свою шляпу

— Il y a des moments dans la vie, ma tante,—началъ онъ, какъ виноватый, — когда человѣкъ дѣйствуетъ не по разсудку, а по влеченію сердца... И кто знаетъ, можетъ быть, Богъ... («Ну,—подумалъ онъ,—à la guerre comme à la guerre, пущу Бога въ ходъ, авось присмирѣетъ») — можетъ быть, Богъ указываетъ мнѣ мою судьбу, мое счастье.

Княгиня ничего не сказала. Она повела кругомъ глазами, какъ бы ища чего-то; при этомъ всѣ приживалки вскочили и вытянулись.

— Агаѳьюшка, — начала она, обращаясь къ одной изъ нихъ,—у меня въ кіотѣ образъ Владимірской Владычицы... Знаешь? большой, съ сапфиромъ.

— Знаю-съ.

— Принеси!..—и она указала пальцемъ на дверь.

Агаѳьюшка бросилась и черезъ десять минутъ торжественно внесла образъ.

— Voilà, — начала княгиня. — Передай въ твой родъ. Этимъ образомъ меня благословилъ, умирая, князь Петръ Григорьевичъ. Я назначила его въ твой родъ... Вотъ возьми...

Она взяла образъ и хотѣла благословить имъ, но Ратищевъ стоялъ, растерявшись, оттопыривъ впередъ шляпу, такъ что она просто передала ему. И потомъ вдругъ заговорила быстро и громко:

— И пожалуйста больше ничего не надо... И не знай меня... И не вози твою m-lle Карга, Карбага...

— Это будетъ, maman,—перебилъ Ратищевъ съ желчью, —m-me Ратищева, ваша дочь, моя жена...

— Ну, все равно, недавно испечена, недавно...

И она замолкла и сидѣла, шамкая беззубымъ ртомъ.

Ратищевъ нѣсколько минутъ тоже молча держалъ образъ. По лицу его пробѣгали красныя пятна, губы его дрожали.

— Прощайте, maman!—сказалъ онъ. — Я весьма сожалѣю, что мой выборъ вамъ не нравится.

Она молча протянула ему костлявую руку, къ которой онъ приложился, а затѣмъ раскланялся и быстро вышелъ.

Вслѣдъ за нимъ, когда онъ былъ уже въ залѣ, раздался громкій шопотъ: «Каббарга!.. Dieu, quelle horreur!..»

Ратищевъ быстро остановился, весь поблѣднѣлъ и еще быстрѣе пошелъ въ переднюю.

Цѣлую дорогу онъ дулся и пріѣхалъ мрачный къ Натальѣ Михайловнѣ Охлебышевой. Наталья Михайловна не была его родственницей, но была дама для всего города почтенная, вдова генералъ-лейтенанта, умершаго въ П... губерніи, въ своемъ имѣніи. Всѣ, начиная съ губернатора, платили дань невольнаго уваженія Натальѣ Михайловнѣ. Въ городѣ она прожила почти безвыѣздно цѣлыхъ тридцать лѣтъ, выдала замужъ дочерей, отпустила въ полкъ двухъ сыновей и жила, окруженная внучками и племянницами Домъ ея былъ какъ полная чаша, старинный, низенькій, съ

высокою крышей и съ желѣзной рѣшеткой. Къ ней всѣ входили безъ доклада.

— А!—вскричала она, увидѣвъ Ратищева.—Добро пожаловать!—И она встала и пошла къ нему на встрѣчу, причемъ ея полная, шарообразная фигурка вся колыхалась и улыбалось круглое, подушкообразное лицо съ тройнымъ подбородкомъ и добрыми, ласковыми глазками.—Женишься, да?—Ну, поздравляю, поздравляю!... Давай полѣлую! (Она всѣмъ говорила ты).—Ратищевъ нагнулся и поцѣловалъ ея полныя, мягкія руки. — Дай тебѣ Господь счастья и довольства, — говорила она, крестя его большимъ крестомъ, —любовь и совѣтъ... Я тебя маленькаго нянчила у Ивана Тимоѳеевича покойника, царство ему небесное, когда матушки твоей не было уже въ живыхъ, царство ей небесное!... Ну, садись, садись! Пусти, Машурка, его сѣсть! Возьми прочь твоихъ куколъ!... Ну, разскажи, крѣпко полюбилась тебѣ дѣвочка, хорошенькая, что ли? Слышала я объ ней,—затворницей жила у матушки своей. Я и мать знаю, — разъ видѣла ее здѣсь, въ городѣ, въ пансіонѣ у madame Дитрихъ... Кроткая и послушливая дѣвочка, говорятъ, и серьезница, все книжки читаетъ,.. А ты доброе дѣло задумалъ, я тебѣ скажу! Что за краса кобелемъ бѣгать или на старости лѣтъ шелуху разводить, вотъ какъ Петръ Алексѣевичъ!... Она будетъ тебя любить... Что богатство? Богатство — вздоръ! Ты своимъ богатствомъ съ бѣдной подѣлись. Она будетъ тебѣ благодарна за богатство твое и за любовь твою...

— Я полагаю, — вставилъ Ратищевъ, вспомнивъ гонку крестной матушки,—что не въ богатствѣ дѣло, а въ воспитаніи.

— Что же, она, кажется, воспитана хорошо... А я вотъ что тебѣ скажу, въ чемъ по-моему настоящее-то дѣло; въ добромъ сердцѣ, сударь мой! Найдешь ты простое, доброе сердце, которое за тебя готово будетъ и въ огонь, и

въ воду, и дорожи имъ, не теряй и благодари Господа... Вѣрь или не вѣрь мнѣ, а нѣтъ ничего выше и краше семейнаго счастья. Полно оно, какъ чаша Господня. Дѣтки вокругъ тебя, чистыя души, ангельчики Господни. Ты руководишь домомъ. Жена тебѣ помогаетъ. Ты ее любишь. Она смотритъ тебѣ въ глаза и думаетъ, не надумается, чѣмъ бы угодить тебѣ... Люби, люби ее, а безъ любви нѣтъ блага, нѣтъ счастья ни здѣсь, ни въ той жизни!..

И у Натальи Михайловны слезы выступили на глазахъ, а Ратищевъ закосился и забѣгалъ глазами. «Мѣщанское счастье!»—прошепталъ онъ.

Отъ Охлебышевой онъ поѣхалъ въ клубъ, тамъ обѣдалъ, дремалъ послѣ обѣда и остался проматывать вечеръ.

«Мѣщанское счастье!.. — думалъ онъ, дремля на широкомъ, мягкомъ диванѣ.—Да чего же я ищу въ женитьбѣ?!»

И онъ подивился, что ни разу не задалъ себѣ этого вопроса.

Вечеромъ его всѣ поздравляли и онъ опять вошелъ въ роль жениха.

— Dis moi, mon cher,—сказалъ ему Канючковъ, смотря на него сонно и кисло улыбаясь,—tu veux te dénaturaliser?

— Позвольте васъ поздравить съ «начатіемъ дѣла», — сказалъ ему извѣстный ловеласъ, франтъ Гримневъ, адъютантъ губернатора, и скорчилъ при этомъ такую невинную, подобострастную гримасу, что Ратищева всего перекосило.

Онъ засидѣлся долго въ клубѣ и на другой день всталъ поздно. На дворѣ шелъ мелкій дождь. Въ Мельтюковку ѣхать не хотѣлось.

«Надо попробовать ладить съ своими чувствами. Ma chère Cathrine подождетъ».

И онъ остался въ городѣ еще на одинъ день.

IX.

«Сегодня онъ пріѣдетъ!» — была первая мысль, съ которой Катя проснулась. Прежде она просыпалась съ мыслью о Богѣ. Теперь этотъ міръ, крѣпкій, покойный, добрый и ласковый, закрылся. Его нѣтъ. Тѣмъ свободнѣе сердце. Оно полнѣе можетъ отдаться любви къ нему, къ Мишѣ!.. Ей такъ нравилось это имя. Но она должна была перемѣнить его на Michel, по желанію Ратищева.

Нѣсколько дней уже она начала вышивать ему маленькій paravant для свѣчей, картинку съ гравюры. Она нарисовала на бумажной канвѣ эту гравюру и затѣмъ проходила по этому рисунку шелками, темными и коричневыми крестиками. Картина изображала ожиданіе у колодца. Лицо молодой дѣвушки было даже немного похоже на ея лицо.

«Это будетъ мое ожиданіе, мое великое ожиданіе, то страшное ожиданіе...»

И теперь, когда она сопоставляла это тяжелое, прожитое время съ теперешнимъ, — о, какая радость вспыхивала въ ея сердцѣ! Ей хотѣлось молиться, благодарить, но кого?..

«Его, его!!. За всѣ радости, за всю сладость жизни...»

И она торопилась закончить картинку,—оставалось только нѣсколько стежковъ.

«Надо было бы отдѣлать. Ну, да отдѣлаетъ самъ,—онъ богаче меня. Она кончила, полюбовалась, затѣмъ завернула ее въ два чистые листа бумаги. Она воображала, съ какимъ торжествомъ, съ какою сіяющею радостью она поднесетъ ему.

«Нѣтъ,— подумала она, — ненужно этой радости, надо дѣлать все просто, глубоко просто, безъ восторговъ, степенно и серьезно, и тогда жизнь будетъ правильна. Но

что же это за жизнь — скучная, сухая?... Нѣтъ, надо немножко восторженности, все въ мѣру, въ гармоніи, и тогда будетъ хорошо, очень хорошо... Но что же онъ не ѣдетъ? Ужь 12 часовъ. Онъ всегда пріѣзжаетъ къ кофе.

И она опять развернула работу, опять полюбовалась на нее, прищурясь и поворачивая головкой то на одну, то на другую сторону. Затѣмъ уже окончательно спрятала ее отдѣльно въ чистый, пустой ящикъ и, довольная, пошла въ садъ, пошла тихонько по аллейкамъ, улыбаясь внутри себя тихо и радостно.

День былъ ясный. Всѣ воробьи чирикали съ истиннымъ усердіемъ. Всѣ коноплянки перекликались съ такою неистовою радостью и солнце сіяло такъ тепло и ясно, что вся зелень отъ нестерпимаго блеска казалась темною, а по аллейкамъ все круглились маленькіе кружочки.

«Всю жизнь съ нимъ, — думала она, — каждый день и цѣлый день... Неужели это можетъ надоѣсть?... У насъ будутъ дѣти, я буду ихъ воспитывать».

И мечты, планы, одни за другими, сложнѣе и фантастичнѣе, полились, начали расти, развертываться. Она ходила все по одной и той же аллейкѣ и та же кривая, старая липа каждый разъ задерживала ея вниманіе и мѣшала мечтамъ, но онѣ утягивали сильнѣе и сильнѣе. Одинъ воробей самымъ нахальнымъ образомъ затрещалъ и пролетѣлъ мимо глазъ.

«Я—мечтательница,—встрепенулась она.—И неужели всю жизнь можно наполнить мечтами?»

— Барышня!—кричитъ красавица Параша,—пожалуйте кофе кушать.

«Кофе?... Что же онъ?! Вѣрно что-нибудь задержало...» И на сердце вдругъ упала какая-то тѣнь.

А на балконѣ уже Марья Петровна ждетъ давно пить кофе и Анна Гавриловна говоритъ, говоритъ безъ умолку.

— Теперь, матушка, если,—говоритъ,—взять кусокъ льду и посмотрѣть скрозь него на луну, то увидишь преисподнюю...

— Что же, Катя,—говоритъ Марья Петровна,—онъ вѣрно не будетъ къ кофе?

Она не вдругъ отвѣтила. Посмотрѣла въ ту сторону, съ которой онъ долженъ былъ пріѣхать, и подтвердила:

— Да, вѣрно, не будетъ.

«Я буду разсудительна и осторожна», — подумала она. А на сердцѣ тѣнь ложится все гуще и шире.

Она сѣла. Стайка воробьевъ насѣла на перильца.

Она бросала имъ крошки, — они садились на полъ, на столъ. «Смѣлый» бралъ у ней изъ рукъ.

Пафнутьевна, когда видѣла этотъ кормъ, всегда протестовала и разгоняла воробьевъ.

— Воробей, матушка,—говорила она,—птица нечистая. Въ домъ залетитъ—покойникъ будетъ. А вотъ осенью ихъ накрывать рѣшетомъ хорошо. Въ паштетъ идутъ. Они тогда страсть жирны бываютъ!

И она махнула рукой. Воробьи шарахнулись, но тотчасъ же опять вернулись. Два сѣли на краешекъ стола и, быстро повертывая головками и вверхъ, и внизъ, чирикали. Катя бросила имъ крошки. «Если они схватятъ, онъ тотчасъ же пріѣдетъ, сію минуту».

Они быстро подскочили, схватили крошки и такъ же быстро удалились.

«Какая я глупая! Развѣ они могли не схватить?.. И я гадаю, точно Пафнутьевна».

— Катя, ты что же не пьешь кофе?

Она опять оглянулась кругомъ.

— Я не хочу, мама. Я подожду, можетъ быть, онъ пріѣдетъ.

— Что-жъ, — сказала Марья Петровна,—ты посмотри, Пафнутьевна, чтобъ былъ горячій кофе.

— Я посмотрю, матушка!—перебила Анна Гавриловна.— На плиту поставить, духомъ вскипитъ.

Убрали кофе. Катя было опять сошла въ садъ, но тотчасъ вернулась и побѣжала опять взглянуть на свою работу. «Понравится ему, или нѣтъ? Развѣ показать мамѣ? Нѣтъ, до него никто не можетъ взглянуть, ни однимъ глазкомъ, никто!» Она спрятала работу и снова пошла въ садъ, и снова чирикаютъ воробьи и, словно сквозь сонъ, снова сіяетъ солнце. Только на сердцѣ теперь все шире и шире ложится тѣнь, словно всѣ кружочки, что рисуются на аллейкахъ, отпечатываются тамъ, внутри сердца, и каждый кружочекъ—это глазъ, которымъ онъ смотритъ въ ея сердце, смотритъ оттуда, издалека... «А вотъ... можетъ быть, онъ уже ѣдетъ». Она стала прислушиваться.

Полдневное солнце пекло. Невозмутимая тишь. Даже воробьи замолкли. Каждая травка точно уснула и «мама Маша вѣрно спитъ». Вдругъ среди этой тиши раздается стукъ какого-то экипажа, кто-то ѣдетъ вскачь. «Это онъ торопится!..» Она поблѣднѣла. Ближе, ближе... Она вся встрепенулась и какъ сумасшедшая кинулась бѣжать. Кровь ей бросилась въ лицо; на глаза выступили слезы. Она вбѣжала въ домъ, въ залу, подбѣжала къ окнамъ. Мимо двора катили двое роспусковъ. Мужики кричали и нахлестывали лошадей. Она стояла долго, приложа горячій лобъ къ холодному стеклу. Сердце стучало въ груди. «Это не онъ, это не онъ, это не онъ», повторяло оно. Тѣнь совсѣмъ заволокла все внутри. Больно, до слезъ больно!..

«Я буду благоразумна и разсудительна!—промелькнуло у нея въ головѣ. И тутъ же она подумала:—Никогда не должно говорить «буду».

Прибѣжали Варя и Лиза.

— Тётя Катя... Посмотри, это—она говоритъ,—калина, а это—колокольчикъ... Вѣдь это колокольчикъ, да?

— Ахъ, отстаньте!.. Что это вы цѣлый день не учитесь?.. Что-жъ, урокъ изъ грамматики знаете?

— Да ведь ты, тётя, сама не велѣла учить, сказала, что теперь намъ праздникъ, вакація пришла.

— Ну, подите прочь!.. Ну, да, теперь праздникъ.

«Только не для меня». Она подошла къ роялю. Ей инстинктивно не хотѣлось выйти изъ залы. Все какъ будто было ближе къ нему.

Стоя, облокотясь на табуретку, она начала играть. Это была та самая соната, которая когда-то ему понравилась. «Боже мой, какъ это было давно!.. Надо хорошенько разучить ее и сыграть ему и еще *B dur*...» И она порывисто сѣла и начала разучивать. Боль немного улеглась. Тѣни разсѣялись.

Она играла часъ, два. Она давно не играла,—онъ не любилъ музыки.

«Что же онъ не ѣдетъ?»—сказала она, наконецъ. Тѣнь опять налегла.

Она встала и подошла къ окну.

«Какое противное окно! Отчего у насъ нѣтъ окна на дорогу? Я непремѣнно выстрою окно или балконъ, на дорогу, по которой онъ будетъ ѣздить...» И ей предѣставлялось, что весь міръ теперь раздѣленъ на это окно и на все остальное. Это окно—это все, а тамъ—пустыня. Это окно —цѣль жизни.

Въ дѣвичьей раздавались голоса. Дѣвушки пѣли:

Плыла лебедь, плыла бѣлая...

«Господи,—сказала она, откидываясь,—что это за пытка... ждать! А многіе ждутъ безнадежно... Нѣтъ это муки адскія... А сколько есть бѣдныхъ мужичковъ, которые ждутъ цѣлые часы, цѣлое утро у какого-нибудь богача на крыльцѣ или въ сѣняхъ! Что-жъ, можетъ быть и я мужичокъ, а

онъ—богачъ. Только я не стою у него въ сѣняхъ... Фу, Господи, какія глупости лѣзутъ въ голову!.. Развѣ опять ариѳметикой заняться? Разъ—два. Разъ—два. Нѣтъ, это ужасно!»—и она вытянула и стиснула руки, такъ что всѣ пальцы хрустнули.

Миша, Michel, пріѣзжай, я прошу тебя, зову тебя!.. Michel! Michel! Michel!.. Говорятъ, что если сильно пожелать чего, то непремѣнно исполнится... Я сильно, сильно буду желать».

И она напрягла всю свою волю и въ какомъ-то восторженномъ, напряженномъ состояніи смотрѣла въ окно минутъ двадцать. Но затѣмъ силы оставили ее, утомленье обхватило. Она въ полномъ изнеможеніи опустилась на стулъ, опустила руки на колѣни. Полная тѣнь покрыла сердце. Какая-то горечь во рту, какой-то комъ подступаетъ къ сердцу.

— Катя, что же ты обѣдать? Иди, голубка моя.

— Ххы,—хыкала Пафнутьевна.—Кофею не пила, ничего не ѣла. Онъ просто тамъ белендрясничаетъ въ городѣ-то. Старыя шуры-муры справляетъ съ какой ни-на-есть амурашкой, а ты ничего не ѣшь, его ждешь.

Катя вдругъ поднялась. Глаза ея засверкали.

— Ты лжешь, няня!.. Слышишъ? ты жестоко лжешь!—закричала она, топнула ножкой и разрыдалась.

Марья Петровна подхватила ее и замахала на Пафнутьевну. Она увела ее въ спальню и уложила, крестя:

— Господь съ тобой, голубка моя, ангелъ Божій! Чего тутъ убиваться? Что-нибудь задержало, а ты уже совсѣмъ разстроила себя... Усни, Господь съ тобой!..

Катя долга плакала, уткнувъ голову въ подушку, пока сонъ не унялъ это волненіе.

Во снѣ ей снилось, что она сидитъ съ нимъ въ саду, какъ каждый день, и лицо его такое доброе, ласковое.

«Michel,—говоритъ она,—мы никогда не разстанемся, никогда. Знаешь, вѣришь-ли, я живу только тобой? Ты—мое солнце, мой воздухъ... Я не могу дышать безъ тебя».

Она проснулась поздно. Былъ уже теплый, душный вечеръ. На улицѣ стояла пыль и розовѣла на солнечномъ закатѣ.

«Съ нимъ что-нибудь случилось!»—вдругъ поднялся вопросъ и всю оледенилъ ее ужасомъ. Похолодѣли руки, ноги. Сердце перестало биться.

«На него вѣрно напали разбойники, въ Осинкиномъ лѣсу шалятъ. Онъ ѣхалъ ночью, торопился ко мнѣ. Напали, зарѣзали и ограбили!..» И весь ужасъ этой страшной смерти пронизывалъ ее насквозь ледяными иглами. Голова закружилась.

Наконецъ, она не въ силахъ была овладѣть этимъ повелительнымъ, подавляющимъ страхомъ. Вся дрожа нервной, внутренней дрожью, она пошла къ Марьѣ Петровнѣ. Она застала ее на колѣняхъ передъ образомъ. Присутствіе другого человѣка сразу отрезвило ее и ей показались преувеличенными ея предположенія и мнительность.

Она невольно остановилась. Постояла съ полминуты и позвала подавленнымъ шопотомъ:

— Мама!

И вслѣдъ затѣмъ, какъ будто испугавшись, что мать не услышитъ ее, закричала:—Мама!

Марья Петровна въ испугѣ вскочила съ колѣнъ.

— Что ты, Господь съ тобой!..

— Мама-маша моя... Можетъ быть, его зарѣзали?.. Вѣдь въ Осинкиномъ лѣсу шалятъ. Анна Гавриловна разсказывала... («Развѣ можно вѣрить Аннѣ Гавриловнѣ?»—подумала она).

— Господь съ тобой. Катуля моя,—заговорила Марья Петровна,—успокойся... Ну, гдѣ онъ ночью поѣдетъ? Да и

какъ же его ограбятъ? Вѣдь съ нимъ человѣкъ, кучеръ, вѣрно, ружье есть или сабля...

— Мама, помолись за меня!—вскричала она, опускаясь на диванъ, закрывая лицо руками и вся дрожа.—«Да зачѣмъ же,—думала она,—кому молиться? Тамъ все пусто, глухо, тамъ—уничтоженіе».

— Я всегда молюсь за тебя, Катуленька моя!

И она перекрестилась.

— Ты вся дрожишь.—И она накинула ей на плечи свой платокъ.

— Не надо, мама.

— Надѣнь, моя родная. Согрѣйся... А то чаю напейся—съ лимономъ, или липоваго цвѣту... Что ты такъ растревожилась? Онъ, можетъ быть, такъ почему-нибудь не пріѣхалъ, что-нибудь задержало... Какая ни-на-есть нужда. Мало ли къ свадьбѣ надо что закупить, устроить, чего-нибудь смастерить... Катуля моя, а я тебѣ вотъ что, радость моя, скажу: всякій мужчина заставляетъ ждать нашего брата, безъ этого у нихъ ужъ и не обойдется. Бывало, сколько разъ я ждала Льва Никитича,—не тѣмъ будь помянутъ, покойникъ!.. Сидишь, сидишь вечеромъ... Ну, и привыкла, наконецъ. Помолишься Богу, перекрестишься... (и она перекрестилась), скажешь: «да будетъ воля его святая».

«Да,—подумала Катя,—и мнѣ прежде такъ легко было, покойно. Я точно игрокъ, который поставилъ va banque, все на одну карту... Все ему—вся жизнь, всѣ помыслы, все біеніе сердца, все!.. Что, если лопнетъ и разлетится?...»

Въ это время въ столовой брякнула чашка и разлетѣлась въ дребезги.

Она вздрогнула всѣмъ тѣломъ и слегка поблѣднѣла.

— О, Господь Богъ надъ тобой! Что ты все пугаешься?.. Чего вы тамъ бьете?.. Все кое-какъ, не можете осторожнѣе... Не напасешься на васъ.

— Это я, матушка, — затараторила Анна Гавриловна, влетая съ ручкой отъ чашки.—Хотѣла подвинуть, да рукавомъ какъ-то задѣла...

Катя встала.

— Куда ты?

— Пойду къ себѣ, можетъ быть, усну!..

«Надо быть покойной. Да! Свершится все то, что свершится... какъ стоики...»

Но тутъ же почувствовала, что это напускное, что нельзя ей быть покойной, что тамъ внутри у нея натянута крѣпко, крѣпко струна, которую можно только порвать, но не спустить, такъ спустить мягко, покойно, чтобы сердце билось ровно, сладко.

Она прошлась по залѣ и постояла передъ окномъ, передъ тѣмъ окномъ, за которымъ подразумѣвалась дорога.

Заря догорала. Деревья спали.

Она пошла къ себѣ и распахнула окно (Пафнутьевна всегда запирала окна, если никто не сидѣлъ въ комнатѣ, и гасила свѣчи).

Вечеръ былъ душный. Въ воздухѣ чувствовалась мгла.

Ночной кузнечикъ рѣзко и сухо отбивалъ свою безконечную, трескучую трель. Въ тѣни липы, на травѣ, блестѣлъ свѣтлякъ. Она всматривалась въ этотъ зеленоватый огонекъ, въ эту блестящую искорку... «Это моя искорка, искорка надежды,—думала она.—Разгорится или погаснетъ? Да есть ли, полно, у меня теперь хоть одна искорка, хоть одна тѣнь надежды?» Она взглянула на небо: оно было совершенно ясно, ни облачка. И какая-то темная глубина была въ самомъ верху. «Тамъ и есть уничтоженіе. Нѣтъ, оно здѣсь, кругомъ насъ. Тамъ нѣтъ ничего, ничего, а здѣсь—искорка. О, если разрастется она въ яркій, яркій свѣтъ любви!.. Явится онъ, явится свѣтъ. Нѣтъ его и—тьма кругомъ, какъ въ могилѣ. Если не будетъ его, я убью себя, убью съ ра-

достью. Какъ-нибудь, да убью... А мама-Маша?.. Ей будетъ тяжело, жестоко тяжело. Но и она исчезнетъ, и все исчезнетъ. . Все катится, рождается, умираетъ, преобразуется и исчезаетъ. Гдѣ же цѣль, конецъ?..»

И представленія развивались одно изъ другого, цѣплялись другъ за друга, какъ темныя чудища. Но среди ихъ безконечной вереницы она чувствовала все ту же натянутую струну. Порой она даже чувствовала, какъ эта струна дрожитъ и звенитъ въ ней. Она закрывала глаза, закрывала лицо руками. И все кружилось, кружилось передъ нею: онъ, свѣтъ, тьма, свѣтлякъ, мама-Маша...

Растворилась дверь. Она опять вздрогнула всѣмъ тѣломъ. Вошла Марья Петровна съ чашкой чая и хлѣбомъ.

— Выпей, Катуля, я тебѣ чаю принесла. Выпей хоть чашечку.

«Я выпью, чтобъ ее успокоить»,— подумала она. Въ двери выглядывала Пафнутьевна и смотрѣла пристально, сосредоточенно.

Катя нахмурилась и принялась за чай.

— Ну,—сказала она,—мама-Маша, теперь я сыта, а ты покойна. Я по горло сыта!—и она провела подъ горломъ и улыбнулась.—Я теперь спать лягу. Не буди меня.

И она принялась раздѣваться.

Но сбросивъ платье, она надѣла кофту и опять сѣла подъ окно и просидѣла всю ночь напролетъ. И опять мысли и представленія кружились, катились волнами. Опять струна начинала звенѣть и кружилась голова. Она на мгновеніе закрывала глаза. Потомъ вздрагивала всѣмъ тѣломъ и опять тотъ же круговоротъ мыслей и представленій катился безъ конца.

Однообразно, неслышно тянулись часы ночи. Сверчокъ замолкъ. Какая то птичка въ кустахъ малины пропищала тоненькія нотки и также замолкла. Гдѣ то далеко, далеко

чуть слышно, раздалось ржаніе лошади. И снова тишина. Только шипящіе часы въ столовой усердно и звонко отбивали каждый часъ, два, четыре и послѣ послѣдняго удара каждый разъ долго гудѣлъ какой-то жалобный звукъ, точно воспоминаніе о совершившемся.

Но среди этой мирной тишины не успокаивалось сердце. Не налеталъ на него кроткій ангелъ мира. И все та же струна жгучаго, земного горя, отчаянія, ожиданія, звучала тоскующимъ звукомъ.

X.

Одинъ за другимъ проснулись и встали всѣ въ домѣ. Встали и Анна Гавриловна, и Марья Петровна.

Вышла въ столовую и Катя. Она надѣла платье, которое онъ какъ-то похвалилъ, бѣлое съ сѣрыми узенькими полосками. Вышла и молча сѣла къ столу на свое мѣсто. Потомъ вдругъ поднялась и поцѣловала Марью Петровну.

— Здравствуй, мама!—сказала она.—Мы не здоровались еще съ тобой.

А Марья Петровна смотрѣла на нее во всѣ глаза и удержала ее за руку.

— Катя, голубка моя, что съ тобой?!

— А что? Ничего.

— Похудѣла, пожелтѣла. Ты вѣрно дурно спала? Не стыдно ли такъ убиваться изъ-за пустяковъ!.. Эхъ, Катя, Катя!

— Ничего, мама,—сказала она, махнула рукой и улыбнулась.

И она думала, дѣйствительно, все пройдетъ. И ея блестящіе, сильно блестящіе глаза щурились и хмурились. По лицу перебѣгала нервная дрожь. Сухія губы потрескались.

Пафнутьевна смотрѣла на нее изподлобья. Ей было и жалко ее, и дулась она на нее за вчерашнее. Никогда еще во всю жизнь Катя такъ не кричала на нее.

«Вотъ,—думала она,—воспитай ихъ, барскую-то породу. А она вырастетъ и будетъ топать на тебя».

Въ сердцѣ Кати остановилась одна мысль, одно рѣшеніе: «надо помириться со всѣмъ». Но именно это «все» представлялось въ видѣ такой страшной бездны, что при одной мысли о немъ кружилась голова и замирало сердце.

Она опять пошла въ столовую къ тому окну.

«Надо быть терпѣливой,—подумала она.—Терпѣніемъ до всего можно достичь, жгучимъ терпѣніемъ. Вѣдь это та же сила воли». Но при этомъ рѣшеніи какъ-то связывалось, каменѣло сердце. Она чувствовала, что ей все равно, что она гдѣ-то далеко, что ея даже вовсе нѣтъ, а здѣсь дѣйствуетъ одна машина, какой-то автоматъ.

Она прошлась по всѣмъ комнатамъ.

Въ дѣвичьей всѣ дѣвушки чистили клубнику къ обѣду.

Ей было все равно—клубника или малина, чистятъ или нѣтъ Исчезнетъ дѣвичья, весь домъ, на мѣсто всего будетъ озеро, прудъ,—не все ли равно? Это потому насъ все такъ мучаетъ, что мы много думаемъ о себѣ. «Ахъ, да развѣ я о себѣ, а не о немъ думаю?» И вдругъ при этомъ воспоминаніи опять замутилось сердце.

«Ничего, ничего,—заторопилась она.—Я тиха, я мертва. Не надо волноваться. Терпѣнье, терпѣнье и воля!» И она стискивала руки и кусала губы, опустивъ головку.

— Тетя Катя,—приставала къ ней Варя,—намъ и сегодня будетъ праздникъ, и всегда праздникъ?

— Да, и всегда праздникъ. И сегодня праздникъ. Только мнѣ нѣтъ праздника. Ничего, ничего! Я мертва, я покойна, тиха!

И ей даже нравилось это новое положеніе, эта дере-

вянность сердца. Она даже дѣлала опыты. «Пойду къ мамѣ, что *оно* (сердце) скажетъ при мамѣ?»

— Катя, — сказала Марья Петровна, — ты бы занялась чѣмъ-нибудь, а то ходишь какъ въ воду опущенная.

— Ничего, мама, я покойна, довольна.

«Ничего, ничего! Я тиха, я мертва, я тверда!

«Нѣтъ, лучше сидѣть тихо, тихо, сидѣть часъ, два. Вообразить, что ты умерла, и сидѣть какъ мертвая (И она усѣлась все передъ тѣмъ же окномъ въ залѣ). И руки сложить крестомъ. Да зачѣмъ же крестомъ? Вѣдь это—ложь, обманъ. А какъ онъ былъ великъ, этотъ крестъ? О, какой чистый и прекрасный!..

«А что, если онъ къ кофе не пріѣдетъ?.. Ничего, я тверда, я тиха, я мертва».

И дѣйствительно, онъ и къ кофе не пріѣхалъ. И она напилась кофе безъ него.

— Вотъ такъ-то лучше,—сказала при этомъ Марья Петровна.—Что его ждать-то. Когда не ждешь, Катя, тогда оно скорѣе бываетъ...

«И это правда: когда не ждешь, оно скорѣе бываетъ. Я мертва, я тверда. Все пройдетъ,—чего же ждать?.. Старости, смерти? Она придетъ... Сама придетъ, холодная, деревянная. Я мертва!»

Лиза подбѣжала къ ней съ куклой.

— Тетя Катя, посмотри, какъ хорошо?—На куклѣ былъ надѣтъ вѣнокъ изъ незабудокъ.—Это я на болотѣ нарвала. Тамъ много ихъ.

— Да, хорошо.

«Нѣтъ, я не мертва, я—кукла. Мы всѣ—куклы, и жизнь играетъ нами».

И она опять пошла и сѣла къ окну.

«А хорошо такъ, покойно. Покойно, когда никого не любишь. Не надо никого любить, никого, и будешь покой-

на. Надо быть эгоисткой. Но вѣдь тогда себя самое будешь любить. Нѣтъ, сдѣлать такъ, чтобы никого, никого не любить, и тогда будешь тверда и деревянна, будешь кукла. Да развѣ можно дѣлать какое-нибудь дѣло и не любить его, дѣлать, какъ машина?... Отчего же нельзя? Вѣдь на фабрикахъ же работаютъ мастеровые какъ машины? Да развѣ я сама не работала какъ машина? Помнишь, въ то время, въ то страшное время?.. Да теперь развѣ не то же время? Жизнь побаловала, улыбнулась и вдругъ... Нѣтъ, ничего, ничего! Я мертва, я тверда». И она открыла глаза и снова взглянула кругомъ.

«Какъ же я его встрѣчу, если онъ пріѣдетъ? Побѣгу къ нему, или просто выйду. Скажу: bonjour, Michel. Отчего ты вчера не пріѣхалъ? А я сдѣлалась безъ тебя мертва и деревянна...»

Чуть слышный стукъ экипажа раздался вдали. Она открыла глаза, и вдругъ всѣ мысли, всѣ чувства, настроеніе въ одно мгновеніе вспорхнули и слетѣли прочь, словно фантастическія птицы.

«Ничего, ничего. Я тверда, я мертва!» Но сердце сказывалось жизнью, оно сжалось до боли—и вдругъ забилось, забилось неистово, и замерло.

Экипажъ подъѣзжалъ. Она смотрѣла въ окно.

«Ахъ,—мелькнуло въ головѣ,—отчего я не вышла къ нему на встрѣчу! Мнѣ непремѣнно надо было выйти къ нему на-встрѣчу! за деревню, въ рощу».

Показался тарантаеъ. Это былъ онъ. Онъ смотрѣлъ такимъ сіяющимъ.

«Броситься къ нему! Выскочить на крыльцо!—Но руки похолодѣли, потемнѣло въ глазахъ.—Ничего, ничего! Я тверда, я мертва».

Онъ вошелъ. Она вышла къ нему на-встрѣчу. Внутри все было связано до боли. Голова кружилась.

«Я тверда, я мертва!»

Онъ взялъ ее за руку. И вдругъ отъ ощущенія этой руки, мягкой, теплой, родной руки, отъ взгляда этихъ милыхъ, любящихъ и любимыхъ глазъ все запрыгало, задрожало внутри, заходило ходенемъ. Она хотѣла улыбнуться, но губы задрожали, подбородокъ запрыгалъ, задрожали щеки, а изъ глазъ тихо, одна за другой, покатились полныя крупныя слезы. «Ничего, ничего,—бормотала она внутри себя,—не надо, я мертва!... Онъ не любитъ слезъ».

— О чемъ же ты плачешь? Calme-toi! Ничего,—и онъ крѣпко, страстно поцѣловалъ ея руку и обнялъ ее.

И не замѣчая, какъ, какимъ-то инстинктомъ, они вышли на балконъ, въ садъ, сѣли на скамейку.

— О, Миш .. Michel,—вскричала она,—если бы ты зналъ, какъ я люблю тебя! Ты для меня жизнь, свѣтъ, воздухъ, все... (и вдругъ она вспомнила, что все это она говорила ему во снѣ).

Онъ взглянулъ на нее мягко и ласково. Онъ обнялъ ее и она припала головой къ его плечу. Ему вдругъ сдѣлалось необыкновенно легко дышать и думать. Какъ будто другая душа раскрылась передъ нимъ свободно и просто и онъ смотрѣлъ черезъ нее и любовался на весь Божій міръ.

А кругомъ чирикали взапуски воробьи и перекликались овсянки. А на аллейки ложились тѣни кружочками, и казалось, что онъ смотритъ на нихъ сквозь слезы. И эти кружочки, и слезы такъ чудно сливались съ теплымъ воздухомъ, съ зеленью и блескомъ солнца.

«Да,—подумалъ онъ,—я понимаю... Да, я понимаю теперь, для чего люди женятся!»

И онъ съ любовью посмотрѣлъ на ея покойное, радостное счастливое лицо, на ея горѣвшія щеки, на ея закрытые глаза. Это было лицо добраго, кроткаго ребенка, тихое и ласковое. Онъ залюбовался на него.

— Катя, Михаилъ Ивановичъ, гдѣ вы?—кричала Марья Петровна съ балкона.

Они встрепенулись, встали и рука въ руку пошли къ балкону.

На балконѣ уже кипѣлъ самоваръ и распоряжалась Анна Гавриловна, заваривая кофе.

И вдругъ ему вся эта обстановка показалась не такой отталкивающей, какъ казалась до сихъ поръ. Правда, она казалась ему въ такой неизмѣримой дали, а на первомъ планѣ стояла она—та, которая не могла насмотрѣться на него.

«Elle est trés gentille, trés gentille, —думалъ онъ.—И какъ идутъ къ ней эти легкія кудерки на вискахъ».

— А ты будешь еще пить?—спросила Марья Петровна.

— Буду, мама! Вѣдь я пила безъ него, а теперь съ нимъ. съ нимъ!—И она взглянула на него. Все внутри у нея блестѣло, играло. И все стало такъ радостно, празднично... «О, теперь и для меня праздникъ! Я ожила, я теперь живая! Ба! вѣдь это любовь наполняетъ все, весь міръ. Есть любовь—и міръ великъ и радостенъ. Нѣтъ любви—и вездѣ пошлость и могила, вездѣ однѣ глупыя игрушки!»

— Ахъ,—вскричала она,—какая я безпамятная!..

И она опрометью бросилась и, вся торжествующая, принесла свою работу.

«Не надо волноваться,—шептала она на бѣгу,—надо быть ровной, покойной, сдержанной».

Онъ былъ очень обрадованъ сюрпризу, хотя внутри наклюнулось вдругъ: «въ Мельтюковкѣ барышня преподноситъ своему нареченному вышитую картинку: дѣвица, ожидающая возлюбленнаго у кладезя любви». Но онъ прогналъ тотчасъ же эту мефистофельскую тенденцію. Онъ былъ такъ голоденъ, а кофе такъ вкусенъ. И она была мила, очень мила, какъ-то воздушна, дѣтски хороша. И все кругомъ сіяло.

Марья Петровна смотрѣла такъ свѣтло, радуясь чужой радости. Воробьи щебетали такъ весело. Даже Пафнутьевна расправила брови и кисло улыбалась.

Онъ пробылъ до поздняго вечера. Послѣ обѣда устроилось катанье на лодкѣ. На водѣ Катя пропѣла романсъ:

Ты какъ въ зыбкѣ, на зыби воды
Нѣжное сердце качаешься.

И заря догорала, отражаясь въ водѣ, и тонкимъ, раздражающимъ ароматомъ вѣяло отъ прохладной воды, отъ цвѣтущаго луга. Никогда во всю жизнь свою онъ не былъ доволенъ цѣлымъ днемъ, прошедшимъ такъ пріятно, такъ радостно.

«Да,—подумалъ онъ, уѣзжая,—я знаю теперь, зачѣмъ люди женятся». И опять семейная жизнь стала близка ему, и опять пахнуло вожделѣніемъ, жаждой, сладостью семейнаго очага.

XI.

Разъ вечеромъ Ратищевъ и Катя сидѣли по обыкновенію въ саду, на маленькой скамейкѣ, подъ развѣсистой липой, надъ прудомъ.

— Michel,—сказала Катя,—говорятъ, что цѣпи брака тяжелы. Не вѣрь этому, Michel, ихъ нѣтъ, этихъ цѣпей брака. Это римляне выдумали узы Гименея... Если когда-нибудь, когда-нибудь ты разлюбишь меня (и голосъ ея слегка задрожалъ, она не смотрѣла на него и тихо, отрывисто гладила его по рукѣ), то... я не буду стѣснять тебя. Ты свободенъ въ ту же минуту. А я, я убью себя.—И она съ такою рѣшимостью, такъ упорно посмотрѣла на него, что онъ невольно отвернулся.

— Quelle horreur! —пробормоталъ онъ.—Tragédie en un acte... Ну, а если ты меня разлюбишь, мнѣ тогда надо убить себя?

— Я, я тебя разлюблю!?—Она схватила его за обѣ руки. — Michel, посмотри на меня, смотри прямо, прямо туда, мнѣ въ душу, развѣ это возможно!?

Онъ опять отвернулся и взглянулъ ей на руки. Солнце пятномъ упало на ея мизинецъ и засверкало радужнымъ блескомъ на алмазѣ маленькаго колечка.

— Tiens!—сказалъ онъ,, взявъ ее за мизинецъ.—Я у тебя никогда не видалъ этого колечка. Это драгоцѣнный камень, или страза?

Она быстро сняла его.

— Это кольцо мамы. Когда она была въ невѣстахъ, ей подарила его мать твоя. Возьми его, это кольцо твоей матери... Думала ли она когда-нибудь, что оно будетъ передано тебѣ мною?

— Я думаю, что никогда не думала...—сказалъ онъ, примѣривая кольцо на свой мизинецъ. Оно вошло только на второй суставъ. И онъ помахалъ имъ въ воздухѣ.— Sais-tu,—сказалъ онъ,—намъ надо обручиться.—И онъ отдалъ ей кольцо.

— Зачѣмъ, Michel? Развѣ мы ужь не обручены? Развѣ слово, данное тебѣ, не связываетъ сильнѣе, чѣмъ десять обручальныхъ колецъ?..

— Нѣтъ! Je suis trés curieux de passer par cette cérémonie. Я никогда не обручался! Надо все испытать въ жизни. Allons, назначимъ день и обручимся, какъ добрые христіане.

— Какъ хочешь... Только не смѣйся надъ обрядомъ...

— Смѣяться, право, не грѣшно надъ тѣмъ, что кажется смѣшно... Когда же? Въ воскресенье? Я сниму мѣрку и закажу кольца.

— Хорошо.

И онъ заказалъ массивныя кольца. Онъ хотѣлъ, чтобы на кольцахъ былъ вытѣсненъ гербъ Ратищевыхъ, но ювелиръ сказалъ, что этого никто не дѣлаетъ.—Притомъ,—сказалъ онъ по-нѣмецки,—вы напрасно заказываете такое тяжелое кольцо для невѣсты. Gnädige Fräulein будетъ неудобно носить это кольцо.

Насталъ вечеръ, назначенный для обрученья.

Ратищевъ долженъ былъ пріѣхать къ шести часамъ, но явился къ семи, во фракѣ, бѣломъ галстухѣ и бѣлыхъ перчаткахъ. Волосы его были гладко причесаны и все лицо выражало какую-то тонкую, до плоскости, оффиціальную торжественность. Даже подбородокъ какъ будто больше выдвинулся впередъ. Катя весело выбѣжала къ нему на-встрѣчу и удивилась этой торжественности.

— Vous n'êtes pas parée?—спросилъ онъ, подавая ей руку, затянутую въ перчатку, и нахмурился.

— Но, Michel, я думала... это просто... Мы у себя... Ты сказалъ, чтобъ никого не было... Я не знала...

Онъ еще сильнѣе нахмурился.

И она сконфузилась, какъ будто дѣйствительно была въ чемъ-нибудь виновата.

Изъ гостиной тихо выступила Марья Петровна, въ шелковомъ полосатомъ платьѣ и въ какой-то парадной малиновой шали съ турецкими букетами. За ней виднѣлся батюшка въ толстой камлотовой рясѣ. Священникъ лысенькій, съ широкимъ, скуластымъ, краснымъ лицомъ, съ маленькимъ багровымъ носикомъ и жидкой сѣдой бородкой.

Ратищевъ торжественно подошелъ къ его благословенію, совершенно такъ, какъ когда-то, въ его дѣтствѣ, подходилъ Иванъ Тимоѳеевичъ къ благословенію отца Іакова.

— Во имя Отца и Сына...—заговорилъ батюшка какимъ-то испуганнымъ, хриплымъ голосомъ, торопливо и высоко

вскидывая благословляющую руку и придерживая другою рукой рукавъ рясы.

Ратищевъ поздоровался съ Марьей Петровной. Всѣ стояли нѣсколько мгновеній.

— Что же, Михаилъ Ивановичъ, — заговорила робко Марья Петровна,—не прикажете-ли начинать? Батюшка здѣсь уже съ полчаса дожидается. Вы вѣрно привезли кольца?..

— Да, вотъ они,—сказалъ онъ, подавая кольца въ сафьяныхъ футлярчикахъ и медленно оглядываясь на всѣхъ, на Анну Гавриловну, въ чепцѣ съ красными лентами, на Пафнутьевну, стоящую у дверей угрюмо, на Лизу и Варю, которыя рядомъ стояли у печки, возлѣ кресла, обѣ въ новенькихъ платьицахъ, съ широко раздутыми юбочками и декольте.

Всѣ двинулись въ залъ, священникъ впереди всѣхъ, понуривъ голову и положивъ руку на грудь, косясь изъ-подлобья по сторонамъ. Нерѣшительнымъ шагомъ подошелъ онъ къ ломберному развернутому столу, накрытому скатертью, на которомъ стоялъ образъ «всѣхъ радостей», сдобный хлѣбъ и солонка. Батюшка громко крякнулъ и степенно надѣлъ новенькій эпитрахиль, который подалъ ему дьячекъ.

— Миръ вамъ!—произнесъ онъ, обертывтясь и на всѣхъ глядя въ упоръ изъ-подлобья.

— И духови твоему...—протянулъ тоненькимъ фальцетомъ маленькій дьячекъ, въ желтомъ нанковомъ подрясникѣ.

Всѣ перекрестились. Марья Петровна нервно вздрогнула.

Когда женихъ съ невѣстою мѣнялись кольцами, кольцо Кати выскочило изъ ея руки, со звономъ брякнулось на полъ, подскочило и, прыгая, закатилось въ уголъ, подъ образъ.

Марья Петровна вздрогнула и поблѣднѣла. Анна Гавриловна громко ахнула. Дѣвушки, толкаясь, заторопились поднимать его. Параня, вся покраснѣвъ, подхватила его и по-

дала невѣстѣ. Священникъ подумалъ немного, крякнулъ и продолжалъ обрядъ.

Марья Петровна перекрестилась и съ недоумѣніемъ переглянулась съ Пафнутьевной; та покачала головой неодобрительно и тоже перекрестилась.

Послѣ обрученья Ратищевъ какъ-то оффиціально подалъ руку Катѣ и впереди всѣхъ они прошли торжественно въ гостиную. Черезъ нѣсколько минутъ Анна Гавриловна также торжественно выступила съ большимъ подносомъ, на которомъ пѣнились высокіе, узенькіе бокальцы, и съ низкимъ поклономъ подошла къ Ратищеву. Онъ медленно протянулъ руку и, взявъ бокалъ, съ любезной улыбкой нагнулся къ Катѣ.

— Allons, embrassons-nous,—сказалъ онъ, цѣлуя ее какъ-то холодно вѣжливо.

Она постояла мгновеніе, восторженно смотря на него, и вдругъ порывисто обняла его и зарыдала.

— Qu'as-tu?.. Что съ тобой?—бормоталъ онъ, сконфуженный и удивленный, но она такъ же быстро махнула рукой, нѣсколько разъ провела платкомъ по глазамъ и еще со слезинками на красныхъ глазахъ, кусая губы, бросилась къ Марьѣ Петровнѣ и сосредоточенно, долго, начала цѣловать ея руки, лобъ, глаза.

— Я твоя, мама, твоя! — шептала она.—Я люблю тебя не меньше, даже больше.

Марья Петровна крестила ее и тихо всхлипывала, причемъ каждый разъ у нея подергивалась правая рука. Потомъ Катя быстро схватила подъ руку Ратищева.

— Allons въ садъ. уйдемъ отсюда! — сказала она, какъ маленькій ребенокъ, которому пришла прихоть.

Онъ съ недоумѣніемъ, нехотя, двинулся съ ней къ балкону. Она увлекала его за собой, заставила почти сбѣжать съ балкона.

Теплая свѣжесть іюльскаго вечера и миръ природы, тихій говоръ столѣтнихъ липъ обвѣяли ихъ.

Она влекла его дальше. Ей хотѣлось быть дальше отъ всѣхъ, съ нимъ вдвоемъ, среди тихой природы.

— Michel,—сказала она, остановившись вдругъ посреди аллейки, — il y a un autre monde, кромѣ этого, кругомъ насъ и этотъ міръ внутри насъ. Да, да! Не смотри такъ насмѣшливо, я его чувствую внутри меня, и тамъ, въ этомъ мірѣ, стоишь ты и мы теперь съ тобой крѣпко, крѣпко связаны.

— C'est de la pure poésie d'été, — сказалъ онъ насмѣшливо.—Mais je n'enchaîne personne.

Впрочемъ, эти слова о крѣпкой, крѣпкой связи какъ-то болѣзненно отдались въ его сердцѣ.

XII.

Наступилъ Петровъ день и всего три дня осталось до свадьбы. День былъ необыкновенно душный. Съ ранняго утра бѣло-розовыя, кудрявыя облака медленно заволакивали горизонтъ. Мѣстами они поднимались и расплывались въ блѣдно-сѣрыя одноцвѣтныя, мглистыя тучки, которыя съ трудомъ отличались отъ яснаго, также мглистаго, неба и глухо рокотали.

Ратищевъ пріѣхалъ, противъ обыкновенія, рано, въ совершенно лѣтнемъ сѣромъ костюмѣ. Катя была необыкновенно мила въ сѣромъ кружевномъ платьѣ, нарочно сдѣланномъ, по совѣту Ратищева, къ этому дню.

— Voilà! A présent nous faisons bien la paire, — сказалъ онъ, намекая на одинаковый цвѣтъ его костюма съ платьемъ Кати и любуясь на ея оживленное лицо.

— Какая нестерпимая жара!—сказалъ онъ, отирая рас-

краснѣвшееся лицо бѣлымъ душистымъ платкомъ съ широкими сѣрыми каймами.—Мы будемъ дѣлать шипучку, limonade gaseuse. Я привезъ машинку pour les eaus gaseuses и всѣ снадобья. Allons! Будемъ хозяйничать.

И онъ велѣлъ принести все привезенное и, загнувъ рукава щегольского сѣраго жакета и сбросивъ перчатки, принялся стряпать лимонадъ-газесъ — на удивленіе Марьи Петровны и всего дома. Лиза, Варя и Анна Гавриловна обступили столъ въ гостиной и жадно смотрѣли на операцію, которую онъ продѣлывалъ съ комическою важностью. Изъ двери выглядывали горничныя.

«Un civilisé parmi les indigènes de Meltjukoffka», подумалъ Ратищевъ, изъ подлобья оглядывая насмѣшливымъ взглядомъ все собраніе.

— On pourrait te prendre pour un escamoteur,—шепнула ему на ухо Катя, и онъ вдругъ нахмурился, даже его лѣвая рука слегка задрожала.

— Давай же я тебѣ буду помогать, — прибавила она, взявши одну коробочку съ содой со стола.

Онъ молча взялъ ее у нея изъ рукъ и снова поставилъ на столъ.

— Vous servez un escamoteur et vous risquez d'être prise à un escamotage!—прошипѣлъ онъ съ злобной усмѣшкой.

Катя слегка покраснѣла. Жаръ лѣтняго дня, высокій строй нервовъ бросили кровь ей въ голову при этомъ упрекѣ. Но эта вспышка также быстро и упала. Брови ея запрыгали, поднялись высоко, слезки едва замѣтнымъ блескомъ заволокли глаза. Она бросилась подлѣ него на диванъ, схватила его руку съ чайной ложкой и со страстью поцѣловала нѣсколько разъ.

— J'ai plaisanté, je ne voulais pas t'offenser,—прошептала она страстно.

Онъ хотѣлъ улыбнуться, но состроилъ кислую гримассу.

И она стала помогать и услуживать ему такъ предупредительно и радушно, что всякая непріязнь исчезла. Не исчезла только духота въ воздухѣ. Всѣ птицы и насѣкомыя замолкли, и даже кузнечики какъ-то лѣниво трещали. Со всѣхъ сторонъ на горизонтѣ образовались синеватыя, кудрявыя мглистыя тучки.

Обѣдъ прошелъ какъ-то сонно. Катя ничего не ѣла. Ратищевъ только все пробовалъ и отъ всего отказывался, несмотря на отчаянное подчиванье Марьи Петровны. Даже Анна Гавриловна примолкла, обмахиваясь платкомъ, и увѣряла, что непремѣнно гроза будетъ.

Послѣ обѣда Ратищевъ торжественно довелъ Катю до дивана гостиной и въ изнеможеніи повалился на этотъ диванъ, проговоривъ...

— Quelle chaleur étouffante!...

И это восклицаніе невольно и быстро, какъ бы электрическимъ токомъ, воскресило въ головѣ Кати тотъ періодъ пансіонской жизни, когда она старалась пріучить себя думать по-французски.

«Il a raison,—подумала она,—mais je ne trouve pas que cela soit gênant. Au contraire — je me sens à présent plus à mon aise».

— Je pense,—прибавила она вслухъ,—que ce temps est favorable pour les mouches. Elles sont tout-a-fait à leur aise.

И дѣйствительно, мухи съ какимъ-то ожесточеніемъ и пронзительнымъ жужжаніемъ перелетали съ окна на столъ и снова на окно. Онѣ суетились и гонялись другъ за другомъ какъ бѣшеныя.

— Elles me rappellent,—началъ съ злой усмѣшкой Ратищевъ, — les femmes. Celles-ci sont aussi insouciantes et voltigent, sans penser, ça et là, n'apercevant rien et cherchant seulement les plaisirs.

— Merci, monsieur, pour la haute opinion, que vous avez

de nous;—mais je pense, que les hommes ressemblent plus aux mouches, que les femmes. Je me rappelle même une chansonette, qui dit.

Les hommes, les hommes—les mouches
Voltigent autour des femmes...
Ils cherchent, perfides et louches,
Flétrir leur coeur et l'âme...
Fuyez, fuyez les belles
Soyez aux hommes rebelles...

И Катя пропѣла шансонетку, грассируя и съ легкимъ кокетствомъ въ голосѣ, играя глазами и обмахиваясь венеціанскимъ вѣеромъ, который подарилъ ей Ратищевъ.

Ратищевъ потемнѣлъ. Этотъ голосъ, эта манера ярко напомнили ему его Берту, которая, такъ же грассируя, пѣла передъ нимъ шансонетки и такъ же обмахивалась вѣеромъ, который онъ подарилъ ей. Что-то темное, зловѣщее поднялось со дна его сердца и заволокло голову.

«Toutes les femmes sont fausses и perfides,—подумалъ онъ,—и дуракъ тотъ, который ими увлекается».

— Ecoutez, ma belle,—сказалъ онъ мягкимъ, но высокомѣрнымъ тономъ.—Vous n'êtes pas assez spirituelle pour copier les françaises et carillonner leur chansonnettes... Это вамъ вовсе непристало. Предоставьте это à ces dames. Celui qui est futile ne peut pas être spirituel.

И тутъ же подумалъ: «да развѣ она не то же?»—и пожалъ плечами.

Катя вдругъ поблѣднѣла и отбросила вѣеръ.

— Ты шутишь!—сказала она упавшимъ голосомъ.

Онъ медленно покачалъ головой и посмотрѣлъ на нее въ упоръ злобными глазами.

— Michel!—проговорила она съ трудомъ, тихо наклоняясь къ нему, — вѣдь это вспышка, вѣдь ты любишь меня, да?

Онъ молча отодвинулся отъ нея въ противоположный уголъ дивана. Она чувствовала, какъ нестерпимый холодъ медленно сжалъ ея грудь. Она встала и отошла въ другой уголъ комнаты.

Иногда пустое, ничтожное обстоятельство, жестъ, взглядъ, слово освѣщаетъ бездну, въ которую толкаетъ страсть человѣка. Всѣ мелочи его характера, все стало выходить передъ ней, какъ изъ бездны, освѣщенное мрачнымъ свѣтомъ.—«Онъ никогда меня не любилъ и не думалъ любить,—догадалась она.—Онъ только обрадовался новому чувству, новому положенію, въ которомъ не бывалъ съ дѣтства». Она вспомнила, какъ широко всегда распахивалось передъ нимъ ея сердце, все существо ея; она передавала ему съ такою радостью всякое чувство, всякую мысль, промелькнувшую въ ея мозгу. А онъ?..

Но вмѣстѣ съ этимъ освѣщеніемъ вставала опять бездна мрачной пустоты жизни, совершенно черная бездна, которую теперь рѣшительно нечѣмъ было наполнить. Сердце замирало, голова кружилась, руки и ноги холодѣли...

«Нѣтъ, не можетъ быть,—думала она, быстро теребя и обрывая кружевца, которыми были обшиты ея рукава, хватаясь какъ утопающій за соломенку.—Не можетъ быть. Это—вспышка, не болѣе. Это вліяніе духоты въ воздухѣ. Ему тяжело дышать. Всякая мелочь его волнуетъ, сердитъ... У кого не бываетъ такихъ минутъ... У однихъ больше, у другихъ меньше...»

Она встала и твердо, довѣрчиво подошла къ нему.

— Michel,—сказала она съ легкой дрожью въ голосѣ,—помнишь ли, въ тотъ разъ,—во второй разъ, когда мы видѣлись съ тобой, когда ты былъ еще женихомъ,—ты говорилъ мнѣ о твоемъ одиночествѣ, о твоемъ бѣдномъ дѣтствѣ («почему же бѣдномъ» — подумалъ онъ)... Ты говорилъ мнѣ тогда, что въ твое сердце упалъ свѣтлый лучъ,

какъ въ темницу, и что ты видишь впереди другую жизнь, свѣтлую и радостную («Grand Dieu!—подумалъ онъ, пожавъ плечами,—какая риторика! Неужели я это говорилъ когда-нибудь?.. Чего она вретъ, какъ на мертваго!»). Гдѣ же эта жизнь?.. Michel, вѣдь я люблю тебя также, какъ и прежде. Я вся полна самоотверженія и любви къ тебѣ. Кромѣ тебя у меня нѣтъ... цѣли въ жизни...—Голосъ ея сильно задрожалъ.—Все, весь міръ,—все, что можетъ привлекать меня къ жизни—это твое счастье!.. Но вѣдь для этого необходима и твоя любовь, хоть немного ея... Пусть она будетъ блѣдна, скупа,—насколько можетъ любить твое сердце,—но мнѣ необходима она...

Онъ упорно молчалъ, не смотря на нее, и барабанилъ пальцами по ручкѣ дивана.

— Michel, намъ необходимо это объясненіе!.. Michel, я умоляю тебя!..

Онъ нетерпѣливо пожалъ плечами и искоса взглянулъ на нее. И вдругъ сквозь черты ея лица—свѣжія, молодыя, полныя красоты и силы—на него взглянули старческія морщины и кислое выраженіе нервной Марьи Петровны. Ему даже показалось (или это дѣйствительно было), что лѣвую руку ея сильно дернуло... «И мы будемъ связаны на вѣкъ, на всю жизнь!—представилось ему.—Non, non! Pas si bête»!—

И онъ прямо, въ упоръ, взглянулъ на нее со злобной, презрительной усмѣшкой.

Она еще сильнѣе поблѣднѣла и оперлась на столъ передъ диваномъ.

Въ это время, въ передней, послышался какой-то шумъ, хлопанье дверьми, затѣмъ твердые, скорые шаги. Дверь изъ залы распахнулась и вошелъ Талыгинъ, какъ и всегда, спокойный, ясный, сіяющій.

Онъ кинулъ бѣглый взглядъ на Ратищева и съ радостнымъ лицомъ бросился къ Катѣ.

— Ждали или не ждали меня?—сказалъ онъ весело, протягивая ей свою широкую руку.

— Она какъ бы машинально протянула ему свою холодную, дрожащую руку и какъ-то судорожно-крѣпко пожала ее.

«Что это, какая она холодная и блѣдная?»—невольно подумалъ онъ и, обернувшись къ Ратищеву, слегка поклонился ему.

Ратищевъ, не мѣняя позы, кивнулъ ему головой медленно и небрежно.

— Позвольте познакомить васъ,—сказала Катя какимъ-то не своимъ, глухимъ, прерывающимся голосомъ:—это Дмитрій Павлычъ Талыгинъ, а это Михаилъ Иванычъ Ратищевъ... женихъ мой,—прибавила она чуть слышно.

«Она торопится закрѣпить наши узы!—промелькнуло въ головѣ Ратищева.—Предусмотрительно!..»

Онъ медленно привсталъ и холодно, слабо пожалъ протянутую ему руку Талыгина, котораго лицо слегка поблѣднѣло и брови высоко вскинулись.

До сихъ поръ Ратищевъ только мелькомъ слышалъ отрывочные разсказы о Талыгинѣ отъ Кати. При этихъ разсказахъ у него всегда поднималось какое-то неопредѣленное враждебное чувство. И вотъ теперь случай свелъ ихъ прямо лицомъ къ лицу.

Талыгинъ опять обратился къ Катѣ:

— Позвольте отъ души поздравить васъ!—и онъ протянулъ и крѣпко пожалъ ея холодную руку.—Я искренно и глубоко желаю вамъ полнаго счастья!..

«Что же это значитъ?—подумалъ онъ.—Отчего она сама не своя? Неужели она выходитъ за него потому, что онъ богатъ? (Богатство Ратищева было извѣстно въ околодкѣ). Неужели она жертвуетъ для своей матери?»—И онъ прямо пристально посмотрѣлъ на Ратищева, который въ это время

слѣдилъ за ними своими бѣгающими глазами и быстро отвернулся.

Ратищевъ думалъ при этомъ: «Можетъ быть, она любила его и предпочла меня. Кто разгадаетъ сердце женщины?— И онъ опять, невольно, вспомнилъ свою Берту.—Можетъ быть, она сама себя обманываетъ своей любовью... Pour elle c'était un prestige—мое богатство, умъ... Все это ослѣпляло»— и онъ со злобой посмотрѣлъ на входящую Марью Петровну.

Она вошла, завязывая ленты чепца, который былъ надѣтъ немного на бокъ. Глаза ея щурились и слипались. На правой щекѣ было большое красное пятно. Очевидно, ее разбудили и она вошла спросонокъ, не успѣвши даже заглянуть въ зеркало.

— Здравствуйте, Дмитрій Павлычъ! Что васъ давно не видно? Я даже дочку успѣла просватать...

Ратищева сильно покоробило при этомъ извѣстіи. «Этакая сонная деревенская дура!»—подумалъ онъ.

Талыгинъ поздравилъ и ее.

— У меня была серьезно больна моя мать,—сказалъ онъ, садясь на кресло подлѣ маленькаго столика, на которомъ лежала книга Жеро. Марья Петровна начала участливо разспрашивать, какъ и что случилось съ Агніей Петровной.

Въ это время Катя тихо пошла и сѣла въ уголъ, около печки, на кресло. Ей было трудно двигаться,—голова ея сильно кружилась. Что-то тяжелое надавило ей на грудь. Ноги и руки отнимались. Мысли, чувства—все смѣшалось, перепуталось, все проходило какъ будто во снѣ, въ какихъ-то темныхъ потьмахъ... Люди не люди—какія-то тѣни сидѣли передъ ней, говорили, что-то дѣлали... Какой-то рѣзкій холодъ пробѣгалъ по спинѣ. Она нервно вздрагивала и на мгновенье приходила въ себя, но въ это быстрое мгновеніе сильная тупая боль сжимала ей сердце и она опять застывала въ своемъ забытьѣ и неподвижности.

Талыгинъ машинально взялъ книгу Жеро, машинально перелистовалъ ее и обратился къ Катѣ съ вопросомъ, прочла ли она книгу?

Катя не могла отвѣчать. Она полусознательно поняла, что у нея спрашиваютъ, и кивнула головой.

— А вы не читали этой книги?—обратился Талыгинъ къ Ратищеву.

Ратищевъ отвѣтилъ многозначительнымъ кивкомъ.

— Что же вы о ней скажете? Не правда ли, у него логика не всегда строга? Онъ, какъ всѣ французы, больше думаетъ сердцемъ, чѣмъ головой?

Ратищевъ откинулся отъ спинки дивана.

«Такъ вотъ откуда у нея идетъ философія!..»—подумалъ онъ, и у него вдругъ загорѣлось желаніе передъ нею, въ ея глазахъ, уничтожить этого доморощеннаго деревенскаго философа.—«Пусть полюбуется!»—подумалъ онъ съ злорадствомъ.

— Нѣтъ, я не совсѣмъ согласенъ съ вами,—сказалъ онъ.—Жеро, мнѣ кажется, болѣе послѣдователенъ, чѣмъ многіе французы и нѣмцы. Но только я вообще не люблю сентенціозныхъ сочиненій. Они ложны... dans leur fondement même.

И онъ началъ доказывать докторально и дидактически, что мораль и культъ—все это напускное, субъективное и мѣняется съ вѣками, съ народомъ и даже человѣкомъ, что все абсолютное вообще химера, что мы часто гонялись и гоняемся за иллюзіями.

— Пора, кажется, понять намъ,—говорилъ онъ,—что человѣчество относительно, такъ сказать, высшихъ истинъ вертится все въ одномъ кругу, начиная съ нирваны буддизма... за три тысячи лѣтъ до насъ.—И онъ покосился на Марью Петровну, которая усиленно хлопала глазами, и на Катю, которая сидѣла неподвижно, опустивъ голову и крѣпко стиснувъ ее холодными руками.

Марья Петровна оглянулась на нее, быстро поднялась съ кресла и подошла къ ней...

— Что съ тобой, Катуля, родная моя?! И она съ ужасомъ отняла ея холодную руку отъ головы и начала ощупывать эту горячую голову и ея блѣдное лицо.

— Оставь!.. Не тронь меня!—прошептала съ трудомъ Катя сквозь стиснутые зубы.—Все пройдетъ...

— Что съ нею?—испуганнымъ шопотомъ спросила Марья Петровна, обращаясь къ Ратищеву, но Ратищевъ не смотрѣлъ на нее.

Она нѣсколько секундъ постояла, посмотрѣла на всѣхъ и пошла въ спальню.

— Господи, Господи!—шептала Марья Петровна, крестясь.—Вѣрно простудилась давеча,—стояла на сквозномъ вѣтру, въ легонькомъ платьицѣ...

XXXIII.

Между тѣмъ, Ратищевъ продолжалъ свою лекцію и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе примѣшивалъ французскихъ фразъ.

— J'admets volontier—говорилъ онъ,—que la réligion est une question à résourde pour l'humanité. Но согласитесь сами, que c'est une question de pure évolution... А все развитіе, въ сущности, весь прогрессъ вертится только на улучшеніи матеріальнаго быта. Къ нему все идетъ, къ самоуслажденію, и въ немъ toute la force et le fonde de l'évolution... Весь этотъ кодексъ морали—не болѣе какъ договоръ, un code du droit de l'homme. Условіе—ты не бей меня, я не бью тебя, чтобы намъ можно было жить вдвоемъ и не съѣсть другъ друга... И посмотрите, въ настоящее время этимъ кодексомъ болѣе пользуются всякіе плуты и дураки, а умному и честному весьма плохо жить, если судьба... si le déstin не поста-

вила его въ независимыя условія (онъ подумалъ о своихъ средствахъ). Повѣрьте, что люди лучше поймутъ другъ друга, — я разумѣю людей развитыхъ («une race élevée», подумалъ онъ),— когда цивилизація, искусства, художества сдѣлаются культомъ. Возьмите, par exemple, Грецію, времена Перикла, — c'est l'âge d'or, — ну, и Флоренцію, въ средніе вѣка... Это вѣкъ—la renaissance—также могъ быть золотымъ вѣкомъ, еслибы не помѣшалъ ему культъ... Весь этотъ вѣкъ былъ, такъ-сказать, борьбой съ культомъ, который, наконецъ, затянулъ его своимъ чернымъ покровомъ, и... началась эта histoire des papes... (При этомъ въ памяти его промелькнула «Histoire des Papes» и даже въ сафьяномъ переплетѣ, съ золотымъ обрѣзомъ, которая стояла въ секретномъ шкафу Ивана Тимоѳеевича). Что же можетъ быть выше этой картины удобствъ жизни,—прибавилъ онъ,—среди возвышенныхъ, эстетическихъ наслажденій?!—И онъ нарисовалъ, какъ могъ, тускло и вяло, картину этого идеала общественной жизни. Но картина вышла блѣдной, безцвѣтной. И вдругъ онъ рѣзко замолчалъ и нахмурился.

«Я, кажется, разболтался,—подумалъ онъ.—Вѣроятно, я мечу только бисеръ... напрасно. Ce paysan-philosophe ничего въ этомъ не смыслитъ».

Во все время этого exposition de la foi Талыгинъ не прерывалъ ни однимъ словомъ Ратищева. Онъ слушалъ молча, внимательно, облокотясь на колѣно и подперевъ голову рукой. Онъ не любилъ спорить. Онъ спорилъ только для выясненія своихъ собственныхъ убѣжденій и тотчасъ же прекращалъ споръ, если видѣлъ, что противникъ старается только выгораживать собственное самолюбіе. По мѣрѣ того, какъ Ратищевъ развивалъ свою теорію золотого вѣка, взглядъ Талыгина уходилъ все болѣе и болѣе куда-то въ глубь. Прошло нѣсколько секундъ прежде, чѣмъ онъ началъ возражать Ратищеву, и тонъ его голоса былъ задушевный и искренній.

— Мнѣ кажется, вы ошибаетесь и смотрите односторонне,—сказалъ онъ.

Ратищевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и слегка покраснѣлъ. Не думая, не гадая, Талыгинъ уязвилъ его въ самое больное мѣсто. Ратищевъ считалъ себя всегда и во всемъ многостороннимъ.

— Я вообще не понимаю, — продолжалъ Талыгинъ, — какихъ-нибудь замкнутыхъ, конкретныхъ взглядовъ. Мнѣ кажется, какъ въ математикѣ величины идутъ въ безконечность, въ двѣ противоположныя стороны: отрицательную и положительную, такъ и въ человѣческихъ взглядахъ, въ ихъ развитіи и во всѣхъ явленіяхъ. Правда, границы между этими взглядами могутъ быть приняты только условно, примѣняясь къ духу времени.

И онъ началъ доказывать постепенное осложненіе всѣхъ взглядовъ, идей, въ связи съ осложненіемъ положительныхъ знаній. Ратищевъ нѣсколько разъ прерывалъ его какъ-то рѣзко и небрежно.

— Помилуйте, — говорилъ онъ, — да кто же этого не знаетъ! Вы, вѣроятно, читали и Конта, и Литре... Но вѣдь это-то именно и есть односторонность.

И Талыгинъ соглашался, но тутъ же опять, вслѣдствіе этого самаго соглашенія, выходилъ на дорогу того широкаго скептицизма, который идетъ рядомъ со всякой теоріей, вызывая ее и потомъ роняя, когда она переживаетъ свой вѣкъ, вызвавъ новое движеніе впередъ. Въ его взглядѣ прогрессъ являлся какимъ-то широкимъ, міровымъ, всеобхватывающимъ закономъ. Но этотъ взглядъ онъ не могъ высказать послѣдовательно, Ратищевъ постоянно прерывалъ его. Онъ ссылался на разныя имена, даже на брошюрки, самыя эфемерныя, о которыхъ Талыгинъ никогда ничего не слыхалъ. Но эти ссылки и возраженія не смущали его. Онъ ясно и твердо опрокидывалъ ихъ всѣ, такъ что нако-

нецъ у Ратищева не хватало силъ бороться. Онъ дѣлался болѣе и болѣе рѣзокъ и даже грубъ и наконецъ замолкъ. А Талыгинъ продолжалъ и кончилъ свой взглядъ.

— Повѣрьте, — заключилъ онъ тѣмъ же довѣрчивымъ, убѣждающимъ тономъ, — что весь матеріальный прогрессъ всегда будетъ служить только оболочкой для развитія міросозерцанія. Мы должны идти путемъ мелкихъ трудныхъ изысканій, часто тяжелыхъ. Только изъ нихъ, просвѣтленныхъ мыслію, выходитъ то движеніе, которое медленно, но неотразимо обхватываетъ цѣлыя массы и путемъ развитія ведетъ ихъ къ уразумѣнію истины.

Послѣднія слова Талыгинъ произнесъ выразительно, одушевленно, почти восторженно. Ратищевъ давно уже сидѣлъ, отвернувшись отъ него, и смотрѣлъ, насмѣшливо улыбаясь, куда-то въ стѣну, хотя глаза его продолжали бѣгать и коситься. При послѣднихъ словахъ онъ взглянулъ на Талыгина съ худо скрытымъ презрѣніемъ. «Un enthousiaste enragé»— подумалъ онъ.

— Я вообще не люблю спорить объ отвлеченныхъ предметахъ, — сказалъ онъ сухо и не глядя на Талыгина, — а въ особенности съ людьми мнѣ мало знакомыми. Вы извините меня и согласитесь, что такой споръ не всегда бываетъ даже удобенъ...

Талыгинъ вспыхнулъ. Въ глубинѣ его глазъ сверкнулъ яркій огонекъ. Но тотчасъ же онъ овладѣлъ этимъ волненіемъ, стихъ и только на губахъ его появилась едва замѣтная улыбка недоумѣнія. Онъ провелъ рукой по лбу и волосамъ, всталъ, взялъ свою широкополую, сѣрую, мягкую шляпу и медленно подошелъ къ Катѣ.

— Позвольте проститься, — сказалъ онъ, — и еще разъ пожелать вамъ полнаго, глубокаго счастья!

Она вздрогнула, съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него и подала ему руку.

— Что съ вами!?.. Вы, кажется, нездоровы?

Она не вдругъ отвѣтила.

— Да, кажется, больна..

Онъ обернулся кругомъ и посмотрѣлъ подозрительно на Ратищева.

Въ это время тучи, медленно собиравшіяся со всѣхъ сторонъ, заволокли все небо. Въ комнатѣ сильно стемнѣло. Порывистый вѣтеръ со стукомъ распахнулъ двери балкона. Катя вся вздрогнула и порывисто вскочила съ кресла. Поднялся и Ратищевъ. Талыгинъ бросился къ дверямъ, быстро закрылъ ихъ и плотно приперъ всѣ задвижки. Потомъ еще разъ пристально посмотрѣлъ на Катю, которая, казалось, не замѣчала его и стояла, какъ статуя, опираясь на кресло, взглянулъ еще разъ на Ратищева и тихо, склонивъ голову, вышелъ.

Въ столовой онъ обратился къ Марьѣ Петровнѣ съ вопросомъ:

— Что съ нею, съ Катериной Львовной?..

— Не знаю... Господи! должно-быть простудилась... Давеча стояла, разговаривала съ нимъ, здѣсь, а тамъ былъ отворенъ балконъ... Говорю: «Катуля, милая, простудишься, видишь, какая тяга...»

Въ это время Пафнутьевна и дѣвушки торопливо затворяли вездѣ окна. Вѣтеръ несъ цѣлыя облака пыли.

Талыгинъ взглянулъ въ окно, посмотрѣлъ на часы и протянулъ Марьѣ Петровнѣ руку.

— Куда же вы, — удивилась она, — отъ чаю?! Въ эдакій вѣтеръ и... сейчасъ дождь хлынетъ... Переждите лучше.

— У меня кожанъ... Я привыкъ... Засвѣтло надо домой поспѣть.

И онъ уѣхалъ.

Ратищевъ постоялъ нѣсколько секундъ около стола, побарабанилъ пальцами и растерянно посмотрѣлъ кругомъ, на

весь этотъ, какъ онъ называлъ, bel entourage de Meltjukoffka.—«Чортъ знаетъ,—подумалъ онъ,—это просто какое-то болото съ prophète de la vérité... на кочкѣ.

Онъ взялъ шляпу и тихо подошелъ къ Катѣ.

— Катерина Львовна!—сказалъ онъ.

Она опять вся вздрогнула и съ недоумѣніемъ уставилась на него.

— Vous êtes indisposée?!. Васъ можетъ-быть разстроилъ нашъ споръ съ этимъ paysan enragé или наша давешняя размолвка...

Она ничего не отвѣчала и смотрѣла на него неподвижными глазами.

«Quelle position rediculе!—подумалъ онъ и пожалъ плечами.—Пожалуй, еще за водой придется бѣжать!..»

— Я вамъ совѣтую лечь, успокоиться... Усните!..

И онъ протянулъ ей руку.

Она не вдругъ, медленно подала ему руку, холодную, какъ ледъ. Онъ слегка пожалъ ее.

«Elle est tout-à, fait histerique... peut être, épileptique»,—подумалъ онъ съ ужасомъ и, какъ-то съежившись, быстро вышелъ изъ комнаты.

На порогѣ столовой стояла Марья Петровна. Онъ холодно поклонился и протянулъ ей руку.

— Какъ, и вы уѣзжаете?—вскричала она.—Въ этакій дождь!.. А что же Катя?..

И дѣйствительно, цѣлый водяной ураганъ хлынулъ на землю, билъ, хлесталъ и гудѣлъ, какъ бѣшеный.

— Къ сожалѣнію, я долженъ ѣхать,—сказалъ Ратищевъ, пожавъ плечами.—Велите, пожалуйста, подать мою карету...

— Даша, скричи!.. Господи!..

Въ это время яркая, красновато-лиловая молнія дважды освѣтила окна и почти вслѣдъ за нею раздался оглушительный ударъ.

Марья Петровна перекрестилась и въ ужасѣ раскрыла ротъ.

На порогѣ диванной появилась Катя. Она двигалась медленно, какъ автоматъ. Марья Петровна кинулась къ ней.

— Катуля моя, родная, что съ тобой?!.

Она тихо отстранила ея руку и глухо проговорила:

— Уснуть...

Глаза ея были полузакрыты и неподвижны.

Въ это время новая, еще болѣе яркая, молнія на нѣсколько мгновеній раскрыла все небо.

Ратищевъ былъ уже на крыльцѣ, къ которому медленно подъѣзжала его карета. Страшный ударъ какъ бы упалъ съ неба. Лошади шарахнулись и попятились. Ратищевъ нагнулъ голову и быстро, инстинктивно, поднялъ руку кверху. Дождь хлесталъ со всѣхъ сторонъ, не переставая, и заплескивалъ все крыльцо. Ратищевъ, дрожа внутренней дрожью, началъ спускаться, слегка поскользнулся и чуть не упалъ.

«Мельтюковщина проклятая! Que le diable t'emporte!»— проворчалъ онъ, нервно дергая дверцу кареты.

— Ты гдѣ же тамъ спишь?—закричалъ онъ злобно на кучера.—Пошелъ въ Рагузино, къ Пенязеву!

И онъ быстро вскочилъ въ карету и захлопнулъ дверцу.

Кучеръ отчаянно началъ хлестать лошадей.

Карета покатилась съ ляцканьемъ по лужамъ. Дождь захлопалъ, забарабанилъ по ея крышѣ. Еще новый ударъ полетѣлъ ей въ догонку.

Только въ полночь добрался онъ до Пенязева.

— Что это ты... нежданно-негаданно?!—удивился и обрадовался Пенязевъ.—Вѣрно отъ невѣсты... Эй, человѣкъ! скорѣе сюда чего-нибудь закусить и бутылку холоднаго... Погрѣйся и вспрыснемъ... Сыро!.. бррръ!..

Ратищевъ комфортно усѣлся подлѣ камина, въ которомъ трещалъ огонь, и съ наслажденіемъ потеръ руки.

— Ухъ!—вздохнулъ онъ свободно, точно сбросилъ ка-

кую-то страшную тяжесть.—Sais-tu que la passion est toujours une folie d'animal!..

— Amen!—сказалъ Пенязевъ, закуривая сигару.

XIV.

Цѣлую ночь Талыгинъ ѣхалъ или вѣрнѣе тащился къ городу. Въ полночь гроза унялась, но дождь не переставалъ, разошелся и грустно барабанилъ въ опущенный верхъ тарантаса.

«Все это напускное, — думалъ онъ, — и все пройдетъ, какъ сонъ. Года отрезвятъ меня. Дѣло мое принесетъ что-нибудь (принесетъ ли пользу? — усомнился онъ). Явится новое чувство, болѣе широкое, индифферентное, объективное».

Тарантасъ тихо толкнуло. Онъ съѣхалъ съ большой дороги на проселочную.

«Пусть ее! — думалъ онъ. — Счастья, счастья! Довольства жизнью!.. Полнаго, если возможно, желаю ей».

Тарантасъ сильно встряхнуло. Лошади шли шагомъ.

«Неужели она идетъ въ бездну?.. Нѣтъ!.. У сердца есть инстикты, у нея есть умъ, — да, несомнѣнный умъ... Она не отдалась бы безъ выбора. А можетъ-быть, мать уговорила?.. Но мать такъ ее любитъ. Все это—предубѣжденіе. Я не знаю его и сужу по первому впечатлѣнію, подъ самымъ невыгоднымъ вліяніемъ. Онъ воспитанъ, развитъ, богатъ, уменъ. Вѣроятно, женится по любви, по страсти... И будутъ они любить другъ друга».

Онъ вздохнулъ.

— Семенъ, ступай скорѣе!.. Этакъ мы къ завтрему не доѣдемъ...

— Слякоть, Митръ Павлычъ. Ишь какъ грузно!.. Эхъ,

вы, намокли!..—Онъ нахлесталъ лошадей и онѣ тронулись легкою рысцой.

«Да, работать, работать, работать! Отдать всего себя дѣлу.—Шестерня!—подумалъ онъ.—Мои цѣли были нечисты, двоились. Для широкаго дѣла нужна полная свобода. Хотѣлось вкусить сладостей семейнаго очага, раздѣлить время между дѣломъ и отдыхомъ.. Развѣ машина отдыхаетъ?.. Оттого она и ровна, не брызжетъ, страстью, не кипитъ, когда не слѣдуетъ... Пусть оно достается—это мѣщанское счастье—тѣмъ, кто живетъ для него и ради него въ своемъ узкомъ мірѣ... «А у тебя широкая дорога?»—спросилъ внутри насмѣшливый голосъ. — Пройдутъ года. Умаюсь! Можетъ-быть доплыву до пристани одинокимъ. Можетъ-быть случай пошлетъ другую...»

Но и эта «другая» представлялась ему все въ томъ же миломъ, обольстительномъ образѣ, съ которымъ сроднилось его сердце. Онъ встряхнулъ головой и взглянулъ изъ-подъ зонта тарантаса. Дождь пересталъ. Впереди какъ будто свѣтлѣло. По дорогѣ въ сторонѣ тянулся безконечный лѣсъ.

«Это Тельковскій,—промелькнуло у него въ головѣ и онъ вспомнилъ о своихъ плотахъ.—Какъ-то они дойдутъ? Опоздаетъ Иванъ длинный. Не пригонитъ ихъ». И мало-по-малу онъ погрузился въ свой обычный дѣловой міръ. И начали ему представляться колеса, рычаги, винтики... А небо дѣйствительно свѣтлѣло. Всходилъ уже хмурый, пасмурный день.

Громкій собачій лай вызвалъ его изъ думъ. Передъ нимъ разстилалось поле. Лошади бѣжали рысцой. Какой-то человѣкъ, весь мокрый, съ огромнымъ ягдтажемъ и ружьемъ на плечѣ промелькнулъ мимо.

«Qui va à la chasse perd sa place!—подумалъ онъ и горько усмѣхнулся самъ надъ собой.—А ты еще думаешь наб-

людать надъ другими,—продолжалъ онъ съ тѣмъ же грустнымъ чувствомъ.—Сперва слѣди себя, выдрессируй, сдѣлайся дѣйствительно шестерней, и потомъ съ совершенною объективностью, изучай эти жизни, волнующіяся отъ глубокія силы».

Бѣлый день чуть-чуть начиналъ занимаяться, когда Талыгинъ въѣхалъ въ городъ. Тарантасъ его съ громомъ запрыгалъ по мостовой, и онъ очнулся отъ тяжелой, дремотной думы.

Въ городѣ Талыгинъ пробылъ цѣлый день, шляясь по разнымъ дѣламъ и покупая разныя вещи. Между прочимъ, онъ зашелъ къ часовщику-жиду. Онъ напомнилъ ему Ратищева.

На другой день онъ выѣхалъ на разсвѣтѣ. Проѣзжая мимо Мельтюковки, онъ выглянулъ изъ тарантаса.

«Да будетъ миръ надъ тобой!—И тутъ же подумалъ:—Да развѣ можетъ выгорѣть это желаніе?..

Подъѣзжая къ дому, онъ встрѣтился съ верховымъ, который везъ ему ергакъ. Его выслала ему Агнія Петровна.

«Посылать въ такую погоду человѣка! Отрывать отъ дѣла!»—подумалъ онъ. Однако, ергакъ надѣлъ, потому что дулъ холодный, сѣверный вѣтеръ. И тутъ же другая мысль явилась въ головѣ:—«Нѣтъ сильнѣе этой привязанности, какъ привязанность матери! Жена любитъ для наслажденія, для себя... Только мать любитъ вполнѣ самоотверженно, любитъ до старости, до гробовой доски, того, кого она дѣйствительно *любитъ*».

А мать сидѣла у окна, закутавшись въ соболью шубку, и ждала его. Какъ только тарантасъ подкатилъ къ крыльцу, она съ ясной улыбкой и сіяющимъ лицомъ встала и пошла къ сыну на-встрѣчу.

— Не подходи, не подходи!.. холодный! — закричалъ онъ.—Сейчасъ приду, обогрѣюсь...

Въ передней его ждали два мужика. Одинъ изъ нихъ

былъ приземистый, уже пожилой, посѣдѣвшій, съ курчавыми волосами, курносый и съ добродушнымъ, улыбающимся, краснымъ лицомъ, которое было все въ мелкихъ складкахъ. Это былъ Архипъ, староста изъ ближней его деревни.

Другой былъ высокій, молодой парень съ блѣднымъ угрюмымъ лицомъ, съ бѣлыми, прямыми волосами, нѣсколько сутуловатый и некрасивый.

— Здравствуй, Митръ Павлычъ!—сказалъ Архипъ, при входѣ Талыгина, и отрывисто поклонился.

— Здравствуй. Ты что?..

— Да все насчетъ жердняку-то пришелъ, какъ, то-ись, обрядить прикажешь... Шутъ его знатъ... Мы его все толкáмъ вдоль, а онъ какъ быдто поперекъ лѣзетъ... Значитъ —претъ его это изнутри-то...

— А это кто съ тобой?—и онъ кивнулъ на парня, который поклонился ему въ поясъ.

— А это,—понижая голосъ и подавшись тѣломъ впередъ, заговорилъ Архипъ,—это... я те послѣ доложу.—И онъ кивнулъ головой и мигнулъ глазомъ... Это—Калинкинскій работникъ.

Парень смотрѣлъ изподлобья, въ упоръ, на Талыгина и молча мялъ шапку въ рукахъ.

Талыгинъ вошелъ въ комнаты и нѣсколько разъ поцѣловалъ мать.

«Какъ будто похудѣлъ»,—подумала она.

— Ну, что же?—и онъ опять вышелъ въ переднюю и оглянулъ парня.

— Это онъ значитъ къ твоей милости пришелъ,—заговорилъ Архипъ.—То-ись я значитъ его привелъ... (Отъ него нѣсколько пахло виномъ и дегтемъ. Онъ совсѣмъ подошелъ къ Талыгину и съ сильными жестами, размахивая руками и подмигивая, чуть не на каждомъ словѣ, началъ ему шептать подъ ухо).—Бяда у ево... То-ись значитъ одо-

лѣла эта блажь, — ну, и полюбилась ему дѣвка-то наша, у Семена Бабашки, дочь его... Дѣвка-то, знашь, ничего... Хороша дѣвка... Рабоча и весела така... Да вотъ парня-то значитъ все сумленье беретъ... (Талыгинъ слушалъ внимательно. Онъ привыкъ къ этому безсвязному, безалаберному языку). Бабашка-то тянетъ съ него... Мужикъ-то лихой, скупящій. «Ты, батъ, подай мнѣ двадцать рублевъ и бери Машку-то. А то не по тебѣ, батъ, невѣста. Мимо иди!» — Песъ его знатъ, шутъ этакій!.. Ну, оно хошь!.. А парень, значитъ, задачливый, охочъ къ работѣ-то. Одно слово — работѣй!.. Ну, гдѣ онъ эку-ту прорву денегъ заберетъ... А дѣвка-то, слышь, ему по нраву пришлась... Удавлюсь, батъ, да и шабашъ!..

— Чего-же ему надо отъ меня?—спросилъ Талыгинъ.

— А ты помоги ему, Митръ Павлычъ!.. Онъ те заработатъ. Пра слово, заработатъ... Я порукой. Архипъ Михрѣевъ порукой... Вотъ те! — И онъ всей пятерней, съ короткими моторными пальцами, ткнулъ по воздуху.—Помоги!

Онъ опять понизилъ голосъ и подвинулся къ Талыгину.

— Вотъ на Здвиженье будетъ у насъ сланье... Слать, али что?.. Онъ те заработатъ.

— А ты ужъ успѣлъ выпить? — спросилъ Талыгинъ.

Архипъ мотнулъ головой и опять, наклонившись къ Талыгину, проговорилъ все тѣмъ же хриплымъ шепотомъ:

— У Степана Шабалки седни кстины были, а я, значитъ, кумомъ... Ну, и не обезсудь, виноватъ... Поднесли,— ну, и выпилъ.

Талыгинъ обратился къ парню и пристально посмотрѣлъ на него.

— Тебя какъ зовутъ? — спросилъ онъ.

Но парень не успѣлъ разинуть рта, какъ Архипъ отвѣтилъ за него:

— Иваномъ... Иванъ Толковый... Такъ и прозывается:

Толковый!.. Помоги ему, Митръ Павлычъ, — пра слово, помоги!.. Парень во какой работать — лютой!.. А какъ Здвиженье-то будетъ, онъ те эвося что наворотитъ!..

— Что-же,—спросилъ Талыгинъ,—ты мнѣ заработаешь?

— Заработаю...—сказалъ парень какимъ-то деревяннымъ внутреннимъ голосомъ.

— Какъ не заработать!.. И-и-и... — началъ Архипъ — на Здвиженье онъ те эвося...—Но Талыгинъ махнулъ на него рукой...

— Что-жъ, полюбилась тебѣ, что-ли, крѣпко дѣвка-то?

Парень потупился и усиленно завертѣлъ шапкой.

— И-и-и, грѣхи наши!..—проговорилъ Архипъ и икнулъ.

— Ну, я тебѣ помогу. Смотри, заработай!..

И онъ вынулъ изъ бумажника и подалъ ему двѣ красныхъ кредитки. Парень, не торопясь, какъ будто нехотя, принялъ ихъ, потомъ медленно вытащилъ изъ-за пазухи кошель, развязалъ и бережно положилъ въ него деньги. Руки его слегка дрожали. Потомъ онъ опять взглянулъ изъ подлобья на Талыгина и вдругъ упалъ на колѣни и поклонился ему въ ноги.

— Что ты!.. Чего?! Вѣдь я не Богъ, не царь, не набольшій... Ты лучше заработай, не обмани...—И онъ круто повернулся и вышелъ изъ передней.

«Онъ купилъ ее!»—вдругъ промелькнуло въ его головѣ. Но онъ тотчасъ же прогналъ эту обидную мысль и снова окунулся въ свою обычную работу.

Прошло нѣсколько дней, и никогда эта работа не шла такъ бойко и споро, какъ въ эти дни.

«Я, кажется, дѣйствительно начинаю превращаться въ шестерню»,—думалъ онъ.

Только по вечерамъ, когда ему приводилось чертить планы, дѣлать выкладки или записывать и сводить итоги дневныхъ наблюденій, — только въ эти тихіе, душные ве-

чера, среди раздражающаго запаха липъ, бѣлымъ цвѣтомъ обсыпавшихъ всѣ тѣнистыя деревья и весь лѣсъ кругомъ, — онъ чувствовалъ опять приливъ томительнаго волненія. Точно какая-то невидимая рука вдругъ сжимала его сердце и туманъ бросался въ голову. Онъ, на мгновенье, закрывалъ глаза, встряхивалъ головой и, вздохнувъ, снова, усиленно принимался за цифры и чертежи. Но иногда волненіе расло, а не исчезало, — и ему приходилось бросать работу и, стиснувъ зубы, лежать, стараясь какъ-нибудь измѣнить ходъ мыслей и настроеніе.

До «Липокъ», наконецъ, долетѣла вѣсть о томъ, что Мельтюковская барышня просватана, — та вѣсть, сообщить которую своей «родной» не доставало духу у Талыгина.

«Къ чему? — подумалъ онъ. — Все равно, узнаетъ отъ кого-нибудь».

Она дѣйствительно узнала и стала слѣдить за нимъ. Ей не хотѣлось его спросить, но она подмѣтила по его лицу, похудѣвшему и постоянно озабоченному, не улыбавшемуся, по его серьезному, грустному взгляду, что въ его сердцѣ идетъ борьба. Чуткое сердце матери угадало ее, но помочь ей она ничѣмъ не могла.

«Время залѣчитъ»,—думала она и молилась Богу. Разъ она вошла въ кабинетъ сына, своей твердой, неторопливой походкой. Онъ сидѣлъ надъ чертежомъ, опустивъ голову. Когда она подошла къ нему и тихо поцѣловала въ голову, онъ вздрогнулъ и приподнялся съ кресла... Агнія Петровна улыбнулась, взяла его за руку и посмотрѣла на него.

— Митя,—сказала она,—если сердце болитъ, то это не поможетъ,—и она указала на чертежъ.

Онъ посмотрѣлъ на ея ласковые, голубые, умные глаза и добрую улыбку. Что-то поднялось у него изнутри сердца и захватило дыханіе... Онъ обнялъ ее, припалъ къ ея груди и зарыдалъ.

Она ничего не говорила, только гладила его русые, слегка волнистые, волосы и цѣловала ихъ, а на эти волосы тихо падали слезинки изъ ея добрыхъ, старческихъ глазъ.

Онъ быстро встряхнулъ головой и утеръ рукавомъ глаза.

— Это ничего, родная,—сказалъ онъ, — это пройдетъ. Только теперь тяжело. Время все залѣчитъ... Ты правду говоришь.

Они нѣсколько секундъ молчали.

— Я думаю съѣздить за-границу, не надолго, мѣсяца на три... Посмотрю на заводы, фабрики... Это отрезвитъ.

— Поѣзжай, голубчикъ! — сказала она. — А я за тебя похозяйничаю. Буду скакать, какъ ты, изъ одного завода на другой. — И она сквозь слезы улыбнулась. И онъ тоже улыбнулся, въ первый разъ, послѣ нѣсколькихъ недѣль тяжелой жизни.

XV.

Ратищевъ проболталъ съ Пенязевымъ до разсвѣта, разсказалъ ему и о разрывѣ съ невѣстой. Выпили за этотъ разрывъ и даже расцѣловались.

— Ты теперь нашъ, свободный человѣкъ! Un homme libre!—говорилъ Пенязевъ, радостно потрепывая его по колѣнкѣ, и тутъ же подмигнулъ ему на хорошенькую горничную, случайно заглянувшую въ комнату...

На другой день Ратищевъ вернулся къ себѣ только къ вечеру. На письменномъ столѣ въ кабинетѣ, на самой серединѣ, лежалъ портретъ его матери, все съ тѣмъ же разбитымъ стекломъ. Ратищевъ нарочно положилъ его тутъ, чтобы не забыть вставить новое стекло. Машинально взялъ онъ его теперь въ руки и посмотрѣлъ на него.

«Вѣроятно, была такъ же глупа и еще, можетъ быть, глу-

пѣе,—подумалъ онъ.—И тоже чѣмъ-нибудь увлекла отца—ce vieux satyre! Вѣдь всякая женщина—не болѣе какъ отраженье, рабское и блѣдное, мужчины. Онѣ живутъ только сердцемъ, половою страстью...»

И онъ приподнялъ крышку бюро, бросилъ портретъ въ кучу бумагъ и принялся ходить по комнатѣ.

«Надо же, однако, формально кончить съ этой чепухой,—подумалъ онъ,—а не то скажутъ, что обрадовался предлогу, удралъ и спрятался...»

И онъ досталъ листъ почтовой толстой, сильно глазированной, бумаги съ гербомъ Ратищева и принялся писать.

Нѣсколько разъ онъ вставалъ, думалъ, пожималъ плечами, ухмылялся, перечеркивалъ написанное, наконецъ, кончилъ и переписалъ брулльонъ. Вотъ это письмо:

«Вы требовали отъ меня вчера объясненія. Мнѣ кажется это объясненіе совершенно излишнимъ. Мы выросли въ разныхъ условіяхъ и другъ другу чужіе. Мои требованія отъ жизни выше и разумнѣе вашихъ и между нами цѣлая пропасть. Вы не можете оцѣнить (онъ написалъ «понять» и вычеркнулъ) моихъ возвышенныхъ, многостороннихъ стремленій. Для васъ вся жизнь заключена въ какой-то страстности. Выйдя за мужъ, вы мучили бы и меня, и себя постоянною вашею самоотверженною любовью. Предвидя въ этой нашей общей жизни рядъ непріятныхъ и тяжелыхъ для обоихъ насъ сценъ, я долженъ по-неволѣ (онъ написалъ: «съ чувствомъ глубокаго сожалѣнія» и вычеркнулъ) отказаться отъ чести быть вашимъ супругомъ и просить васъ принять увѣреніе въ моемъ отличномъ уваженіи.

Михаилъ Ратищевъ.

PS. Возвращаю при семъ ваше обручальное кольцо и прошу передать мое почтеніе вашей матушкѣ».

Онъ медленно вложилъ это письмо въ конвертъ, запечаталъ большою гербовою печатью и надписалъ адресъ:

«Милостивой Государынѣ—Екатеринѣ Львовнѣ Карбагаевой» («а не Ратищевой»—подумалъ онъ и усмѣхнулся). Подписавъ внизу: «въ собственныя руки, въ Мельтюковку», онъ подчеркнулъ, съ той же усмѣшкой, эти послѣднія слова.

Покончивъ съ письмомъ, онъ снялъ съ пальца обручальное кольцо, вложилъ его въ футлярчикъ, завернулъ въ толстую бумагу, обвязалъ тесьмой, запечаталъ, а на конвертѣ письма приписалъ: «При семъ письмѣ кольцо въ футлярѣ».

Затѣмъ онъ потянулся, всталъ и отворилъ окно.

«Вотъ какъ люди выходятъ на чистый воздухъ!» — подумалъ онъ. А теперь скорѣй укладываться и «Dahin! Dahin! Who die Citronen bluhen!».. Тамъ жизнь сама сказывается и даетъ знать свою силу». И въ его скупомъ воображеніи блѣдно и въ туманѣ обрисовались Тиволи и фраскатанка съ черными, жгучими глазами и южнымъ пыломъ въ крови.

Онъ сталъ укладываться. Ему попались наброски его курса анатоміи. Онъ съ любовью собралъ ихъ и уложилъ въ портфель.

«Теперь работа закипитъ,—подумалъ онъ,—голова освѣжилась, эта умная голова, все преодолѣвающая!» И онъ, отбросивъ портфель, гордо прошелся по комнатѣ и взглянулъ, проходя, въ большое стѣнное зеркало.

«Пожелтѣлъ же я, однако, — подумалъ онъ, — avec ces billevesies de Meltjukoffka! Точно померанецъ...»

Вечеромъ, ложась спать, онъ отдалъ письмо и посылку Ѳедосѣичу.

— Это письмо и посылку отправить завтра пораньше въ Мельтюковку, съ Григоріемъ! — сказалъ онъ. — Пусть отдастъ толкомъ, въ руки. Отвѣта не нужно!

«Пускай себѣ читаетъ на здоровье!—подумалъ онъ.—Желаю ей полнаго счастья и дюжину ребятъ!..»

И онъ съ наслажденіемъ потянулся и заснулъ.

Но письма она не читала.

Когда она разсталась съ Ратищевымъ, Марья Петровна проводила ее въ комнату. И она, не раздѣваясь, упала на постель и закрыла глаза.

Марья Петровна и Пафнутьевна долго уговаривали ее раздѣться, но не добились отвѣта.

— Пусть лучше выспится, голубка моя... Можетъ быть, Богъ милостивъ, все пройдетъ сномъ,—сказала Марья Петровна. И перекрестивъ ее, она вышла съ Пафнутьевной и приперла дверь.

Гроза на мгновенье какъ будто притихла, только дождь лилъ по прежнему.

Марья Петровна помолилась Богу отъ души и наплакалась до сыта. Дождь почти пересталъ. Но черезъ часъ надвинулись новыя тучи и снова засверкала молнія и посыпались удары какъ будто надъ самымъ домомъ. Марья Петровна, Пафнутьевна и Анна Гавриловна зажгли свѣчи и молились.

Буря бушевала цѣлую ночь и на другой день всѣ проспали и встали поздно, сонные.

Марья Петровна съ заспанными глазами, еще въ кофтѣ и юбкѣ, вошла въ комнату Кати.

«Спитъ... Такъ и не раздѣлась, голубка моя!» — подумала она и подошла къ ней.

Катя лежала на спинѣ. Руки ея были вытянуты, голова повернута на бокъ, глаза закрыты, а сквозь полуоткрытый ротъ ярко бѣлѣли стиснутые зубы. Она какъ будто улыбалась. Какимъ-то страннымъ показалось ея лицо Марьѣ Петровнѣ—блѣдное, восковое, съ посинѣлыми губами.

«Точно мертвая»,—подумала она и сердце ея сжалось.

Она тихо приложила руку къ ея лбу. Лобъ былъ хо-

лодный. Она взяла ее за руку, и блѣдная, сухая рука была холодна, какъ ледъ...

У Марьи Петровны все задрожало внутри. Не помня себя отъ страха, она торопливо вышла изъ комнаты.

— Пафнутьевна! А, Пафнутьевна! — закричала она.— Поди сюда!.. О, да брось ты тамъ!..

Пафнутьевна бросила недомытую чашку и съ раскрытымъ ртомъ, выпуча глаза, выплыла въ столовую.

— Посмотри скорѣй, что съ ней!.. Она точно не живая... Господи!..

За Пафнутьевной выскочило нѣсколько горничныхъ, Анна Гавриловна. Всѣ вошли въ комнату Кати и всѣ начали ощупывать и прислушиваться.

— Катя! А, Катя!.. Катулечка!.. День уже,—дрожащимъ голосомъ звала Марья Петровна, теребя ея за руку.—Господи! Господи! — твердила она и руки ея тряслись и судорожно сжимались.—Пафнутьевна!.. вѣдь это смерть?!—шептала она.

— Спрыснуть ее надо, что ли? — посовѣтовала Анна Гавриловна.

И ее спрыснули, потомъ окурили перьями. Но и это не помогло. Начали окуривать ладономъ. Удушливый дымъ пошелъ по комнатѣ. Кто-то закашлялъ. Кто-то завылъ. Въ дѣвичьей сердитый голосъ прокричалъ:

— Барышня померла, а ты пристаешь...

Наконецъ, перепробовали всѣ средства, и руки у всѣхъ опустились. Настала мертвая тишина.

Марья Петровна, сидя на креслѣ, металась, прикладывала руки то ко лбу, то къ груди.

— А вы не убивайтесь, матушка, не убивайтесь!—уговаривала ее Анна Гавриловна. — Богъ милостивъ. Можетъ быть, она такъ только... обмерла, голубка!

— Голубушка наша!—послышалось въ заднихъ рядахъ.

И на этотъ возгласъ, какъ будто по сигналу, раздался

общій стонъ и рыданіе. Вопли понеслись по всему дому, по двору, шире и шире. На дворъ бѣжали уже бабы изъ деревни, всхлипывая и причитая на бѣгу.

— За дохтуромъ бы послать, — посовѣтовала Пафнутьевна.

— Что ужъ тутъ дохтуръ!.. Что поможетъ? — началъ протестовать какой-то слезливый голосъ.

— Не поможетъ тутъ дохтуръ. Молоньей ее, видно, голубушку, Господь спалилъ... Власть на всемъ Господня.

«Книжки все читала, вотъ и спалилъ», — промелькнуло въ отуманенной головѣ Марьи Петровны.

— Пошлите, матушка, пошлите скорѣе за дохтуромъ,— затараторила у ней надъ ухомъ Анна Гавриловна! — Пошлите и впрямь. Онъ ужъ въ этомъ како ни-на-есть средство знатъ... Вѣдь они на это обучены...

И, поддерживаемая Анной Гавриловной, Марья Петровна пошла къ себѣ. Всѣ передъ ней сторонились и, толкаясь, разступались. Она усѣлась, стоная, передъ столомъ. Отыскали у Кати и принесли почтовой бумаги и перо. Отыскали сургучъ и какую-то печать, еще покойника Павла Лаврентьича. Всё положили передъ Марьей Петровной.

— Какъ же?.. Къ кому писать? — простонала Марья Петровна.

— Къ Княжичу пошлите, — посовѣтовала Анна Гавриловна. — Къ самому Княжичу. Къ кому же больше и посылать. Окромя его никто не поможетъ.—И тутъ же разсказала, какъ одной больной въ Хлыновкѣ простой знахарь помогъ. — Вотъ простой, сиволапый мужичишка, еще ему за прошлый годъ князь Редвинскій пятьсотъ въ спину влѣпилъ.... а все-таки помогъ.

Марья Петровна, поддерживая одну руку другой, написала письмо и надписала на конвертѣ дрожащимъ почеркомъ кривыми буквами:

«Его превосходительству, Осипу Францевичу Княжичу».

И Егора Мухоярова отправили въ городъ.

— Да смотри, торопись, погоняй пуще, не жалѣй. Пуще погоняй!—наказывала Анна Гавриловна.

Княжичъ былъ провинціальный эскулапъ-тузъ. Слава о немъ гремѣла даже въ смежныхъ губерніяхъ. Болѣе полвѣка онъ практиковалъ и оперировалъ въ околодкѣ и, говорятъ, нажилъ болѣе полміліона. Не мало наѣзжало въ губернскій городъ медиковъ молодыхъ, съ новыми, свѣжими силами, знающихъ и талантливыхъ, но Княжичъ безъ труда, какъ бы шутя, двумя-тремя словами, сказанными ѣдко, кстати, въ нѣсколькихъ домахъ, подкашивалъ подъ самый корень ихъ репутаціи и незыблемо сидѣлъ въ общемъ мнѣніи горожанъ, какъ сидитъ заржавленный гвоздь въ гнилой доскѣ—крѣпко и непоколебимо. Эскулапъ былъ какой-то сомнительной націи: не еврей и не полякъ. Самъ себя онъ выдавалъ то за венгерца, то за чеха, то за поляка, смотря по надобности. Средняго роста, худощавый, съ крупными, но мягкими, закругленнными чертами лица, съ высокимъ лбомъ, едва прикрытымъ волосами, съ нахмуренными бровями, изъ-подъ которыхъ свѣтились холодные, сѣрые глазки, съ большими оттопыренными губами и ушами, съ подбородкомъ, вложеннымъ въ высокій черный галстухъ, онъ непріятно поражалъ кисло-сладкимъ выраженіемъ лица. Говорилъ небрежно, растягивая слова, постоянно причмокивая, и при этомъ весь ломался, выставляя какъ будто напоказъ свои большія бѣлыя руки съ длинными пальцами, которыми было сдѣлано такъ много весьма удачныхъ операцій.

Въ Мельтюковку онъ пріѣхалъ только на другой день къ вечеру. Катя лежала по-прежнему. Надъ ней успѣли уже отслужить молебенъ съ поднятіемъ мѣстной иконы. Анна Гавриловна уговаривала священника соборовать, но священникъ не согласился.

— Оно, конечно, — сказалъ онъ, — душа ея еще витаетъ въ тѣлѣ, но благодати она уже не воспріиметъ.

И, громко крякнувъ, онъ принялся служить молебенъ о здравіи «тяжко недугующей рабы божіей дѣвицы Екатерины».

Читая Евангеліе, онъ строго посмотрѣлъ на всѣхъ, и, давая цѣловать его, шепнулъ Аннѣ Гавриловнѣ:

— Отпѣвать въ четвертокъ, что ли, будете?..

Всю ночь напролетъ у постели Кати просидѣла Пафнутьевна. Сонъ клонилъ ее. Она твердила: «смертію смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ». На ночь Анна Гавриловна догадалась поставить у изголовья постели тазъ съ чистой водой.

— Пускай ея душенька выкупается,—сказала она шопотомъ Пафнутьевнѣ,—и чистая явится къ ангеламъ божіимъ.

Въ полночь въ тазу что-то сильно заполоскалось. Пафнутьевна протерла глаза, перекрестилась, навострила уши и съ замираніемъ сердца, какъ кошка, подошла къ тазу. Въ тазу на заднихъ лапкахъ сидѣла большая мокрая мышь и глазки ея ярко блестѣли при свѣтѣ лампады, теплившейся въ углу передъ образомъ.

— Ишь, шкура поганая! — проворчала Пафнутьевна. — Для тебя нарочно, что ли, тазъ-то припасли?!

И она взяла тазъ съ мышью, унесла его въ дѣвичью; тамъ, схвативъ мышь за хвостъ, она, размахнувшись, крѣпко и хлестко ударила ее объ уголъ стола.

— Замоли о душѣ рабы божьей Екатерины!—проговорила она и, поднявъ оконную раму, съ силой выбросила мертвую мышь на широкій дворъ и высунулась въ окно.

Ясная, звѣздная ночь тихо раскинулась надъ спящей Мельтюковкой.

«Гдѣ-то ея душенька летаетъ теперь?»—подумала Пафнутьевна, глядя на яркія звѣзды, и, зѣвнувъ, опустила раму.

На другой день всѣ нетерпѣливо ждали Княжича. По-

сылали нѣсколько разъ на дорогу. Наконецъ, къ вечеру, раздалось по всему дому:

— Ѣдетъ, ѣдетъ!..

И всѣ уставились въ окошки.

На дворъ медленно въѣзжалъ небольшой тарантасикъ, запряженный разношерстной, поджарой тройкой. Колокольчики скупо звенѣли. Какъ-то лѣниво, какъ будто нехотя, вылѣзъ изъ тарантасика Княжичъ, въ оленьей дахѣ, съ которой онъ не разставался даже въ лѣтніе жары. Вслѣдъ за нимъ выскочилъ тоже медикъ, его ассистентъ, молодой человѣкъ, въ очкахъ, низенькій, вертлявый, съ сладкой улыбкой и полузакрытыми сонными глазками. Онъ, почтительно поддерживая Княжича подъ руку, ввелъ его на крыльцо.

Медленно, вяло, раскутывался Княжичъ, какъ-то подозрительно оглядываясь кругомъ и, наконецъ, одернулъ черный длинный сюртукъ, искривившись всѣмъ тѣломъ, и, опустивъ кисти рукъ внизъ,—какъ дѣлаютъ собаки, сидя на заднихъ лапахъ,—вошелъ въ столовую.

— Здравствуйте! — проговорилъ онъ слащавымъ голосомъ.—Гдѣ же больная?..

Его повели и за нимъ тихо пошла толпа. Онъ медленно приставилъ руку къ глазамъ въ видѣ зонта, оглянулъ всѣхъ и, подойдя къ Катиной постели, сѣлъ на самый край ея и потеръ руки.

— Давно это она у васъ?.. — спросилъ онъ, косясь на Катю.

— Со вчерашняго утра,—заговорила дрожащимъ голосомъ Марья Петровна. — Я вчера утромъ вошла къ ней... Съ ночи должно быть...

— Съ ночи будетъ,—перебила Анна Гавриловна.

Онъ медленно оглядѣлъ съ ногъ до головы Анну Гавриловну, затѣмъ потрогалъ руки Кати и опять потеръ

свои. Потомъ досталъ изъ бокового кармана длинный стетоскопъ и, вставивъ одинъ конецъ его въ свое большое, оттопыренное ухо, другой приставилъ къ распахнутой груди Кати. Потомъ опять посмотрѣлъ на ея лицо, приподнялъ пальцемъ одну вѣку, почмокалъ и сказалъ:

— Д-да!

И опять присѣлъ на край постели.

— Perilepsis!—процѣдилъ онъ сквозь зубы и взглянулъ на своего ассистента, который стоялъ, почтительно нагнувшись около него.

— А вы бы шторы тутъ, что ли, повѣсили!—заговорилъ онъ вдругъ.—Вѣдь ей свѣтъ прямо въ глаза.

И онъ помахалъ рукой.

Всѣ переглянулись.

— Ставни можно закрыть, — догадалась Анна Гавриловна.—Мы и такъ на ночь всѣ запираемъ. Все сохраннѣе...

Онъ опять всталъ и началъ ей постукивать грудь и животъ, тяжело надавливая своими длинными, жесткими пальцами. Потомъ немного отошелъ отъ постели, прямо уставивши глаза на лицо ея, перегнувшись назадъ и подпершись фертомъ.

— Д-да!—процѣдилъ онъ сквозь зубы, покачиваясь.—Дѣвушка хорошенькая!

У него была дочь однихъ лѣтъ съ Катей.

Кто-то въ заднихъ рядахъ началъ тихо всхлипывать. Онъ быстро обернулся и замахалъ руками.

— Ахъ!.. Вы ужъ пожалуйста!—заговорилъ онъ громкимъ, рѣзкимъ, гнусавымъ тономъ.—Не безпокойте ее. Подите вонъ!

И онъ опять раздраженно махнулъ обѣими руками.

Всѣ испуганно попятились и тихо вышли. Остались только Пафнутьевна, Анна Гавриловна и Марья Петровна.

Онъ опять молча уставился на лицо Кати, на откры-

тую грудь ея. Что-то сладострастное, холодное и острое, какъ анатомическій ножъ, сверкнуло въ его стальныхъ глазкахъ.

— Придется, пожалуй, вскрыть, какъ скоропостижную...—сказалъ онъ вполголоса и, не договоривъ, вдругъ остановился.—Ну,—сказалъ онъ, помолчавъ немного и оборачиваясь въ полъ-оборота къ Марьѣ Петровнѣ,—тутъ намъ, собственно говоря, дѣлать нечего.—Онъ чмокнулъ и искоса взглянулъ на потерянное лицо Марьи Петровны.—А вамъ нужно спокойствіе, сударыня, главное—спокойствіе... Прощайте-съ!

И онъ протянулъ свою большую руку, обернувъ ладонью кверху и широко разставивъ пальцы.

Но Марья Петровна, не подавая руки, вдругъ, какъ стояла, такъ и упала передъ нимъ, съ тихимъ стономъ, на колѣни.

Княжича всего покоробило и повело.

— Ваше превосх... Осипъ Францевичъ!.. Человѣкъ вы?..—заговорила она, всхлипывая, дрожа всѣмъ тѣломъ и какъ-то по-дѣтски хватая его за длинныя полы сюртука. Она захлебнулась слезами и начала гнуться къ полу.

— Ахъ!—заговорилъ Княжичъ быстро и раздраженно, выставивъ обѣ ладони впередъ.—Я не Богъ! Вѣдь я не Богъ!—И, совершенно искрививъ голову на бокъ, продолжалъ:—Помилуйте, къ чему это отчаяніе?.. Ну, Богъ милостивъ!..

— Poslouchay kochany panie Boleslawe,—обратился онъ по-польски къ ассистенту,—тамъ, въ маленькой аптечкѣ... что-нибудь... Ну, хотя auqa lauro-cerasi...

Пане Болеславе опрометью бросился въ переднюю, быстро раскрылъ привезенный имъ ручной шкафчикъ и, схвативъ обѣими руками скляночку, такъ же быстро принесъ и подалъ ее Княжичу.

— Вотъ, вотъ!.. Это въ водѣ. По десяти капель, черезъ часъ... Вамъ надо серьёзно лечиться, сударыня, серьезно!— прибавилъ онъ, видя, какъ ее дергаетъ.

Анна Гавриловна взяла одною рукой скляночку, а другой поддерживала Марью Петровну.

— Ну, до свиданья! До свиданья... Богъ милостивъ! И онъ быстро обернулся и пошелъ вонъ.

Въ передней, жуя и чмокая, онъ также медленно началъ окутываться.

Марья Петровна вдругъ всполохнулась и опустила быстро руку въ карманъ.

— Анна Гавриловна, матушка, вѣдь я забыла ему деньги-то! И она вынула двѣ новенькія серіи, заранѣе приготовленныя и сложенныя вчетверо.

Анна Гавриловна, ничего не говоря, выхватила деньги и бѣгомъ отправилась съ ними въ переднюю.

— Ваше превосходительство!—кричала она на бѣгу,— ваше превосходительство!..

Княжичъ навострилъ уши.

— Вотъ-съ... деньги забыли отдать. Извините-съ!

Онъ какъ-то неохотно протянулъ руку, но, увидавъ серіи, быстро, судорожно сжалъ ихъ въ большой кулакъ и сунулъ въ боковой карманъ.

— Благодарю-съ!.. Напрасно-съ!—проговорилъ онъ.

Потомъ, одѣвшись, онъ постоялъ молча, какъ будто что-то раздумывая, развелъ руками и прибавилъ:

— А я заѣду еще дня черезъ два. До свиданья-съ!— прибавилъ онъ съ сладкой улыбкой и медленно вышелъ.

Съ отъѣздомъ его какъ будто все опустилось и всякая надежда лопнула. Но настало то состояніе, которое во всякомъ случаѣ лучше висѣнья между небомъ и землей, жизнью и смертью.

Потолковали и рѣшили еще подождать до завтра. По-

рядокъ въ домѣ рушился. Все шло необыкновенно. Ставни были закрыты. Всѣ говорили шопотомъ. Время тяжело тянулось на свинцовыхъ крыльяхъ. Опять насталъ вечеръ, ночь и смутное ожиданіе чего-то опредѣленнаго: произнесенія приговора.

«Хоть бы словечко промолвила, послѣднее мнѣ словечко!»—подумала Марья Петровна, смотря на полуоткрытый ротикъ Кати, и при этомъ вдругъ припомнила ея послѣднее слово: «Уснуть!»

— А вѣдь надо бы гробикъ заказать, — проговорила тихо и нерѣшительно Анна Гавриловна.—Чай скоро-то не поспѣетъ...

— Что же, заказать можно,—сказала Пафнутьевна.—Вѣдь надо въ городъ. Къ послѣзавтрешнему утру бы...

Всѣ молчали.

— Какъ мѣрку-то снять? — спросила Пафнутьевна.—Вѣдь живую мѣрить-то не годится...

— А такъ просто на глазъ,—сказала Анна Гавриловна.—А то по платью можно. Вотъ генеральшу Бѣлищину хоронили. Гробочикъ заказали, а мѣрку-то забыли. Такъ платье старое у кого-то въ городѣ нашли,—ну, и смѣрили.

Смѣрили по платью и отрядили опять того же Егора въ городъ.

— Къ послѣзавтрему, къ утру!—наказывала Анна Гавриловна.—Не забудь: розовый, атласный, позументъ серебряный, съ лапками...

XIV.

На другое утро ранехонько, Анна Гавриловна подошла къ Катѣ. Пафнутьевна дремала подлѣ на креслѣ.

— Пафнутьевна, а, Пафнутьевна!—вдругъ проговорила она испуганнымъ шепотомъ.

Пафнутьевна вдругъ вскочила и вытаращила глаза.

— Вѣдь голубушка-то наша, — посмотри-ка, — кажется, тронулась... Упокой, Господи душу ея! И она, заморгавъ глазами, начала креститься.

Пафнутьевна подошла, нагнулась къ Катѣ, постояла и... начала тоже всхлипывать и креститься.

Разбудили Марью Петровну, которая только-что забылась на полчаса. Поднялись всѣ, началась суматоха и опять плачъ и вопль. Сомнѣваться долѣе имъ казалось грѣхомъ и искушеніемъ.

«Вѣрно ужъ и тогда она была не живая» — подумала Анна Гавриловна.

И всѣ повѣрили, всѣ принялись за дѣло.

Не вѣрило только одно сердце матери. Оно цѣплялось, скользя и обрываясь, за всякій блѣдный призракъ надежды. Страшна была для него эта темная, непроглядная ночь, эта безцѣльная, одинокая жизнь.

Она подошла къ тѣлу Кати, начала громко звать и толкать его. «Теперь уже все равно, не повредитъ»—подумала она, путаясь въ сужденіяхъ.

— Катя, Катулечка!—говорила она.—Вѣдь это я зову,— я, твоя мама-Маша... Проснись родная голубка... единств..

И, не договоривъ, съ глухимъ стономъ она упала безъ чувствъ на это безотвѣтное, холодное тѣло. Ее отняли, унесли и уложили въ постель.

Тѣло раздѣли и начали обмывать. Анна Гавриловна распустила ей косу.

— Гляди-кось! Ниже пояса!.. Чай до пятокъ достанетъ.—И она вытянула волосы. Дѣйствительно, коса достала до пятокъ.—Дѣвушки, дайте-ка мнѣ ножницы,—я отрѣжу кусочекъ на память!..

И она отрѣзала небольшую прядь волосъ и отнесла Марьѣ Петровнѣ.

— Возьмите-ка, матушка, на память! — сказала она. — Схоронятъ, такъ ничего не останется!..

Марья Петровна машинально взяла, посмотрѣла, догадалась. Судорожно сжала она въ рукѣ, поднесла къ губамъ эту милую прядь и... опять впала въ забытье и закрыла глаза.

Потолковали, въ чемъ положить Катю. Подвѣнечное платье еще не было готово. Дѣвушки доказывали, что всего лучше одѣть въ бѣлое, кисейное, съ прошивками. Онѣ всѣ шили, въ прошломъ году, это платье ко дню рожденія и кончили его въ одну ночь.

И ее одѣли въ это бѣлое платье и перехватили тонкую дѣвичью талію бѣлымъ атласнымъ поясомъ. Потомъ сложили ей руки на груди и понесли бережно, какъ большую, дорогую куклу, суетясь и тяжело переступая. Въ залѣ уже были накрыты два ломберныхъ стола чистою скатертью и лежала вся кружевная подушка. Но подушка оказалась низка. Подложили томикъ Жеро, подвернувшійся подъ руку. На грудь положила Пафнутьевна маленькій образокъ Спасителя, снявъ его изъ ея комнаты, изъ угла.

— Невѣста Господня!—раздалось изъ толпы и кто-то громко зарыдалъ. Кто-то завылъ пронзительно, неистово. Это была красавица Параня. Ее съ трудомъ вынесли въ сѣни. Она билась и стонала.

— Цвѣтами бы убрать ее, — шептала Анна Гавриловна.—У Елентьевыхъ, третьяго года, тоже дочку хоронили,—та вся въ цвѣтахъ лежала. Страсть, какъ хорошо было глядѣть!... И духу-то меньше. Значитъ—отъ цвѣтовъ-то хорошій духъ идетъ и отбиваетъ... А на ночь-то все чай надо будетъ тазъ со льдомъ подставить. Вѣдь жара теперь...

— «Она любила, голубушка моя, цвѣты. Въ дѣда покойника была»—подумала Пафнутьевна,—Дѣвки!—скоман-

довала она.—Айдате, рвите всѣ цвѣты. Къ чему оставлять?.. Все было ея, съ ней все и въ гробъ пойдетъ.

Дѣвушки торопливо пошли въ садъ, въ цвѣтникъ, и начали обрывать и обрѣзывать всѣ ея любимые левкои, гвоздики, махровыя розы.

— Посмотри-ка, дѣвынька, кака краса Господня!- сказала Даша, указывая на бѣлую лилію, которая пышнымъ цвѣтомъ развернула на царственномъ стеблѣ большіе, снѣжнобѣлые, сладко-пахучіе цвѣты. Срѣзали и ее.

— Это ей на грудь! Въ ручки,—сказала Ѳеня.

Таня посмотрѣла и ничего не отвѣтила. Она, молча всхлипывая, обрѣзывала розы. Изъ глазъ ея катились крупныя слезы и какъ росинки падали и сверкали на этихъ розахъ.

И тѣло убрали цвѣтами.

Лиза и Варя принесли тоже цвѣты—онѣ набрали ихъ съ лужаекъ, съ пруда,—тѣ самые цвѣты, по которымъ она учила ихъ строенію цвѣтка. Онѣ сплели вѣнокъ. Это тоже она ихъ выучила.

— Вотъ такъ!—сказала Анна Гавриловна, оглядывая все кругомъ. Пусть лежитъ, какъ въ цвѣтничкѣ своемъ, райская душа!—И отступивъ отъ стола, она тяжело опустилась на колѣни своимъ массивнымъ тѣломъ и тихо, истово перекрестясь, поклонилась въ землю.

Подняли и привели Марью Петровну. Тихо, вся дрожа, подошла она къ столу и, наклонясь надъ рукой Кати, поцѣловала эту восковую, хорошенькую ручку съ блѣдно-синими, длинными ноготками.

— Святая моя. .—шептала она,—замоли Господа о моей душѣ грѣшной, чтобы скорѣе свидѣлись мы... съ тобой... тамъ, гдѣ никто и ничто не разлучаетъ...

И она тихо опустилась на колѣни, вся дрожа, тоже поклонилась до земли. Но встать уже не могла. Ея подняли и отвели опять въ спальню.

День становился жаркимъ. Тучки собирались и бродили по небу, тѣсня одна другую, и проносились мимо съ тихимъ вѣтеркомъ.

— Ставни-то надо бы закрыть!—сказала Анна Гавриловна.—Одно вотъ это окно не запирать. Все будетъ прохладнѣе!.. Да и мухи не станутъ плевать на нее..

Давно уже послали за священникомъ. Онъ пріѣхалъ теперь, вошелъ, кряхтя и охая, согнувъ голову, и сказалъ всѣмъ: «Миръ вамъ!»

Началась панихида. Понесся синій дымъ ладона изъ кадильницы. Цѣпи ея тихо бряцали и всѣ тихо крестились.

Черезъ два часа пришелъ читальщикъ—сѣденькій старичокъ съ маленькими, слезящимися глазками.

Вечеромъ, когда полный мѣсяцъ поднялся надъ Мельтюковкой, послѣ сильнаго напряженія нервы у всѣхъ начали опускаться и всѣхъ клонилъ сонъ.

— Что-жъ,—сказала Анна Гавриловна нерѣшительно,—надо все-таки кому-нибудь ночевать въ залѣ.

— Да вѣдь читальщикъ будетъ,—замѣтила Пафнутьевна.

— Ну, а отлучится онъ куда?..

— Я лягу въ залѣ,—сказала Параня.—Я не боюсь мертвецовъ.

Анна Гавриловна посмотрѣла на нее.

— Нѣтъ, тебѣ не годится. Тебѣ еще со сна что почудится. Ты и такъ спишь непокойно... Нѣтъ,—сказала она, нахмурясь и махнувъ рукой,—сама я лягу... Только креселко бы сюда перенести, въ немъ можно спать.

И она расположилась въ залѣ на креслѣ и вскорѣ захрапѣла.

Часу въ третьемъ къ ней пришла Пафнутьевна въ кофтѣ и юбкѣ и разбудила ее.

— Не спится все мнѣ, матушка,—зашептала она неровнымъ голосомъ.—Все она мнѣ, голубушка, мерещится. Все

какъ будто я ее на рукахъ укачиваю... Вѣдь воспитанница она моя была!..

И она захныкала, отирая кофтой слезы.

— Подите тамъ сосните, а я посижу.—И она усѣлась на мѣсто Анны Гавриловны.

Уже въ растворенное окно сѣрѣло утро и даль туманилась сквозь тихо покачивающіяся вѣтви черемухи. Свѣжій вѣтерокъ тянулъ изъ окна и отклонялъ пламя свѣчей. Читальщикъ читалъ вялымъ голосомъ и нюхалъ табакъ.

Пафнутьевна крѣпко спала. Читальщикъ послушалъ, какъ она громко храпѣла, раскрывъ ротъ, искоса посмотрѣлъ на усопшую, на ципочкахъ вышелъ вонъ и притворилъ двери.

Часы летѣли, утро свѣтлѣло яснѣе и яснѣе и заря шире и шире разливалась по небу. На верхушкахъ черемухи трепетно, робко заалѣли листочки отъ первыхъ лучей восходящаго солнца. Въ черемухѣ проснулись и громко зачирикали воробьи.

Въ это время Пафнутьевнѣ снилось, что Катю уже хоронятъ и гробикъ поставили надъ могильной ямой. «Что это у батюшки лицо-то какое нехорошее!»—думаетъ она. А батюшка вдругъ вскидываетъ на нее глазами—черными, строгими, и они горятъ, какъ угли, и смотрятъ прямо въ ея темное, дряблое сердце... «Ты—грѣховодница!—говоритъ грозно священникъ.—Ты все гадала и ее уморила. Жизнь твоя теперь никому ненадобна!»—«Да, никому ненадобна. ваше превосходительство!»—говоритъ Анна Гавриловна и тоже смотритъ строго на Пафнутьевну.

«— Ее надо зарыть вмѣстѣ съ нею—говорятъ кругомъ Пафнутьевны,—вѣдь она воспитала ее».

Батюшка, совсѣмъ черный, грозно кричитъ:—«Зарыть, зарыть!..» Пафнутьевна падаетъ на колѣни.

«— Ваше превосходительство!..»—хочетъ сказать она и не можетъ... Языкъ, руки, ноги нѣмѣютъ и она падаетъ въ

могилу. Земля съ страшнымъ стукомъ и громомъ рушится на нее.

«Няня, няня!»—зоветъ ее изъ гробика, гдѣ-то подъ землей, тихій, ласковый, знакомый голосокъ. Она хочетъ открыть ихъ и не можетъ!...

Во время этого сна два воробушка влетѣли въ комнату. Это былъ «смѣлый» съ его подругой. Они трепетно покружились надъ Катей и спустились. «Смѣлый» сѣлъ ей прямо на грудь и чирикнулъ, клюнулъ цвѣтокъ, опять чирикнулъ и клюнулъ образъ. Потомъ клюнулъ ей палецъ и вдругъ оба воробья шарахнулись и опрометью бросились въ окно.

Катя быстро отдернула руку и вся потянулась. Потомъ медленно поднялась, сѣла на столъ и тихо протерла тяжелыя неподнимавшіяся вѣки.

Цвѣты посыпались съ нея дождемъ. Образокъ покатился и съ рѣзкимъ стукомъ ударился объ полъ. Пафнутьевнѣ показалось во снѣ, что на нее рушится земля.

Тупая, ноющая боль поднялась въ рукахъ, въ ногахъ Кати, во всѣхъ суставахъ, мышцахъ. Жизнь вернулась въ нее и начала свое дѣло!...

— Няня!—тихо позвала она, увидавъ, наконецъ, Пафнутьевну.—Няня!..

Пафнутьевиа вздрогнула, открыла глаза... Ее обдало ужасомъ. «Это опять во снѣ... Вѣдь она мертвая!»—подумала она и снова закрыла глаза.

— Няня!—опять тихо позвала Катя.

Пафнутьевна взглянула на нее и очнулась, уразумѣла. Она вся задрожала, затряслась. Съ радостнымъ воплемъ кинулась къ ней и обхватила ее руками.

— Няня,—проговорила съ трудомъ Катя,—я вѣдь не умерла. Я все слышала.

Но Пафнутьевна не слушала ее. Дрожа всѣмъ тѣломъ, она стащила ее со стола вмѣстѣ со скатертью.

— Матушка!.. Святители!.. Заступница Небесная!—бормотала она.—Вернулась ты къ намъ... Изъгроба встала... Свѣтъ ты нашъ!—и крѣпко обхвативъ ее, слабую, едва двигавшуюся, она повела ее, вся дрожа и качаясь, въ спальню.

— Барыня!—кричала она, рыдая.—Матушка!..—но голосъ ея обрывался.

И какъ только ввела она ее въ спальню, Марья Петровна, какъ была, въ рубашкѣ, въ юбкѣ, вся, однимъ движеніемъ всего тѣла, бросилась къ ней, упала подъ ноги и начала цѣловать ея руки.

А тамъ уже бѣжала Анна Гавриловна, вся перепуганная, изумленная. И съ разныхъ концовъ сбѣгались всѣ: кто еще въ одной рубашкѣ, кто плача и охая, но у всѣхъ глаза блестѣли радостью.

— Ишь ты, чудо какое свершилось!—говорили, крестясь, набѣжавшія бабы.

Пафнутьевна все держала ее, обхвативъ крѣпко руками, точно приросла къ ней.

Катя тихо потянулась къ креслу и нѣсколько рукъ бросились и усадили ее.

Марья Петровна встала рядомъ. Она точно помолодѣла и вся переродилась. Катя положила голову на грудь къ ней и какъ-то странно казалось ей быстрое біеніе этого родного ей сердца—сердца матери.

— Мама!—сказала она.—Мнѣ тебя стало жалко... А умирать такъ хорошо, покойно!..

А Пафнутьевна наскоро опустилась передъ образами, помолилась и сѣла подлѣ нея на полъ.

— Ненасмотрѣнная ты моя—шептала она, утирая кулакомъ слезы.

Варя и Лиза стояли въ однѣхъ рубашечкахъ подлѣ.

— А это я тебѣ, тетя, положила водяной цвѣтокъ. Я сама его достала,—сказала Варя.

Катя тихо посмотрѣла на нее и погладила ее по головкѣ.

Дѣвочка заплакала.

— Ангелъ нашъ бѣлый!.. Изъ рая къ намъ вернулась,— говорила, плача, Параня.

— Точно причастница сидитъ,—прошептала, всхлипывая, Ѳеня.

И всѣ онѣ радовались такъ просто, полно и открыто этой молодой вернувшейся жизни. Всѣ цѣловали руки, ноги, платье Кати.

«Для всѣхъ для нихъ нужна моя жизнь,—подумала она. —И буду я жить для нихъ для всѣхъ».

Не обрадовался только одинъ человѣкъ. На дворъ медленно въѣзжала телѣга съ гробомъ. Но бабы тотчасъ же начали гнать гробовщика со двора и звонкими голосами разсказывать наперерывъ, что случилось.

Гробовщикъ сумрачно поглядѣлъ на окна и, медленно соскочивъ съ телѣги, вошелъ въ сѣни съ задняго крыльца.

«На радостяхъ вѣрно поднесутъ и за гробъ хоть половину заплатятъ», подумалъ онъ.

XVII.

Только черезъ пять дней по отъѣздѣ Ратищева за границу привезли письмо его и кольцо въ Мельтюковку. Получивъ его, Марья Петровна встрепенулась и испугалась.

«Что еще онъ тутъ написалъ?»—подумала она и долго прятала письмо, молилась, со всѣми совѣтовалась и, наконецъ, сказала Катѣ.

— Мама,—сказала она,—мнѣ все равно! Я умерла... Дай я прочту или сожгу его... Мнѣ все равно!

И она прочла письмо безъ всякаго волненія.

— Мама,—сказала она,—надо отослать ему кольцо его и брилліанты.

Болѣзнь и припадокъ мнимой смерти сдѣлалъ переворотъ въ организмѣ Кати, такой же таинственный, еще необъясненный современною наукой, какъ и сама болѣзнь. Княжичи назвали бы это состояніе анэміей, недостаткомъ иннервацій, но въ сущности ихъ вовсе не интересуетъ и никогда не интересовали подобные, не карманные вопросы. Болѣзнь Кати произвела ту перемѣну въ ея нервахъ, то состояніе, котораго она тщетно добивалась, когда боролась со своею страстью. Это состояніе можно назвать полною пассивностью. Въ немъ не было ни горечи, ни того кисло-сладкаго чувства, которое остается послѣ тяжелой болѣзни или долгаго раздраженія. Это былъ полный индифферентизмъ, полное отсутствіе всякаго внутренняго импульса.

По цѣлымъ днямъ она просиживала на одномъ мѣстѣ, всего же чаще въ саду. Все возбуждало въ ней мысли, но только на одно мгновеніе. Всѣ эти мысли тотчасъ же обрывались и она погружалась въ какой-то тихій сонъ на яву. Проходили цѣлые часы, но она ихъ не замѣчала.

Иногда она пугалась этого спокойствія. Ей представлялась опять возможность повторенія глубокаго сна смерти.

«Хорошо, если умрешь,—думала она;—а если опять придется ожить?.. И что опять будетъ съ мамой?»

И только этою любовью или этой привычкой, этимъ инстинктивнымъ чувствомъ она жила.

Все въ Мельтюковкѣ ей казалось чужое. Гдѣ то вдали двигались эти знакомыя съ дѣтства лица. Они смѣялись, волновались, страдали, шумѣли,—словомъ, жили прежней мелочною жизнью. И эта жизнь была для нея теперь совершенно чужая. Она не понимала ея.

— Катулечка!—говорила иногда Марья Петровна сквозь слезы, смотря, какъ она сидѣла, какъ будто задумавшись,

за столомъ, не дотрогиваясь до кушанья, все съ тѣмъ же исхудалымъ, мертвенно-блѣднымъ лицомъ.—Катуля моя, что съ тобой?

И Катя пробуждалась.

— Мнѣ хорошо, покойно, мама!—тихо говорила она.—Не бойся, я не умру. Я—вся твоя.

И она принималась за ѣду и, не кончивъ ея, снова погружалась въ свою апатію.

Такъ иногда бываетъ съ испорченными часами. Ихъ толкнешь: они пойдутъ—и снова остановятся.

Иногда по цѣлымъ вечерамъ она просиживала около матери, у которой голова теперь постоянно тряслась. Это было слѣдствіе послѣдняго удара, который словно колесомъ проѣхалъ по ея сердцу. Марья Петровна говорила обыкновенно простыя слова, давала пустыя рѣшенія и сентенціи. И Катя молча слушала ихъ и отвѣчала коротко и часто не впопадъ. Ей были пріятны эти тихія, сердечныя рѣчи, этотъ добрый, ласковый голосъ. Онъ чуть-чуть, какъ легкій, нѣжущій вѣтерокъ, пробѣгалъ по ея дрожавшимъ нервамъ и возбуждалъ въ ней какой-то слабый слѣдъ тихаго чувства.

Одинъ разъ, въ своей комнатѣ, она принялась за книгу. Сначала многое, что было прежде для нея такъ ясно, теперь вдругъ стало совсѣмъ непонятнымъ наборомъ словъ. Она принудила себя съ трудомъ вдумываться въ каждое слово и только мало-по-малу, какъ-то медленно, начала выдаваться изъ этихъ словъ связная мысль. Голова у нея начала болѣть и кружиться.

Вошла Марья Петровна. При видѣ этого ненавистнаго чтенія голова ея затряслась сильнѣе. Губы что-то зашептали. Она тихо подошла къ Катѣ и сѣла съ нею рядомъ, на кровать.

— Катя,—сказала она тихо и робко,—вѣдь ты мнѣ говорила, что ты—моя, вся моя...

Катя тихо оторвалась отъ книги и посмотрѣла на нее съ недоумѣніемъ.

— Зачѣмъ же,—спросила Марья Петровна еще тише,— ты опять принялась за книги? Катуля моя! Страшны онѣ мнѣ... Я безъ нихъ вѣкъ прожила.

Катя ничего не отвѣчала. Марья Петровна нерѣшительно протянула руку къ книгѣ.

— Катуля моя, ради моего спокойствія!.. Вѣдь, можетъ быть, я уже недолго проживу.

И Катя отдала ей книгу...

— Я ихъ всѣ спрячу, сохраню. Только бы онѣ на глаза тебѣ не попадались, не соблазняли тебя.

Катя тихо, молча, кивнула головой.

«На что мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, эти книги? — подумала она.—Я теперь знаю все безъ нихъ, я знаю, что въ этомъ мірѣ есть два міра. Одинъ міръ — чувства. Имъ я жила и отжила вполнѣ. Другой — которымъ живутъ камни и воздухъ. Они не трепещутъ, не волнуются, они покойны, какъ мохъ, какъ плѣсень, они стоятъ на рубежѣ этихъ двухъ міровъ, и я теперь на рубежѣ ихъ, скоро, можетъ быть, я опять уйду въ этотъ міръ полнаго покоя. Вѣчный круговоротъ жизни и смерти катитъ свое колесо... Куда? Въ неизвѣданную даль!..»

И ей смутно представились нѣкоторыя мѣста изъ книгъ, гдѣ именно толковалось объ этомъ круговоротѣ. И эти мѣста теперь какъ-то странно примѣнялись къ ея жизни. Да еще представлялось ей во всемъ необъятномъ, мистическомъ величіи эта буддійская нирвана. Она посмотрѣла на небо, ясное, голубое.

«Что же,—подумала она,—можетъ быть, и я буду тамъ».

Изъ ея пассивности всѣхъ сильнѣе будила ее Пафнутьевна. Она чуть не на каждомъ шагу приставала къ ней съ кушаньемъ.

— Не ѣстъ, да и только!—докладывала она Марьѣ Петровнѣ, и тутъ же ѣла сама то, что предлагала ей.—Душато у ней еще не принимаетъ, матушка! — поясняла она и при этомъ вдругъ восторгалась: — Господи! — говорила она взволнованнымъ голосомъ, — шутка ли сказать, гдѣ была душенька ея! Въ садахъ Господнихъ летала! — Она перекрестилась и вдругъ, насупившись, подумала:—«А хорошо, что мышь-то я въ тѣ поры догадалась убить. Это видно она, поганая, замолила вернуться ея душенькѣ...»

Разъ Катя сидѣла въ саду. День былъ ясный, жаркій, но она сидѣла, укутанная въ тепломъ бурнусѣ. Ей было постоянно холодно. Передъ нею стояли Варя и Лиза. Она тихо толковала имъ, изъ чего состоитъ земля и какъ она переходитъ въ траву, какъ распускаются разныя соли въ водѣ, которыя кормятъ растеніе, и что все это дѣлаетъ солнце. — А траву ѣстъ овца, корова. Стало-быть, то, что было въ травѣ, тѣ соли, перешли въ овцу и корову. И когда умираютъ овца и корова, то онѣ гніютъ и опять становятся землей. Такъ все одно переходитъ въ другое и обращается въ землю,—заключила она.

— Вѣдь это Богъ все такъ дѣлаетъ?—спросила Варя.

Катя пристально посмотрѣла на нее.

«Для каждой поры,—подумала она,—для каждаго возраста есть свои понятія и вѣрованія. Этотъ великій образъ чего-то могучаго, недоступнаго, таинственнаго и постоянно волнующаго человѣчество, необходимъ ихъ дѣтскому сердцу и представленію». И она сказала:

— Да, это Онъ все дѣлаетъ.— И начала говорить имъ о Богѣ-человѣкѣ, о томъ, какъ Онъ любилъ всѣхъ, какъ Онъ любилъ правду, чтобы никто не лгалъ,—поясняла она,—чтобы сердце у всякаго было открыто...

— Развѣ у него, тетя, есть дверцы?—перебила Лиза.

Но вдругъ и Варя, и Лиза насторожили уши и, вытянувшись, посмотрѣли изъ-за кустовъ.

По аллейкѣ раздались чьи-то торопливые шаги. Это шелъ Талыгинъ.

Онъ похудѣлъ, немного поблѣднѣлъ, но теперь на щекахъ его набѣжалъ румянецъ отъ волненія, которое онъ не могъ подавить. Глаза его тихо сіяли.

Онъ былъ уже въ Петербургѣ и писалъ письмо къ матери, что завтра выѣзжаетъ въ Варшаву, когда принесли ему телеграмму.

«Р.,—телеграфировала Агнія Петровна,—отказался отъ ея руки. Пріѣзжай скорѣе!»

Она долго думала, прежде чѣмъ послала эту телеграмму. «Ну, а какъ я вызову его понапрасну?—думала она.— Можетъ быть, она не захочетъ быть его женой. Съѣзжу сама и все разузнаю, а можетъ быть, и устрою».

Но тутъ опять нападало сомнѣніе.

«Можетъ быть, что-нибудь напутаю. Вѣдь это дѣло его сердца и его головы. Нынче они все сами устраиваютъ. Оно и лучше. Пошлю телеграмму. Какъ рѣшитъ онъ... Пусть прилетитъ хоть на денекъ. Еще посмотрю на него».

И онъ дѣйствительно летѣлъ на паровозѣ, на пароходѣ и на пятыя сутки ужъ обнималъ мать.

Катя не замѣтила въ немъ никакой перемѣны. Онъ ей показался такимъ же чужимъ, какъ и всѣ.

— Здравствуйте! — сказала она и тихо протянула ему руку.

А онъ смотрѣлъ на нее съ сжатымъ сердцемъ, которое вдругъ все наполнилось сожалѣніемъ къ этому слабому, опустившемуся существу, къ этимъ потухшимъ, но все-таки прекраснымъ глазамъ, которые казались теперь больше отъ желтыхъ впалыхъ щекъ и приподнятыхъ бровей.

— Какъ вы перемѣнились!—сказалъ онъ.

— Да, я была больна сильно. Чуть не умерла... Вы, вѣроятно, слышали...

— Вамъ теперь надо скорѣй поправляться, оживать, выходить на... (прежній путь, съ новыми силами, — хотѣлъ сказать онъ и остановился.—Ей не надо ничего напоминать изъ прошлаго—подумалъ онъ.—Все это еще будетъ тревожить ее).

— Зачѣмъ?—спросила она какъ-то безчувственно, какъ будто и этотъ самый вопросъ ее нисколько не интересовалъ. — Вѣдь я умерла для всего. У меня нѣтъ внутри ни силъ, ни энергіи, ничего ни въ сердцѣ, ни въ умѣ. И это такъ хорошо!.. Зачѣмъ же мѣнять?.. Чтобы опять волноваться и страдать?.. («въ этомъ мірѣ»—подумала она).

Талыгинъ покачалъ головой.

— Это временное состояніе у васъ, Катерина Львовна,—сказалъ онъ.—Это пройдетъ. Въ жизни даже у здороваго человѣка есть приливы и отливы. Иной разъ все кажется не такъ и все спрашиваешь себя: зачѣмъ, да къ чему? Что это все за глупости такія?.. Но такая хандра можетъ приходить только отъ разочарованія, а у человѣка съ цѣлью, ясно опредѣленной и широко поставленной, ея нѣтъ. Ему кажется только порой, что онъ всѣхъ любитъ, а порой, что онъ никого не любитъ, въ томъ числѣ и себя... У васъ это пройдетъ.

— Нѣтъ, не пройдетъ,—сказала она тихо, покачавъ головой.—Перечувствовать болѣе того, что я перечувствовала, я не могу. Я помню очень хорошо, какъ была полна эта привязанность, которая такъ быстро завладѣла моимъ сердцемъ. Но эта привязанность, Димитрій... (она не вдругъ вспомнила, какъ его зовутъ) Павлычъ, ничто передъ другими чувствами. Я помню, какъ рыдала и обмирала надо мной моя мать. Я пережила тогда... Да, я поняла ея чувства. И повѣрьте, нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ лежать мнимо

мертвой... Слышать, сознавать и — не откликнуться на это чувство... Эти минуты такъ глубоко потрясаютъ весь организмъ, что послѣ нихъ дѣйствительно становишься мертвымъ и все кругомъ умираетъ.

И она все это говорила тихо, ровно, спокойнымъ, точно искусственнымъ голосомъ.

—Катерина Львовна,—сказалъ Талыгинъ и безсознательно съ чувствомъ сжалъ свои руки,—вы ошибаетесь. Я увѣряю васъ, что ошибаетесь. Вы живы... Вы вернулись къ жизни. У васъ съ сердца свалился этотъ темный, тяжелый кошмаръ, который такъ долго давилъ васъ... (она не вдругъ поняла, о чемъ говорилъ онъ). Въ васъ есть способности,... да, большія способности, силы. Онѣ только дремлютъ. Вы обязаны жить и отдать всему живущему эти способности...

Она посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ.

Варя и Лиза шли подлѣ нихъ, смѣялись, рѣзвились и лепетали дѣтскими живыми голосами, онѣ прятались другъ отъ друга то за Катю, то за Талыгина.

— Кто же меня обязываетъ?—спросила Катя.

— Все!.. Даже воздухъ, которымъ вы дышите, солнце, которое такъ скупо васъ грѣетъ... Каждый обязанъ трудиться для движенія впередъ, для развитія. И если мы чувствуемъ боль жизни, всѣ невзгоды ея, то мы обязаны... да, мы обязаны позаботиться о томъ, чтобы будущія поколѣнія не знали ихъ... Только постояннымъ самопожертвованіемъ,—и можетъ быть, длиннымъ рядомъ пожертвованій и трудовъ, — можно выйти на ту широкую дорогу, о которой мы такъ горячо мечтаемъ, такъ неопредѣленно, и которой мы вовсе не знаемъ.

Она съ трудомъ понимала его. Она чувствовала, что ее зовутъ куда-то, опять на борьбу, изъ того міра, въ которомъ такъ тихо, покойно спали и сердце, и умъ ея. И она слабо защищалась.

— Что же я могу дѣлать, еслибы даже и были у меня силы? Гдѣ же это дѣло?..

«Вѣдь вы же имѣли его,—хотѣлъ сказать онъ.—Вы шли полнымъ ходомъ. У васъ блисталъ несомнѣнный талантъ...» Но не сказалъ онъ этого.

Въ это время они подходили къ балкону. Варя и Лиза совсѣмъ расшалились.

— Это будетъ твой конъ, а это мой,—говорила Лиза и ухватилась за Талыгина.—Мы будемъ каждая прятаться за свой конъ.

Талыгинъ схватилъ Лизу за обѣ руки и, какъ ни сопротивлялась она, выдвинулъ ее впередъ передъ Катей.

— Вотъ вамъ дѣло, Катерина Львовна! — сказалъ онъ. —Она играетъ жизнью и жизнь играетъ въ ней, а когда она, эта жизнь, обернется къ ней своей строгой, серьезной стороной, какъ мачиха (онъ выпустилъ изъ рукъ Лизу, которая барахталась и вырывалась), то застанетъ ее врасплохъ, и горе ей, если въ ея сердцѣ и умѣ не будетъ силъ вступить въ борьбу.

— Я учу ихъ и воспитываю,—сказала Катя.

— Катерина Львовна!—Онъ остановился и посмотрѣлъ на нее какъ-то сосредоточенно.—Повѣрьте, что эта задача гораздо сложнѣе, чѣмъ вы думаете. Повидимому, вопросъ простой: сдѣлай изъ ребенка человѣка! Но кто же изъ насъ знаетъ человѣка? Нѣтъ, еще не рѣшена эта задача древнихъ философовъ... Знаете ли вы, насколько сложна эта жизнь, которая теперь играетъ въ ней (онъ указалъ на Лизу) такъ беззаботно и кажется такой простой? Многіе думаютъ, эти присяжные сердцевѣды, что же можетъ быть проще воспитанія?.. Развей умъ, подчини ему страсти, чувства, и — задача рѣшена... Вѣдь это такъ просто!.. Но я васъ спрошу: вотъ эти два маленькія созданія, которыя теперь играютъ около насъ,—что они?—Это сумма всего, что

было пройдено въ разныхъ поколѣніяхъ ихъ предковъ, подъ разными условіями; да прибавьте къ этому среду, которая ихъ будетъ окружать, во время ихъ развитія, да ваше воспитаніе, которое вы дадите имъ по вашему крайнему разумѣнію... Разберите все это—и вы невольно запутаетесь и ужаснетесь той задачи, которую такъ беззаботно берутъ на себя воспитатели.

Онъ помолчалъ.

— Я тружусь надъ этою задачей, Катерина Львовна, уже пять лѣтъ...

Она посмотрѣла на него и подумала: «Онъ ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ до сихъ поръ. Странно!»

— Я немного сдѣлалъ,—продолжалъ Талыгинъ,—да не много сдѣлаютъ и тѣ, которые будутъ трудиться надъ этой задачей упорно еще много лѣтъ... Но пусть трудятся.

Онъ провелъ рукой по лбу и волосамъ, и посмотрѣлъ на нее. Ея лицо немного оживилось. На немъ явились вниманіе и усиліе понять его.

— Катерина Львовна!—началъ онъ снова,—пять дней тому назадъ я былъ въ Петербургѣ (голосъ его сталъ ровенъ, взглядъ потухъ, онъ ушелъ въ себя) и только сегодня вернулся, — меня вызвала оттуда телеграмма моей матери. Вотъ она, прочтите ее!—и онъ вынулъ изъ кармана и подалъ ей телеграмму.

Она съ удивленіемъ прочла и опустила руки.

— Катерина Львовна, хотите вы вмѣстѣ работать со мной надъ этимъ общимъ великимъ дѣломъ?.. Не говорите мнѣ теперь ни да, ни нѣтъ, — вы послѣ скажете. Послѣ завтра я пріѣду къ вамъ. О моихъ чувствахъ я ничего не говорю. Зачѣмъ... А теперь до свиданья!—И онъ протянулъ ей руку.

Она тихо протянула ему свою руку и онъ пожалъ ее крѣпко, отрывисто, своей горячей, слегка дрожавшей ру-

кой, затѣмъ быстро пошелъ къ балкону, но вдругъ остановился и вернулся къ ней.

— Я объ одномъ прошу васъ,—сказалъ онъ.—Мнѣ не надо сожалѣнія,... я не хочу его... Я ищу любви къ дѣлу, которому отдалъ себя. Эта любовь, одна, можетъ связать насъ такъ...—Онъ не договорилъ.—До свиданья!—сказалъ онъ и, быстро отвернувшись, опять пошелъ къ дому.

— Тетя,—сказала Варя,—посмотри, я нашла тотъ цвѣтокъ, что мы тогда искали съ тобой.

Она молча взяла этотъ цвѣтокъ и тихо пошла къ дому. Когда она подходила, то услыхала стукъ отъѣзжавшаго тарантаса.

И вдругъ этотъ далекій, окружавшій ее міръ, и этотъ садъ, съ цвѣтущими липами, и вся обстановка Мельтюковки—все придвинулось къ ней и стало опять своимъ.

Въ первый разъ въ эту ночь она уснула спокойно, какъ спитъ совсѣмъ здоровый человѣкъ, и долго спала поутру.

Марья Петровна испугалась и, вся замирая, подошла къ ея постели. Но дыханіе ея было ровно. На щекахъ выступилъ румянецъ, на лбу потъ, на губахъ стояла тихая улыбка.

— Христосъ съ тобой!—прошептала Марья Петровна и, полюбовавшись на нее и крестясь, вышла тихо изъ комнаты.

XVIII.

Было уже позднее утро. Солнце высоко свѣтило и воробьи громко чирикали въ саду, когда Катя проснулась. Она машинально перекрестилась, какъ прежде, по привычкѣ, и сердце ея забилось, какъ прежде, тихо и радостно. Дѣтское игривое настроеніе обхватило ее.

Она быстро приподнялась, оперлась на подушку, приподняла шторку и прищурясь, посмотрѣла въ садъ, ярко

освѣщенный солнцемъ. Все блестѣло въ немъ послѣ сильнаго дождя, который шелъ всю ночь. Воробьи копошились въ акаціяхъ и подъ ихъ шаловливымъ перелетомъ гнулись ихъ гибкія вѣтви, обвѣшанныя свѣтлозелеными стручками.

Было что-то торжественно-радостное въ этомъ утреннемъ солнцѣ и въ свѣжей умывшейся зелени, блестѣвшей подъ тысячами прозрачныхъ, хрустальныхъ капель. За акаціей вставали липы въ ихъ темномъ уборѣ, а тамъ, вдали, виднѣлись ивы и тихая вода пруда ярко блестѣла на солнцѣ сквозь мглистый туманъ.

«Господи!—подумала Катя, — какъ хороша природа! И неужели все это вышло само собой, случайно, и нравится намъ и находитъ отвѣтъ во всемъ нашемъ существѣ тоже случайно?—Нѣтъ, нѣтъ!.. Что-то есть во всемъ этомъ... Что-то скрыто, что любитъ насъ и любитъ эту природу... И намъ не надо думать надъ этимъ, а надо такъ же любить, любить безъ конца, вѣчно!.. Если есть жизнь въ вѣчности... Господи!—и она перекрестилась уже сознательно и слезы выступили у нея на глазахъ,—вѣришь въ Тебя, въ Твою любовь и — все полно жизни и значенья... Улетаетъ вѣра и—все холодно, мертво и пусто, какъ холодная могила!.. »

Она долго сидѣла, вытянувъ руки, и машинально сгибала и разгибала пальцы, а радостныя слезы тихо катились изъ ея глазъ. Мысли какъ-то обрывками проносились въ ея головѣ, обхваченной волненьемъ, и только сердце усиленно восторженно билось тихимъ, радостнымъ боемъ.

— Катя, Катя!.. Что-жъ ты все спишь!—послышался за дверью голосъ Марьи Петровны.

— Я сейчасъ, сейчасъ, мама! Я здорова, совсѣмъ здорова. Встаю!—И она радостно вскочила и начала одѣваться.

«Сегодня онъ будетъ за отвѣтомъ,—думала, она,—что же я отвѣчу ему?.. Сердце молчитъ, не замираетъ, какъ

тогда... (Она поскорѣе прогнала всякое воспоминаніе о томъ, когда-то миломъ...). Что-жъ я принесу ему?.. Холодную, разсудочную привязанность?—Но можетъ быть она свяжетъ насъ сильнѣе. Страсть скоро потухаетъ. Онъ честенъ, добръ. Въ немъ есть что-то симпатичное—простое, свѣтлое и вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпкое. Будемъ работать вмѣстѣ надъ его сложнымъ дѣломъ». И она принялась умываться.

Въ комнату ворвались Варя и Лиза.

— Тетя, тетя!—кричала Лиза.—У насъ вездѣ по аллеямъ прыгаютъ маленькія лягушечки... Такъ много, много!.. Таки маненьки, маненьки!.. А Пафнутьевна говоритъ: нельзя ихъ брать въ руки,—руки опоганишь.

— Лиза!—спросила Катя, вытирая лицо и быстро нагнувшись къ дѣвочкѣ,—ты любишь Дмитрія Павлыча?

— Люблю, тетя. Я всѣхъ люблю... Только волковъ не люблю. Они говорятъ, злые.

— А ты, Варя любишь его?

Она задумалась.

— Люблю! Онъ—добрый... А тотъ, что помнишь, еще тогда былъ... Еще ты цѣловалась съ нимъ.

Катя зажала ей ротъ и строго сказала:

— Шш!.. О томъ не говори никогда!..

На балконъ вынесли уже второй самоваръ, когда она вышла къ чаю. Теплый, влажный воздухъ стоялъ надо всѣмъ. Облака то двигались нехотя, серебристыми клубами, надвигаясь на все небо, то расходидись и уносились въ даль. Птицы—и старыя, и только-что вылетѣвшія изъ гнѣзда—весело чирикали. Воробьи маленькими стайками перепархивали съ дерева на дерево и, какъ только вышла Катя, всѣ бросились, посыпались на балконъ, на столъ и впереди всѣхъ «смѣлый» и прыгалъ, и чирикалъ, и топорщился, подымая хохолокъ. И въ первый разъ Катя, послѣ своей болѣзни, хотя слабо, откликнулась сердцемъ на этотъ зовъ.

«Они разбудили меня,—подумяла она,—отъ сна смерти и теперь зовутъ въ свой волнующійся міръ!»

И она начала кормить ихъ и говорить имъ тѣ нѣжныя слова, на которыя они прежде такъ любили откликаться.

Зазвенѣлъ колокольчикъ ближе и ближе и въ переднюю пронеслись дѣвушки. Точно онѣ ждали кого-нибудь.

«Кто это еще?—подумала Марья Петровна.—Я еще неодѣта».

У Кати сердце слегка дрогнуло и опять оправилось и забилось тихо и ровно.

«Я рѣшилась,—подумала она.—Чего же волноваться понапрасну»:

Вошелъ Талыгинъ, всѣмъ сказалъ «здравствуйте» и сѣлъ подлѣ Марьи Петровны.

Воробьи было шарахнулись въ сторону и опять мало-помалу налетѣли.

— Вамъ кофе или чаю?—спросила покойно и просто Катя и пристально посмотрѣла на него.

Тутъ только замѣтила она, что онъ похудѣлъ и измѣнился.

«Мнѣ не надо сожалѣнья!» — промелькнуло у нея въ головѣ.

— Дайте чаю!—сказалъ онъ.—Здѣсь можно куритъ?..— И онъ, не дожидаясь отвѣта, закурилъ папиросу.

— Да!—отвѣтила Марья Петровна и какъ-то испуганно посмотрѣла и на нее, и на него.

«Опять онъ сталъ ѣздить,—подумала она.—И будутъ говорить объ учености».

Катя подала ему стаканъ чаю и снова принялась за кормленіе воробьевъ. Марья Петровна молча допивала четвертую чашку кофе (это была ея страсть). Всѣ молчали. Только чирикали птицы, да издали, изъ дѣвичьей, доносились голоса и тихій смѣхъ.

— Мама,—сказала тихо Катя, но твердо и ровно,— Дмитрій Павлычъ хочетъ, чтобы я была его женой. Я рѣшилась... Но безъ твоего согласія не пойду!..

И Марья Петровна, и Талыгинъ быстро приподнялись съ креселъ. Марья Петровна съ недоумѣніемъ смотрѣла то на него, то на дочь. А она спокойно пила чай. Она какъ будто еще не вышла изъ той пассивности, которой жила такъ недавно и такъ долго.

«Я сдѣлала свое дѣло,—подумала она,—а тамъ пусть рѣшаютъ за меня случай и другіе...».

— Марья Петровна!—сказалъ Талыгинъ съ легкимъ волненіемъ въ голосѣ,—это было давнишнее желаніе мое и моей матери. Обстоятельства не позволяли мнѣ высказать этого раньше... Впрочемъ можетъ быть я и самъ одинъ виноватъ въ этомъ («да и во всемъ, что случилось»—подумалъ онъ).

А Марья Петровна, раскрывъ ротъ и сложивъ руки, точно на молитву, смотрѣла на него.

«Какъ же это,—недоумѣвала она,—сама высказала, а не онъ, и такъ вдругъ, точно отрубила... Да и онъ вѣдь—не тотъ. Онъ точно родной. И смотритъ такимъ добрымъ, хорошимъ...».

— Господь съ вами!—сказала она.—Я вѣдь никому помѣхой не была и не буду. Ея счастье—мое счастье. Только бы она была счастлива, а мнѣ ничего не надо.

У нея потекли слезы и ноги задрожали.

— Да мы что же стоимъ!?—спросила она.—Садитесь.

И онѣ сѣли.

— Я, Дмитрій Павлычъ, вѣкъ изжила одинокой,—начала она, утеревъ глаза платкомъ и какъ бы разсуждая сама съ собой.—Не было у меня опоры... Моя жизнь вся какая-то растерянная. Всего я боялась. Думаю я, хоть теперь, можетъ быть, на концѣ дней моихъ, послѣ недавняго испытанія, Господь посылаетъ мнѣ покой и счастье...

Она замолчала и прямо смотрѣла на него, а ему вдругъ стало жаль этой измятой, искалѣченной жизни, которую пришибло такъ рано и сильно на первыхъ порахъ ея весны и едва не доконалъ недавній громовой ударъ.

— Марья Петровна,—сказалъ онъ просто,—у меня есть одна «родная мать»... Вы будете другой и тоже «родной».

— Онъ всталъ, взялъ ея исхудалую, дрожащую руку и крѣпко поцѣловалъ. А она перекрестила его и, взявъ за голову обѣими руками, поцѣловала въ лобъ.

— Господь съ тобой, — сказала она, посмотрѣвъ ему прямо въ глаза.—Ты точно родной... Право!..

И всѣ замолкли. И всѣмъ вдругъ стало легко, хорошо и все ясно. Точно всѣ они дѣйствительно были родные.

— Пафнутьевна! А, Пафнутьевна!—позвала, улыбаясь, Марья Петровна.

И Пафнутьевна вошла, какъ кошка, косясь на всѣхъ, съ раскрытымъ ртомъ.

— Что же ты не поздравишь жениха и невѣсту?

Талыгинъ и Катя переглянулись черезъ столъ и оба, разомъ, уставились на Пафнутьевну, а она, еще больше раскрывъ ротъ и приподнявъ брови, посмотрѣла на всѣхъ и вдругъ, всплеснула руками, начала дивиться:

— Господи!.. Святители!.. Матушка барыня! Вѣдь онъ мнѣ во снѣ снился... Ей-богу, снился! «Что ты, говоритъ, няня, мнѣ свою голубку-то не отдашь?.. Вѣдь я ее не на деньги покупаю, а на сердце мѣняю...» И такъ онъ это хорошо таково сказалъ!

Она помолчала, пожевала и поглядѣла на него.

— Родной ты!.. Сердечный нашъ!—сказала она.

«Ну, и для нея родной»,— подумалъ Талыгинъ и улыбнулся.

Она подошла къ нему.

— А ты ее люби,—сказала она.—Не мудруй надъ ней.

Вѣдь она у насъ смиренна,—охъ, кака смиренна! Иной разъ и надоѣшь ей чѣмъ, ничего не скажетъ. Только ручкой махнетъ... Ясные вы мои!..

Она повернулась и, перекрестившись, совсѣмъ было ушла и вдругъ снова вернулась.

—· А тотъ былъ,—заговорила она шопотомъ,—совсѣмъ чужой, да злющій! Вѣдь правду, барыня, говоритъ пословица: понравится сатана пуще яснаго сокола!..

Но она не договорила. Катя нахмурилась и замахала рукой.

И Пафнутьевна умолкла и вышла, такъ же махнувъ обѣими руками, какъ будто говоря: «ну, я все сказала!..»

Но не успѣла она и пяти минутъ пробыть въ дѣвичьей, какъ въ столовой раздались голоса, шопотъ, и вдругъ, робко толкаясь, всѣ дѣвушки, подъ предводительствомъ бойкой Даши, вышли на балконъ. Красавица Параня заливалась, плакала отъ радости.

— Дмитрій Павлычь! Барышня Катерина Львовна... Матушка барыня! заговорила Даша, кланяясь.—Пришли «прыздравить». Дай вамъ Богъ счастья, талану, совѣтъ да любовь.

Талыгинъ быстро всталъ и, доставъ изъ портмоне десятирублевку, протянулъ имъ.

— Вотъ вамъ,—сказалъ онъ,—на гостинцы.

Даша не брала.

— Что-жъ вы, глупенькія, не берете!—удивилась Марья Петровна.—Вѣдь онъ на радостяхъ вамъ даритъ, отъ полнаго сердца...

И Даша, закраснѣвшись, взяла и поклонилась.

И всѣ поклонились и чуть не бѣгомъ побѣжали назадъ въ дѣвичью, точно дѣти.

А на балконъ вбѣжали Варя и Лиза.

— Тетя,—сказала Лиза, запыхавшись и едва удерживая

слезы,—ты опять замужъ выходишь и опять умрешь?— и она расплакалась.

— Нѣтъ,—сказала Катя, цѣлуя ее,—я теперь буду жить и трудиться,—и она съ улыбкой взглянула на Талыгина.

А въ дѣвичьей вдругъ хоромъ раздались звонкіе, визгливые голоса. Они запѣли свадебную пѣсню. Но Катя вдругъ поблѣднѣла.

— Мама,—сказала она торопливо,—я не могу!.. Волнуетъ, напоминаетъ!..

Она не договорила и, прежде чѣмъ Марья Петровна успѣла встать, Талыгинъ уже бросился въ дѣвичью, и пѣніе прекратилось.

Передъ отъѣздомъ въ Мельтюковку, прощаясь съ матерью, Талыгинъ сказалъ:

— Я, можетъ-быть, вернусь къ обѣду, родная! а если не вернусь до вечера, то ты меня не жди. Значитъ—я счастливъ.

— Ступай, ступай! Будь счастливъ, мой родной!—сказала она и перекрестила его.

— Да зачѣмъ же ты крестишь меня? Вѣдь ты знаешь, что я этого не люблю.

— Да вѣдь я для себя, а не для тебя крещу, бусурманъ некрещеный!.. Вѣдь тебя не убудетъ.

И Талыгинъ пробылъ въ Мельтюковкѣ цѣлый день.

Онъ дѣйствительно былъ счастливъ, какъ ребенокъ, самъ не замѣчая этого счастья. Цѣлый день шли у нихъ тихія, простыя рѣчи. Они говорили и не могли наговориться и часто перебивали другъ друга. Она разсказала, что чувствовала во время летаргическаго сна, а онъ слушалъ ее съ замираніемъ сердца. Они разсказывали и вмѣстѣ совѣтовались другъ съ другомъ.

Такъ встрѣчаются, послѣ долгой разлуки, братъ съ сестрой. И все, и обо всемъ имъ хочется передать другъ другу въ тихихъ, сердечныхъ рѣчахъ.

Вечеромъ Даша не вытерпѣла.

— Что эта за свадьба!—роптала она.—И пѣсню спѣть нельзя, когда у те внутри душа сама поетъ... Ну! ихъ къ кошкѣ въ дыхало! Айда-ти, дѣвки, на задворки!.. Споемъ тамъ!

И дѣвки составили хороводъ и запѣли:

Ты улица узка, хороводъ широкій,
Вы, люди, раздайтеся, разодвиньтеся,
Дайте мнѣ, младешенькѣ, поскакати,
Поскакати—поплясати.

А Настя приплясывала и прищелкивала въ серединѣ хоровода и припѣвала:

У меня-ль, младешеньки, свекровь-то лихая,
Журитъ, бранитъ свекровушка,
Съ бѣла свѣта гонитъ!..

И всѣмъ имъ при этихъ словахъ представлялась Пафнутьевна, въ видѣ злой свекрови.

Талыгинскій кучеръ, Семенъ, обнявшись съ Егоромъ и покачиваясь, бродили по двору.

— Ты разсуди!—философствовалъ Егоръ.—На все есть качество... А одначе напл... Поцѣлуемся въ уста сахарны.

И они поцѣловались.

Когда Талыгинъ поздно вечеромъ выѣхалъ со двора, то миновали они деревню благополучно, но на спускѣ Семенъ чуть не опрокинулъ тарантасъ въ канаву.

— А ты не обсудь,—лепеталъ онъ,—Митръ Павлычъ!.. Другъ я твой!.. Должонъ я чувствовать!..

И онъ плакалъ.

Талыгинъ уложилъ его въ тарантасъ и, взявъ возжи, сѣлъ на козла и поѣхалъ самъ.

Ночь широкимъ, нѣжущимъ просторомъ спустилась на спавшую землю. Тарантасъ ѣхалъ лугами, по окраинѣ долины. Подъ горой, на болотинѣ, трескучимъ крикомъ кричалъ коростель. Отовсюду пахло свѣже скошеннымъ сѣномъ. Свѣжестью тянуло изъ лѣсу. Лошади фыркали и бодро бѣжали по пыльной дорожкѣ. Полная чаша прозрачнаго сѣровато-синяго неба опрокинулась надъ широкой луговиной.

«Жизнь моя полна теперь, какъ полная чаша, — думалъ Талыгинъ,—и я плыву на полныхъ парусахъ. Надо сдѣлать такъ, чтобы ни одна капля изъ этой чаши не пропала даромъ!..»

ЭПИЛОГЪ.

Прошло около восьми лѣтъ.

Многое измѣнилось въ Мельтюковкѣ. Усадьба опустѣла. Садъ стоялъ заброшенный. Дворъ заросъ крапивой, репейникомъ и дикимъ волчецомъ. Домикъ снова стоялъ безъ жильцовъ, пустой, одинокій, съ заколоченными ставнями. Только въ кухнѣ его жилъ Егоръ Мухояровъ, въ качествѣ сторожа, вмѣстѣ съ какой-то полуслѣпой старухой, пріютившейся Христа-ради.

Марья Петровна уже покоилась на Вознесенскомъ кладбищѣ. Подлѣ нея лежала Пафнутьевна. Надъ обѣими шумѣли молодыя березки.

Дѣвичья вся расползлась. Всѣ ушли на вольные заработки. Одна красавица Параня отстала и улеглась также на кладбищѣ.

Старое улеглось, а новый узелъ жизни не завязывался,

и напрасно Агнія Петровна съ прежнимъ кроткимъ терпѣніемъ ждала внука или хоть внучку. Явился, пожалуй, внукъ, но только раньше времени, хиленькій, слабый, который простоналъ цѣлый день и на другой скончался. Доктора нашли у Кати какое-то органическое поврежденіе и долго она не могла оправиться послѣ этихъ несчастныхъ родовъ.

Хуже всего было то, что болѣзнь оставила какое-то легкое и легко вспыхивающее раздраженіе въ ея и безъ того раздражительной, нервной натурѣ. За всякое дѣло она стала приниматься съ лихорадочною живостью: чтеніе или письмо, все равно, горѣло въ ея рукахъ. И понятно, многое выходило недодѣланнымъ, недодуманнымъ, во многомъ схватывались однѣ верхушки, хотя, правду надо сказать, въ этихъ верхушкахъ и была главная суть дѣла.

— Катя, дорогая моя, бери съ меня примѣръ,—говорилъ Талыгинъ.—Я не мечусь, не волнуюсь, а работаю, какъ машина...

Но именно всего меньше она могла брать съ него примѣръ и походить на машину.

Вскорѣ библіотека Талыгина, въ которой собрано было все «существенное», вышедшее на всѣхъ языкахъ, въ два послѣдніе вѣка, стала тѣсна для нея. Не встрѣчалось многаго необходимаго для ея быстрой работы или для ея пылкой фантазіи.

Чуть не каждый мѣсяцъ привозили изъ города новый тючокъ съ книгами.

— Ну, опять дрова привезли!—говорила Агнія Петровна.— Куда будешь новую полѣнницу ставить? Мѣста ужъ нѣтъ!

И дѣйствительно, кабинетъ Талыгина становился уже тѣсенъ. Вездѣ по угламъ были навалены эти полѣнницы, а Катю все тянуло въ даль, въ новыя окна и двери, въ новыя стороны свѣта и она представляла Талыгину новые списки книгъ, брошюръ, которыя нерѣдко нельзя было найти и

достать, которыя трактовали даже о такихъ спеціальныхъ вопросахъ, какъ вліяніе болотистыхъ мѣстностей на приростъ населенія и его умственное развитіе... Не могла она еще сознать одного — безпредѣльности знанія и безсилія передъ ея безграничнымъ просторомъ ограниченной природы человѣка.

«Синій чулокъ вырабатывается изъ нея!» — съ ужасомъ думалъ Талыгинъ.

Но всего менѣе изъ нея могъ выработаться синій чулокъ. Не голова, а сердце тянуло ее въ свѣтлую область, и только на то она отзывалась, что влекло неудержимо ея доброе сердце.

И смутно начала она догадываться, что и здѣсь, у Талыгина, ей мало воздуха. Ее тянуло туда, въ столицу въ тѣ завѣтныя книгохранилища, гдѣ все, или почти все, можно достать.

Одинъ разъ, зимой, вся семья сидѣла на верху: въ комнатѣ съ тѣмъ балкономъ, на которомъ когда-то умеръ Павелъ Наумовичъ. Эта комната была общеизлюбленной, зимней и лѣтней, резиденціей.

Талыгинъ работалъ въ одномъ углу за конторкой. За большимъ письменнымъ столомъ работала Катя. Она дѣлала какую-то компиляцію изъ двухъ толстѣйшихъ томовъ.

На угольномъ, необозримомъ диванѣ, обитомъ полосатымъ тикомъ, засѣдала Агнія Петровна и сооружала какое-то колоссальное вязанье для дома.

Вдругъ на дворѣ послышалось бряцанье бубенчиковъ, въ прихожей раздались голоса, возня и по лѣстницѣ бойко и легко вбѣжала Лиза. За ней шелъ степенно, не торопясь, земскій врачъ Шапшиловъ.

Изъ Лизы выросла живая, пухлая блондинка, съ вздернутымъ носикомъ. Она сошлась и жила цѣлый годъ съ докторомъ «на испытаніи», повинуясь его теоріи, въ силу

которой никто не долженъ жениться съ оника, а сперва испытать «сродство натуръ» и ихъ «симпатичность», какъ онъ выражался. Талыгинъ и Катя сначала удивились и даже возмутились этой теоріей, но Шапшиловъ съумѣлъ ихъ помирить съ нею.

Невысокаго роста, плотный, некрасивый, угреватый, онъ поражалъ необыкновенно умнымъ, нѣсколько задумчивымъ выраженіемъ лица.

Для Талыгина онъ былъ стимуломъ новаго поворота въ его работахъ. Ученикъ и горячій поклонникъ Сѣченова, онъ все подводилъ къ «рефлексамъ» и «задерживающимъ центрамъ», такъ что даже Талыгинъ находилъ крайности въ его психологическихъ взглядахъ и теоріяхъ. Тѣмъ не менѣе это не мѣшало имъ говорить по цѣлымъ часамъ, оспаривать другъ друга по цѣлымъ, долгимъ зимнимъ вечерамъ, искать новыхъ путей, болѣе крѣпкихъ и глубже уходящихъ въ темную чащу психическихъ явленій.

— Тетя,— сказала Лиза, вбѣжавъ и цѣлуя Катю,— мы привезли письмо отъ Вари. Чудо какое интересное!..

— Мы къ вамъ только на минуту, — говорилъ Шапшиловъ, протягивая руку Талыгину и смотря на часы; — заѣхали проѣздомъ. Торопимся въ Шапшиловку.

Поздоровавшись со всѣми, принялись за письмо.

Оно было изъ Петербурга.

Прошло уже нѣсколько недѣль, какъ Варя уѣхала туда съ одной знакомой дамой. Высокая и стройная, серьезная дѣвушка, съ большими, карими, задумчивыми глазами, Варя кончила курсъ въ мѣстной гимназіи, выдержала экзаменъ на званіе домашней учительницы и, всѣми помыслами и стремленіями, рвалась въ Петербургъ.

— Тетя,—говорила она,—тамъ кипитъ работа Тамъ закладывается новая жизнь. Пусти меня положить въ нее мой камешекъ.

И Талыгины, воспользовавшись первымъ случаемъ, снарядили ее въ столицу.

Шапшиловы привезли теперь первое письмо отъ нея и Катя принялась читать его вслухъ:

«Дорогая моя Лиза! Вотъ уже двѣ недѣли, какъ я здѣсь,—писала Варя,—и до сихъ поръ не выбрала даже свободной минутки писать къ вамъ,—такъ была занята. Но теперь все устроилось и я наверху блаженства. У меня въ недѣлю два урока, по десяти рублей въ мѣсяцъ. Достала срочный переводъ съ нѣмецкаго, по двѣнадцати рублей съ листа и кромѣ того небольшую корректуру въ редакціи «Дѣтскаго Журнала». Я обезпечена, довольна, счастлива. Каждый день приноситъ что-нибудь новое. Все идетъ впередъ. Профессора: Кавелинъ, Сѣченовъ, Стасюлевичъ, Пеликанъ, Ценковскій, Костомаровъ—читаютъ лекціи въ Пассажѣ. Это просвѣтители просыпающагося общества, и если бы ты видѣла, какъ жадно, съ какимъ благоговѣніемъ слушаетъ ихъ восторженная публика. Вездѣ собираются кружки. Спорятъ, толкуютъ, обсуждаютъ. Вездѣ чувствуется біеніе жилки обновленія, переустройства. У насъ образовалась община. Мы живемъ, какъ братская семья. Заря надъ нами! Заря новой жизни! Ахъ, Лиза, какъ радостно бьется сердце!»

— Ну, дѣвочка немного фантазируетъ!—прервалъ Шапшиловъ.—Молодое пиво бродитъ и сколько въ немъ дрожжей, это мы еще увидимъ, а не мы, такъ наши дѣти. А намъ пора,—добавилъ онъ, вставая и посмотрѣвъ на часы.—Надо засвѣтло добраться до Шапшиловки.

— А письмо?—спросила Катя.

— Письмо мы вамъ оставимъ. Кушайте на здоровье!

Талыгинъ и Катя проводили ихъ до крыльца и затѣмъ, возвратясь снова наверхъ, дочли письмо Вари. Оно все было проникнуто восторгами и свѣтлыми надеждами на будущее.

...«Лиза, дорогая Лиза!—такъ заканчивалось письмо.—Мы такъ долго жили въ потьмахъ, безъ воздуха и свѣта, что теперь, когда настаетъ эта желанная и такъ долго жданная пора обновленія, сердце не можетъ пережить ея восторговъ, а что еще ждетъ впереди! Что еще совершится!..»

Сердце Кати забилось усиленно. Ее всю потянуло туда, въ этотъ кипучій омутъ предразсвѣтной работы, потянуло такъ же, какъ нѣкогда, нѣсколько лѣтъ назадъ, тянуло Талыгина.

И жажда быть тамъ, гдѣ кипитъ это движеніе мысли, знанія, новой, строющейся жизни, стала мучить ее съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе. Она чувствовала, что голова ея несвободна и сердце влечетъ невольно въ это передовое окно, въ которое льется къ намъ свѣтъ развитія.

— Митя!—сказала она на третій день борьбы,—я не могу. Меня тянетъ, влечетъ туда...

— Куда?!—удивился Талыгинъ, которому было такъ покойно и хорошо среди его сложной работы.

— Туда, ближе къ свѣту.

— Развѣ здѣсь ты не можешь работать?!—снова удивился онъ.

— Нѣтъ... Всѣ книги, все идетъ къ намъ оттуда, съ Запада. Притомъ я хочу видѣть, какъ строится новое зданіе, какъ кладутъ его фундаментъ. Мнѣ хочется пожить, хотя немного, этой лихорадочной, трепетной, радостной жизнью, слиться съ движеніемъ этихъ молодыхъ, юныхъ головъ и сердецъ... Пусти меня!..

— Поѣзжай!—сказалъ грустно Талыгинъ, пожимая плечами.—Это разстроитъ мои планы и работы, но ничего!.. Я долженъ проводить тебя.

И Катя оживилась и дѣятельно принялась собираться.

Она торопила Талыгина и онъ оборвалъ кое-какъ всѣ свои работы.

«Я не надолго!—думалъ онъ.—Устрою ее и вернусь».

Черезъ недѣлю послѣ этого они были уже въ Петербургѣ и устроились недалеко отъ набережной Невы, въ маленькой чистенькой квартиркѣ изъ трехъ комнатъ, въ третьемъ этажѣ, съ балкономъ, съ котораго открывался видъ на Неву.

Черезъ нѣсколько дней квартирка оказалась тѣсна. Въ нее чуть не каждый вечеръ собиралось человѣкъ тридцать. Здѣсь были юные и пожилые уже офицеры, были студенты и журналисты, было все, что жаждало знанія, новыхъ идей, новыхъ началъ, жаждало свѣта.

Каждый вечеръ въ этомъ импровизированномъ клубѣ шелъ бурный разговоръ. Тутъ выяснялись и сталкивались разныя теоріи. Тутъ въ первый разъ проводились простые принципы, которые могли бы быть примѣнены прямо къ жизни, устроить ее, еслибы люди были дѣйствительно людьми. Но дѣло терялось въ этихъ долгихъ, оживленныхъ спорахъ, которые чуть не каждый вечеръ тянулись далеко за полночь и которые заставалъ въ самомъ горячемъ мѣстѣ разсвѣтъ бѣлой петербургской ночи.

Талыгинъ обыкновенно не принималъ участія въ этихъ дебатахъ, болѣе потому, что не одобрялъ споръ ради спора. Для него давно уже здѣсь было все рѣшено. Онъ пошелъ даже дальше въ своихъ выводахъ. Онъ слушалъ молча и наблюдалъ, какъ въ увлеченіи оживленнаго спора высказывался характеръ того или другого изъ спорящихъ, какъ влеченія въ альтрюизмъ или къ собственному *я* играютъ на этой разумной скрипкѣ, которая называется «человѣкомъ».

Точно такъ же мало участвовала въ этихъ спорахъ и Катя, можетъ быть, изъ безсознательнаго подражанія Талы-

гину. Но тѣмъ съ большимъ жаромъ она разсматривала всѣ ближайшіе вопросы, задѣваемые въ этихъ спорахъ.

Каждое утро, какъ только отпирались двери Публичной библіотеки, она уже была тамъ, у своего рабочаго столика, отъ котораго не отрывалась почти до вечера.

Напрасно Талыгинъ пытался отвлечь ее отъ сухой книжной работы и увлечь въ тотъ міръ фантазіи и образовъ, изъ котораго когда-то, еще въ Мельтюковкѣ, она представила ему отрывки. Катя отговаривалась, что теперь не до «образовъ» фантазіи, теперь надо дѣло дѣлать и разрабатывать ближайшіе экономическіе вопросы, хотя бы только теоретически. Напрасно онъ убѣждалъ ее, что экономическіе принципы безсильны, что дѣло—въ людяхъ, въ ихъ характерахъ, въ ихъ психической постройкѣ... Она въ этомъ съ нимъ никакъ не сходилась.

Впрочемъ и убѣждать ему было некогда. У него самого явилось столько мелкихъ, чисто практическихъ вопросовъ, которые надо было разрѣшить. Сегодня онъ осматривалъ сельско-промышленную выставку, завтра новый способъ очищенія конопляпаго масла, послѣ завтра слушалъ лекцію о новыхъ способахъ сыроваренія и т. д. безъ конца...

Отъ этой мелочной технической толкотни онъ былъ вдругъ, сразу, оторванъ и разбуженъ.

Возвратясь одинъ разъ домой изъ вольно-экономическаго общества, онъ нашелъ Катю, по обыкновенію, сидящею за ея рабочей лампой. Свѣтъ лампы, упавшій какъ то странно на лицо ея, вдругъ указалъ ему то, что онъ не замѣчалъ до сихъ поръ.

— Катя!—сказалъ онъ садясь подлѣ и вглядываясь въ ея лицо,—ты ужасно измѣнилась.

— Я!?..—Она еще что-то хотѣла сказать и вдругъ закашлялась.

Кашель былъ весьма нехорошій—глухой, надрывающій, петербургскій кашель.

— Это ничего, — съ трудомъ, улыбнувшись, проговорила она, схвативъ Талугина крѣпко за руку, а другой держась за грудь.—Я вчера простудилась... Знаешь ли, вѣтеръ такой былъ острый, сѣверный. Я ѣздила утромъ на Пески.

— Катя! — этого нельзя запускать я завтра же пошлю за докторомъ.

— Хорошо... Только это — пустяки!..

Докторъ ничего не могъ сказать опредѣленнаго, но совѣтовалъ остерегаться.

— Главное: бросьте занятія, на время, берегитесь и не простужайтесь.

Но занятія бросить она не могла, какъ не можетъ мотылекъ оторваться отъ той свѣчи, которой пламя уже жжетъ его крылья. Талыгинъ уговаривалъ, просилъ, молилъ, сидѣлъ съ ней по цѣлымъ днямъ. Знакомые условились чередоваться около нея, не покидать ее, и всѣ общими силами берегли ее отъ простуды и занятій.

Всѣ вѣрили въ ея силы. Всѣ ждали отъ нея многаго. Она выдавалась въ ихъ шумныхъ собраніяхъ, составляла авторитетъ. Нерѣдко она руководила дебатами. Многое началось по ея иниціативѣ...

Но никакія старанія не могли спасти того, что должно было неизбѣжно погибнуть.

Хроническій катарръ разгорался, превратился въ острый. Петербургская ранняя весна торопила разрушеніе и скоротечная чахотка явилась на свой привычный праздникъ.

Талыгинъ совсѣмъ опустился, въ первый разъ въ жизни опустился отъ этого удара, который разразился такъ тяжело и неожиданно. Онъ собралъ консиліумъ изъ лучшихъ докторовъ. Лучшіе доктора посылали на югъ, но онъ не по-

вѣрилъ имъ, а повѣрилъ старому товарищу, доктору не знаменитому, но грубо откровенному.

— Вотъ что я тебѣ, братъ, скажу,—обратился онъ къ Талыгину, когда они, послѣ осмотра Кати, остались вдвоемъ. — Мазуны все врутъ! Я уже насмотрѣлся на эти петербургскія каверны. Зарастаютъ, проклятыя, да не надолго. А у нея, видишь самъ, горитъ полымемъ и прогоритъ мигомъ. Повезешь куда-нибудь въ Соренто и тамъ похоронишь на берегу синяго моря.

Талыгинъ поблѣднѣлъ. До этого разговора у него еще тлѣла маленькая искра. Теперь она погасла. Сердце сжалось, руки задрожали. Онъ чувствовалъ, какъ нестерпимый холодъ мрачной, одинокой жизни медленно, но крѣпко захватываетъ его своими цѣпкими, безпощадными когтями.

Онъ не поѣхалъ на югъ, и предсказанье сбылось.

Это совершилось въ воскресенье, на Пасху, вечеромъ. Весь день былъ точно лѣтній, ясный, рѣдкій гость на петербургскомъ небѣ. Часу въ шестомъ солнце уже низко опустилось къ горизонту.

Къ Талыгину собрался почти весь кружокъ, но разговоры не клѣились, всѣ сидѣли угрюмо. Всѣ чего-то ждали съ безнадежною грустью.

Катя чувствовала себя лучше.

— Мнѣ удивительно легко!—повторяля она всѣмъ, сидя у отворенныхъ дверей балкона. Яркіе солнечные лучи врывались въ эти двери и падали красными пятнами на потолокъ и верхи стѣнъ. И вся Катя подъ ихъ теплымъ свѣтомъ казалась окруженною какимъ-то розовымъ сіяніемъ...

— Мнѣ такъ хорошо,—говорила она,—на этомъ весеннемъ воздухѣ. Говорятъ, чахоточнымъ вреденъ этотъ воздухъ... Это неправда! Имъ такъ легко дышать. Имъ дышешь не надышешься!—И она закашлялась и долго лежала въ забытьи.

Всѣ молчали, думая, что она спитъ. Солнечныя пятна на стѣнахъ становились блѣднѣе, гасли. Съ улицы едва доносился гулъ экипажей.

Катя очнулась.

— Что это?!—заговорила она чуть слышно.—Мнѣ кажется... вездѣ свѣтъ... сіяніе... Нѣтъ, это такъ кажется...— И она снова забылась. Талыгинъ хотѣлъ высвободить свою руку изъ ея горячей руки.

Она снова очнулась и заговорила.

— Мнѣ снилась мама Маша и Мельтюковка... Темная Мельтюковка... и онъ, онъ... тоже темный, совсѣмъ темный... Michel... А ты, ты... ты... свѣтлый...

Она помолчала.

— Митя,—сказала она,—скоро ли же они пойдутъ?..

— Кто?—тихо спросилъ онъ.

— Они... всѣ они... къ свѣту... Ахъ, какое сіяніе!..

Варя на цыпочкахъ подошла къ ней и старалась заглянуть въ ея глаза, широко раскрытые и неподвижные.

Они уже начинали тускнѣть.

— Не мѣшай!.. — чуть слышно, невнятно, прошептала она. Отвернулась вытянулась и... началась агонія...

Когда послѣднее клокотанье въ горлѣ замолкло, Талыгинъ молча нагнулся и поцѣловалъ ее въ холодный лобъ, затѣмъ обернулся и посмотрѣлъ на всѣхъ какъ-то тупо, растерянно.

Многіе плакали. Варя приникла къ ея рукамъ и обливала ихъ слезами.

Шатаясь, Талыгинъ вышелъ на балконъ. Солнце сѣло въ огромную, тяжелую тучу. Она медленно ползла, поднималась выше и выше, какъ темносизая, мрачная мгла, и ему казалось, что эта туча надвигается на все, что еще такъ недавно было освѣщено яркимъ свѣтомъ теплыхъ надеждъ. Въ ней чувствовалось что-то роковое, мрачное, свинцовое, пророческое...

Дрожащая рука его держалась за чугунныя перила. Тамъ, внизу, открывалась какая-то бездна, мрачная, холодная... Голова у него закружилась. Онъ отошелъ отъ перилъ и, скрестивъ руки, облокотился о холодую стѣну.

Изъ комнаты долеталъ до него шумъ тихой, торжественной возни. Тамъ убирали тѣло Кати... Точно тяжелый, безвыходный сонъ окружилъ и надавилъ ему на сердце.— Онъ чувствовалъ, что если бы слезы подступили къ горлу, хлынули изъ глазъ, ему легче бы было... Но мрачная, сухая туча надвигалась на его сердце, а въ головѣ проносилось что-то безсвязное, отрывочное... И все мерещились ему ея послѣднія стремленія, порыванья къ свѣту...

И думалъ онъ: что это стремленіе всего человѣчества... И гдѣ же предѣлъ ему?!.

Отъ свѣта къ свѣту... болѣе и болѣе яркому, чистому...

Онъ взглянулъ на небо. Мрачная, синяя туча обхватила полнеба. Сухой, холодный вѣтеръ летѣлъ съ нея...

Рѣзкій звонокъ въ передней вернулъ его къ дѣйствительности.

Онъ очнулся и тихо, опустивъ голову, вошелъ въ комнату.

Тамъ лежала она, блѣдная, холодная. Какая-то грустная дума застыла на ея исхудаломъ лицѣ... Онъ упалъ на колѣни, онъ хотѣлъ поклониться ея праху, хотѣлъ сказать: «прости свѣтъ мой!..» Но въ комнату входили испуганныя, недоумѣвающія лица. За ними слышался шумъ, говоръ, какое-то бряцанье... И что-то вошло въ комнату... Что такое?.. Онъ не вдругъ понялъ...

«Какъ!.. Здѣсь на столѣ его мертвая свѣтлая радость... а тамъ... тамъ косная, темная тьма!»

И тяжелая, свинцовая туча надвинулась и остановила движеніе къ свѣту . . . . . .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ВТОРАГО ТОМА.

	стр.
1. Почему міръ не устроенъ (сказка)	1
2. Вàлька (разсказъ)	4
3. Къ свѣту (повѣсть изъ семейной хроники 60-хъ годовъ): Часть первая	44
Часть вторая	184

PG3470
V2
v.2

Stanford University Libraries
3 6105 001 725 873

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D MAR 07 1997

MAR 07 1997